

Мария Метелицкая



В тихом
городке у моря

Annotation

Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное, здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и ценный в его жизни.

- [Мария Метлицкая](#)
 - [Пролог](#)
 - [Москва](#)
 - [Ленинград](#)
 - [Городок у моря](#)
 - [Эпилог](#)
 - [Об авторе](#)
-

Мария Метлицкая
В тихом городке у моря

Пролог

Иван сошел с поезда ранним утром, в полшестого, когда солнце еще не поднялось на окончательную пугающую высоту, обещавшую тяжелую и изнуряющую жару – юг, середина июля. Оно еще было мутновато-белым, словно прикрытым марлей, и пока еще вполне гуманным.

На этой маленькой, совсем небольшой станции поезд стоял всего пару минут – ну и достаточно! Тех, кто поспешно, растерянно оглядываясь, спрыгивал с дырчатых металлических ступеней на не остывший за ночь, все еще теплый, растрескавшийся асфальт, сквозь который буйно и нагло перли пучки пожелтевшей от зноя травы, было совсем немного, всего человек пять или шесть.

Выплюнув незначительных, как и сам пункт прибытия, пассажиров, поезд сердито фыркнул и с натугой тронулся дальше. Там, в его душном, прокаленном чреве, оставался народ поважнее – полноватые, лысоватые, хмурые мужчины в домашних пижамах и их попутчицы, тоже важные, хмурые и почему-то всем недовольные корпулентные дамы, старательно пытающиеся восстановить прически, свалявшиеся за душную и оттого бессонную ночь. В купе с и так застывшим, словно замершим воздухом невыносимо пахло удушливыми цветочными сладкими духами. С недовольными лицами и нескрываемым пренебрежением оглядывая друг друга, дамы занимали очередь в туалет и морщили носики – пахло оттуда ужасно.

Важные мужчины и их не менее важные спутницы ехали на юг – на курорт, к теплему морю. Там их уже поджидали улыбчивые медсестры и массажистки, внимательные, вежливые врачи, румяные, сдобные повара и ласковые, предупредительные горничные. Всё и все были готовы к их приезду.

Просторные номера ведомственных санаториев, с высоченными потолками, балконы с гипсовыми балясинами, мягкие перины и белоснежное, накрахмаленное белье, прохладный боржом в зеленых бутылках на прикроватных тумбочках. И красные ковровые дорожки на широченных мраморных лестницах. Из столовой на свободу рвался сладковатый запах теплой сдобы, а в просторных, широких коридорах источали нежный аромат азалии. Парк в санатории был красив и ухожен – ровные дорожки из мелкого гравия, пышные клумбы с розами и георгинами, аккуратно подстриженные пальмы и голубые пушистые елки.

Здесь хмурым мужчинам и их спутницам предстояло провести двадцать четыре дня спокойной, размеренной жизни: все по расписанию, все на курортном листке, все для драгоценного здоровья, растраченного во имя и во благо родины!

Еще в поезде, точнее в тамбуре, когда выходил покурить, Иван бросал короткие взгляды на эту публику, и ему было смешно. Пары, конечно же, были семейными – а кто, извините, отправится в отпуск с дамой сердца? Конечно, никто – возбраняется. Только со своим самоваром. Эти важные дяденьки, партийные боссы и большие начальники, тащили с собой своих соратниц и верных (как правило) жен. Уже избалованных и – когда успели? – надоевших, если по правде, по самое горло. А любовницы, молодые и легконогие, веселые и ласковые, оставались дома, в своих коммунальных комнатках или общагах. Ну а кому повезло – в собственных, отдельных, квартирах.

Иван бросал на них косые взгляды и усмехался. Уж в провинции, он был уверен, народ точно попроще и подушевнее.

В то раннее утро, когда Иван спускался с чугунных ступенек вагона, важные мужья и их недовольные жены еще крепко спали – на курорт поезд прибывал через четыре часа. Проводница широко зевнула, клацнула дверью вагона и в который раз пожалела себя: «Эх, не поспать! Пора заводить титан – *эти* скоро проснутся – и понеслось!»

Иван стоял на перроне, жмурился от уже вполне нахального солнца и улыбался. «С прибытием! – поздравил он себя. – Ну, кажется, прибыл. Привет тебе, новая жизнь! А уж какой ты окажешься, кто его знает!»

Так он ободрил себя и, подхватив потертый тканевый, в сине-зеленую клетку чемодан, двинулся в обветшалое здание вокзала: облезлая желтая штукатурка, три такие же облезлые гипсовые колонны и гипсовый бюст вождя – все как положено, все как обычно, как везде.

В здании вокзала было прохладно, тихо и почти безлюдно. Две бабки ворковали, склонив друг к другу седые головы, тощий мужичок, прикрыв лицо помятой кепчонкой, похрапывал на скамейке и явно смущал товарок, бросавших на него беспокойные взгляды.

Киоск «Союзпечать» был еще закрыт, тучная, немолодая уборщица в синем халате, позевывая, вяло возила тряпкой по полу из серой гранитной крошки, а за буфетной стойкой пышногрудая – как всегда! – буфетчица протирала стаканы и раскладывала по тарелкам вчерашние булочки и бутерброды с подсохшим сыром.

Иван оценил обстановку и, выдохнув, бодро направился к буфетной стойке – крепкий сладкий чай и булочка, пусть даже вчерашняя, ему точно

не повредят. А заодно и завяжется разговор – вокзальные буфетчицы знают все, такая профессия.

При ближайшем рассмотрении буфетчица оказалась молодой хмурой женщиной с длинным, недобрый белесым лицом.

Иван взял стакан чая, два кусочка рафинада, обернутых в бумагу, и булочку с изюмом. На вопрос, свежая ли, буфетчица неопределенно повела плечом – понимай как знаешь.

За серым мраморным столиком на длинной ноге Иван выпил свой чай. Булочка, кстати, оказалась приличной. Потом вернулся к стойке.

– Комнату? – Буфетчица снова зевнула. – Надолго?

Услышав ответ, посмотрела на него уже с интересом и повторила с усмешкой:

– На неопределенный срок? Ты отдыхающий или как?

– Или как, – усмехнулся Иван.

Не стесняясь, она пристально оглядела его и, посмотрев на вокзальные часы, висящие напротив, свела брови и хмуро бросила:

– Жди! Через полчаса смену сдадим, тогда и будет тебе комната! В лучшем, так сказать, виде. – Потом она обернулась и громко крикнула: – Любка!

В дверном проеме возникла молодая черноволосая женщина с недовольным лицом.

– Поди-ка сюда! – приказным тоном велела буфетчица. – Разговор тут имеется.

Вытирая руки о нечистый фартук, вызванная буфетчицей Любка нахмурила брови и медленно, нехотя подошла.

– Чего еще? – недовольно буркнула она. – Я еще не закончила.

– Квартиранта тебе нашла! – Буфетчица усмехнулась, показав ряд золотых зубов. – На неопределенный срок, слышь? Да о таком только мечтать, а? Короче, с тебя бутылка!

Любка взглянула на Ивана и покраснела.

– Тебе, что ль, комната?

Он кивнул:

– Мне.

– Подумать надо, прикинуть. Подожди, я через полчаса буду свободна. А пока погуляй, что ли? Проветрись.

– Понял. Через полчаса, значит? Ну пойду во двор, покурю. А заодно и проветрюсь.

Он вышел на улицу. Всего-то полчаса прошло, а солнце уже набрало! А что же днем, после полудня? Настроение немного подпортилось, но он

тут же отругал себя, запретив думать о неприятном. В конце концов, он ехал на юг. Мечтал жить у моря. А то, что жара... Так лето же, самый разгар, верхушка. Ну не Африка же – попривыкнет! После туманного, серого, сырого и влажного Питера уж точно будет отлично.

При воспоминании о Питере заныло сердце – боже, какой он дурак! Разве можно сбежать от Питера? Вынуть, выкорчевать его из сердца? Оказалось, что можно. Как когда-то он вырвал из сердца Москву. Да и вообще – можно, нельзя... Надо. Иначе его просто не будет. Его и так уже почти нет, а еще немного, еще чуть-чуть – и не будет вовсе.

И раз он решился, то назад пути нет. Нашел силы попробовать, значит, найдутся и силы жить.

Любка появилась через полчаса, как и было условлено. При свете дня он увидел, что ей немного за тридцать, но ее красивое смуглое, чернобровое лицо было усталым, изнуренным, каким-то пожившим. Она была среднего роста, хорошо и крепко сложена, с ладной и аппетитной фигурой, тонкой талией, широкими бедрами, с большой, уже вяловатой грудью, нагло выпирающей из тесноватого сарафана.

– Ну что? Двинули? Или уже передумал? – поинтересовалась она.

Иван поторопился ответить:

– Да, да, конечно же, двинули. Не передумал, не беспокойтесь.

Любка оглядела его оценивающим, очень женским и довольно нахальным взглядом, словно прицениваясь – нужен ей такой жилец или нет.

Шли минут двадцать. Она – резво, не сбавляя темпа, Иван – с трудом поспевая за ней: жара, уже вполне ощутимая, бессонная, тревожная ночь в поезде, чемодан с неудобной ручкой, режущей ладонь. Ну и нога. Столько лет, а он все не мог привыкнуть. Шел, перекладывая из руки в руку чемодан и палку и отирая со лба пот.

– Далеко еще? – не выдержав, спросил он.

Любка обернулась:

– Устал?

Он разозлился и коротко бросил:

– Нет. Просто вранья не люблю. Говорила же – рядом!

«Может, зря я с ней? – подумал он. – Злая ведь баба. Видит, что с палкой».

– Пришли уже, считай, – буркнула она. – Теперь уже рядом.

И вправду, минут через пять Любка остановилась у низкого забора, сто лет назад выкрашенного в голубой «веселенький» цвет, давно полинявший и выглядевший неряшливо.

– Ну вот, пришли. А я смотрю, ты истомился!

Она стояла напротив него и, щурясь от солнца, нагло, беззастенчиво и бесцеремонно, не скрывая насмешки, снова разглядывала его.

Он видел ее красивое и недоброе лицо, темные, почти черные глаза в мелких, разбегающихся от края глаза к виску морщинках, крупный, красивый, яркий рот, грубые, неухоженные руки, крепкую длинную смуглую шею с ниткой дешевых пластмассовых бус и темные пятна, расплывшиеся в подмышках. Удивился: «И ей, привычной и местной, тоже жарко. Что говорить про меня? А хороша, – подумал он. – Но совсем не мой типаж. Слишком все выпукло, слишком ярко, слишком нахраписто. Все – слишком. И баба нахальная, и красота ее такая же – грубая и нахальная».

А Любка вдруг смутилась, нахмурила длинные, красивые, темные с отливом брови.

– Давай заходи! Сейчас отдохнешь. – Она принялась открывать калитку.

Ключ заедал, не хотел проворачиваться, но Иван намеренно не помогал. Еще чего! Сама разберется. Тоже мне, цаца!

А на душе было мутно, тяжело. Зачем? Зачем он затеял все это? Какая глупость, господи! Разве спрячешься от себя, разве убежишь? Нет, из города можно. Даже от женщины можно! А вот от себя – вряд ли. Себя повсюду таскаешь с собой. И жара эта, и посудомойка – странная баба, недобрая. Это сразу понятно. Ладно, что тут. Переночую, положу рубль на стол – и тью-тью! Не останусь наверняка. Не нравится мне эта Любка.

Наконец калитка поддалась, распахнулась, и Любка обернулась к Ивану:

– Ну заходи! Будем знакомиться.

После пустынной и жаркой улицы сразу пахло свежестью. Двор был тенистым, заросшим. Это, конечно, его обрадовало – выдохнул с облегчением. Нет, все-таки жара не для него. «Ладно, чего уж. Поглядим – посмотрим», – сказал он про себя.

Приговорка эта была от деда, любимого Степаныча. Тот так говаривал, когда ситуация жизненная была неясной, сложной или запутанной. «Поглядим – посмотрим», – и становилось легче. Это предполагало заменяемый и вполне приемлемый вариант. Выход, как говорится. Вариантов всегда несколько – тоже дедовы слова. Только надо хорошенько во всем этом дерьме покопаться.

Под разлапистым каштаном – Иван узнал его по крупным и резным листьям – стоял темный, кривой стол, за которым сидела старуха – тощая, темная, почти черная, с крючковатым носом и полузакрытым темным веком

правым глазом. На маленькой сухой голове был накручен платок. Старуха Изергиль – тут же окрестил ее Иван. Страшная, прости господи, чистая баба-яга! Старуха перебирала черные ягоды. «Тутовник», – вспомнил Иван. Старухины скрюченные, страшные пальцы были окрашены в темно-фиолетовый, почти черный цвет.

Вскинув голову и высоко задрав подбородок, ба- ба-яга спросила скрипучим, резким, каркающим голосом:

– Опять привела?

– Жилец это, – коротко ответила Любка. – На вокзале словила.

На его робкое «Добрый день, уважаемая» старуха ответить не удосужилась, но взглядом, цепким, недобрым, острым и метким, как пуля, все же удостоила – и на том спасибо.

Было понятно, что это мать и дочь. Невзирая на яркую красоту молодой и абсолютную уродливость старой, сходство у них все же просматривалось.

Любка досадливо махнула рукой: дескать, не обращай внимания, и кивнула в глубь сада:

– Ну чего встал? Пошли? Или передумал?

Не дожидаясь ответа, пошла вперед по узкой, виляющей тропке.

Иван обреченно пошел за ней.

Домишко – нет, сараюшка, развалина, – был маленьким, низким, кривобоким, к тому же темным. Его почти не видно было со двора. Его опутывали, отгораживая от мира, густые кусты с крупными, темными, блестящими листьями.

Хозяйка толкнула покосившуюся дверцу:

– Проходи!

Иван шагнул через высокий порог.

Комнатуха неожиданно оказалась просторной – скорее всего, по причине почти полного отсутствия мебели и какой-либо домашней утвари. У подслеповатого оконца стояла узкая кровать с пружинной сеткой и проржавевшей стальной спинкой. На кровати, свернутый в трубку, лежал полосатый матрас. Сбоку притулилась кособокая самодельная тумбочка с гвоздем вместо ручки, на которой лежала раскрытая книга и стоял мутный граненый стакан с застывшим узором темно-красного цвета. «Вино», – догадался Иван.

На пол, на кое-как уложенные щелястые широкие доски была брошена куцая и рваная циновка. Напротив кровати, у стены, стояли маленький стол с фанерной столешницей и хлипкая табуретка с отставленной в сторону ногой.

Но было прохладно, свежо, тенисто, словно на улице не набирала силу тяжелая дневная жара.

Иван растерянно озирался по сторонам и молчал.

– Что, не подходит? – с недобрый смешком спросила Любка. – Ну тогда прощай! Ступай в гостиницу. Десять минут ходу, «Юность» называется. Только чья? Вот вопрос!

– Что – чья? – не понял он.

– Юность, – сварливо повторила Любка и нетерпеливо уточнила: – Так что, не подходит?

– Подходит. А там поглядим – посмотрим.

Она, кажется, удивилась, но ничего не ответила. Наверняка ее жилье спросом не пользовалось.

– Ну и устраивайся тогда. Обживайся. А я тебе постельное принесу. А потом все обсудим.

– А плата? – спросил он. – Это обсудим прямо сейчас.

– Дорого не возьму, не за что. Пятерку в месяц осилишь?

Иван кивнул.

Любка постояла на пороге, словно раздумывая: спросить – не спросить? Но любопытство пересилило:

– А чего приехал? Ну, в смысле сюда? Отдохнуть?

– За счастьем, – ответил он и усмехнулся. – А счастье – это покой. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Так вот, я за покоем. Да и море. Всегда мечтал жить на море.

Она покачала головой:

– За покоем, говоришь? Думаешь, если медвежий угол, провинция, значит, покой?

– Надеюсь.

– Да не надейся! – неожиданно зло, с отчаянием сказала она. – Море, говоришь? Да будь оно проклято, это море!

От растерянности и неожиданности Иван вздрогнул. Но Любка уже вышла из хибары, хлопнув кривой и щелястой дверцей.

В изнеможении он опустился на кровать. Пружины заскрипели, заныли.

«Зачем? – в который раз повторил он. – Зачем я приехал сюда, в эту глушь, в эту жару? Покой? А она, наверное, права – покоя нигде нет, нигде. Наверняка ей виднее. Покой – он в душе. В душе, и только. Но «если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Ладно, поглядим – посмотрим.

Москва

Москва, родной город где прошло его детство, их комната на Арбате, в Староконюшенном, давно ушли в прошлое. В далекое прошлое. Если бы не дед, воспоминания бы вообще стерлись, исчезли, как не было. Да они и остались смутными, смазанными, словно припудренными. Но тогда точно было счастье – Иван это понял позже, потом.

Но по порядку.

Их комната в Староконюшенном. Первый, почти цокольный, этаж, темная, «слепая», как говорила бабка, прихожая и три двери напротив из крошечного коридора – Нинки Сумалеевой, Митрофаныча и их, Громовых. Деда Петра Степановича и бабки Марии Захаровны. Ну и его, «приживалы». Подкидыша Ваньки.

Комната была странной, полукруглой. Бабка ругалась, что из-за «этих чертовых круглых углов» не встает ровно мебель, бабка называла ее обстановкой. Хотя какая там обстановка, смешно! Две кровати, деда с бабкой и его, внука. Маленький кованый сундук с «постельным», стоявший под широченным подоконником, на котором Ваня в детстве играл. Узкий шифоньер с одеждой и овальный стол, за которым завтракали, обедали и ужинали. Да, и самая главная драгоценность: бабкина этажерка из красного дерева с ее же «наследством», над которым подтрунивал смешливый и колкий дед.

Бабка Маруся была страшной аккуратисткой и мещанкой, по словам деда: крахмальные, кипенные занавески на окошке, на подоконнике – малиновая и бледно-розовая герань. Коврик на стене и шелковое голубое, в золотых завитушках, «богатое» покрывало на высокой кровати. Тоже, конечно же, обильно украшенное пышными и высокими пуховыми подушками.

На хлипконогой этажерке стояло бабкино богатство – серые мраморные слоники в ряд. В детстве Иван обожал в них играть и изувечил их – некоторые после игрищ остались без хобота, другие без уха, а то и без ноги. Старший, самый большой, был, конечно же, военачальником. Ну а остальные делились по росту и, соответственно, званиям. «Армия калечных вояк», – смеялся дед.

Кроме слоновьей армии на этажерке притулились две чашки с голубыми розами – тонкие, полупрозрачные. Трогать их категорически не разрешалось. Чашки были наследные, из бабкиной когда-то зажиточной

московской купеческой семьи.

Да, две чашки, слоны, серебряная сахарница с поломанным замочком и два бокала рубинового мальцевского стекла, девятнадцатый век. На одном из них был крошечный скол, и бабка переворачивала бокал сколом к стене. Трогать бокалы на позволялось, но в итоге Иван, конечно, один кокнул – именно целый, без скола.

Бабка орала как сумасшедшая, а дед хмурил густые светлые брови, молчал, а потом резко крикнул:

– Ну хватит! Всё. Разошлась из-за говна-то!

И бабка, как всегда, притихла – дед был в семье главным, хотя бабка и нападала на него, чего уж там.

Ванины родители, блудные – как называла их бабка, – появлялись в Староконюшенном редко. А вот сына подкинули рано – в полтора года он окончательно переселился к бабке и деду. Отец, лейтенант, получил свое первое назначение в Казахстан.

Родители от ребенка не отказывались – на этом настояла бабка: пугала их климатом, неподходящими условиями, отсутствием нормальной, «человеческой», по ее словам, еды. «Верблюжье молоко, говорите? Конина? Ешьте сами мясо с волосами!» – Бабка могла быть хамоватой, да и особенно не стеснялась. Кого стесняться? Эту? Невестку, мать любимого внука, бабка ненавидела до зубовного скрежета.

– Ваня останется у нас! – безапелляционно заявила она. – Нечего мотать ребенка по степям и жаре! Здесь, слава богу, он будет в нормальных условиях.

Дед ее поддержал. Это все и решило.

– Хотя бы на пару лет, – коротко сказал он. – А там заберете!

– Заберем, – обиженно ответил отец. – Не сомневайся.

Мать промолчала. Потом он узнал – она не возражала против того, чтобы оставить его в Староконюшенном. Даже рада была, по словам бабки Маруси.

Письма из Аршалы приходили нечасто – и писал их отец. Подробно описывая тяготы местной жизни и невыносимый степной климат. Про то, что обещали забрать сына, – молчок. Вроде бы есть оправдание. Бабка поджимала губы и швыряла очередное письмо на подоконник. Дед смотрел осуждающе, брал письмо и уходил на кухню – перечитывать, «вникать в подробности».

Так прошло четыре года. Маленький Ванька уже кое-что понимал и слушал по ночам, как бабка от души поливает его мать. Обидно ему не было – мать была для него уже чужим человеком. Да и лицо ее он помнил

приблизительно, расплывчато.

Впервые в отпуск родители приехали спустя три года. Ванька страшно смутился, когда отец, чужой человек, протянул к нему крупные руки, пытаясь его поднять. От него крепко пахло табаком и кожей от ремня.

Мать, Лиля, стояла у двери, разглядывая сына.

Ванька резво выскочил в коридор и заперся в туалете. Вытащил его оттуда дед, уговаривая долго, терпеливо и ласково.

Пили только чай – стол хозяйственная и хлебосольная бабка дорогим гостям не накрыла. На столе стоял пышный высокий торт, принесенный родителями. Он запомнил, что бабка, известная сластена, к нему не прикоснулась. А дед сладкого не ел в принципе – чай пил с любимым постным сахаром, который обожал и внук Ванька. Желтый, розовый, фиолетовый и зеленый, круглый или квадратный, ломкий и сверкающий, как первый снежок.

И отец, как и бабка, торт не ел, да и чай, кажется, тоже не пил. А мать почему-то плакала, правда почти бесшумно, уткнувшись лицом в носовой платок, нелюбезно протянутый бабкой с довольно грубым «утришь!» и жаловалась на «невыносимые жизненные условия».

Наконец дед, до того сидевший молча и постукивающий костяшками пальцев по скатерти – признак высочайшей степени раздражения, – резко сказал:

– А зачем за военного шла? Думала, сразу за генерала?

Мать замолчала, икнула и испуганно посмотрела на свекра.

Все замолчали.

Ванька сидел на кровати и исподтишка разглядывал родителей.

Отец ему определенно нравился, потому что был похож на деда: такой же крупный, «сучковатый», как говорила бабка. С большими ладонями, широкими плечами и мощной «бычьей» шеей. Широкий «картофельный» нос, густые, кустистые темно-русые брови и пронзительная синева глаз, сохранившаяся до самой старости и по наследству перешедшая Ивану.

Отец ему понравился, а вот мать, пожалуй, не очень. Была она маленькой, очень худой и «невыразительной», по словам все той же острой на язык бабки. Правда, что это значит, Ваня не понимал. Лицо у матери было маленькое и узкое, нос – короткий и острый, глаза серые и тускловатые – суконные. И какой-то скукоженный, «подобранный» рот – куриная гузка. Плакала мать некрасиво, трясая головой в мелких кудряшках. Правда, кто плачет красиво?

В комнате висело глухое, тревожное и тяжелое молчание, прерывающееся только громкими глотками деда, с чем бабка всегда

боролась. Но надо сказать, безуспешно. Бабка называла деда ваклахом, намекая на его крестьянское происхождение. А тот не обижался, посмеивался:

– Ну да, это вы у нас аристократы! Как же, столбовые дворяне – ни больше ни меньше!

Тягостная обстановка Ваньке надоела, и он отпросился во двор. Бабка тут же, что странно, его отпустила, впервые не дав указаний: со двора не уходить, в угольный подвал не лазать, на деревья тоже, к дворнику Абдуле не приставать и с Митькой Кургановым не драться.

Ваня с облегчением выскочил во двор – взрослые ему надоели.

Когда он вернулся, – начался страшный ливень, – отец и мать уже толкались в прихожей, собираясь уходить. Отец достал из кармана увесистую пачку денег и протянул ее бабке. Та было хотела ее взять, но тут же вздрогнула и с испугом посмотрела на мужа.

– Нам не надо, – сухо и твердо сказал дед, – справляемся.

– Хватит, батя! – устало ответил отец. – Хватит, ей-богу! А мы-то для чего?

– А вот этого я не знаю! И что-то никак не пойму! – глухо отозвался дед и, не попрощавшись, пошел в комнату.

Мать подошла к нему и присела на корточки.

– Ваня, мальчик! Мы завтра уезжаем. Но вернемся через пару недель, на обратном пути. Пойдем тогда в зоопарк? Ну, или в кино, а? – Она жалобно смотрела на него, хлопая мокрыми ресницами. Пыталась погладить по голове – он увернулся.

Потом подошел отец и взглянул на Ивана внимательно, словно изучая. Не выдержав его взгляда, Ванька отвел глаза. Отец погладил его по коротко стриженной голове и неловко чмокнул в макушку.

Вышли молча, провожать до лестницы не стали, хотя и было принято гостей провожать.

Когда хлопнула входная дверь, бабка плюхнулась на кровать, закрыла лицо руками и разрыдалась. Дед стоял у окна и молчал. Спустя пару минут бросил:

– Хватит, Маруся! Ничего не попишешь, будет как есть. Успокойся.

Ночью Ванька слышал бабкин горячий шепот:

– Стерва, сволочь! Какая она мать? На море они едут! В санаторий! Устала она, а? Отчего, ты мне не скажешь? А ребенок? Ему моря не надо? А им ребенка не надо? Три года не видели! Ненавижу ее, ненавижу! Всю жизнь ему сломала! И что он в ней нашел, а? Уродина ведь! Ни рожи, ни кожи! Хитрожопая гадина! Специально ведь подстроила все, пузом

приперла! Знала ведь – он, дурак, не откажется! Потому что приличный. Вот идиота мы воспитали!

Бабка громко всхлипывала и глухо сморкалась. Дед молчал. Потом Ваня услышал, как он сказал свистящим шепотом:

– Спи уже. И мне дай. Все, закончили. Ничего не исправить. Будем жить, как жили. Спи, Маруся.

Но бабка еще долго что-то шептала и снова сморкалась. А потом Ванька уснул.

Никакого «на обратном пути» так и не было – потом он узнал, что родители вернулись в Казахстан через Ленинград – мать захотела повидаться с подругой. Выходило, что бабка права: никакой ребенок ей не нужен, подруга важнее.

Потом, когда бабки уже не было, он спросил у деда, за что бабка так ненавидела его мать.

– А за что ее было любить, Ваня? – ответил дед. – Женой она была никакой, хозяйкой тоже. Матерью – сам знаешь. А вот деньги любила. До невозможности любила, нездорово. Отца твоего корила – мало все, мало. На то не хватает, на это. Ну а потом... Ты же знаешь – бросила его. Нет, это, конечно, не плохо, а очень даже хорошо! Но сам понимаешь – неправильно. Выходит, Маруся, бабушка твоя, была права.

Родню со стороны матери Иван помнил плохо. Семья ее жила в поселке под Шатурой, матери у нее не было, а были отец и брат. Работали они на торфоразработке и были людьми сильно пьющими. В Шатуну ездили всего один раз, и Ванька запомнил страшного пьяного мужика в старом ватнике, курящего на крыльце дома. Мать тут же начала с ним скандалить, и отец, взяв Ваньку на руки, ждал мать за калиткой. Потом узнал – материн отец, его дед, болел туберкулезом. Мать всегда боялась от него заразиться и заболеть. Потому и сбежала из дома в пятнадцать лет. А ее брат, Ванькин дядька, сел за пьяную драку. В тюрьму к нему мать не ездила и посылок не отправляла – говорила, что зачеркнула ту жизнь навсегда.

Дед еще работал, но по утрам вставал уже тяжело – сначала спускал отекавшие, в крупных синеватых «реках» вен ноги и долго сидел на кровати. Потом, кряхтя, брал полотенце, кидал его на плечо и шел умываться. Следом просыпалась бабка, глядела на часы и охала. Вскакивала она моментально, без промедления, и тут же бросалась на кухню – ставить чайник и делать деду яичницу. Всегда, во все времена, на завтрак дед ел одно и то же – яичницу из трех яиц, только глазунью, и три ломтя белого хлеба с маслом. И не дай бог, если яйцо растечется – тогда бабка получит

по полной.

Требовательным или капризным дед не был – ему было все равно, что носить, на чем спать и из чего есть. А вот яичница была делом святым.

С работы он приходил в семь вечера. Выпивал стакан крепкого чая и тут же ложился, а через пару минут раздавался его мощный храп. Спал он от силы минут двадцать, вставал бодрым и веселым и тут же звал внука.

Ванька ждал, когда дед проснется и наконец начнется интересная жизнь.

В хорошую погоду ходили гулять по Арбату, по Самотеке, по Замоскворечью. Иногда забирались и дальше – пешком доходили до Крымского моста, а там рукой подать и до Парка культуры. В парке забирались в Нескучный, вглубь, туда, где уже не было лавочек, но попадались поваленные деревья или пеньки, и усаживались передохнуть. Бабка всегда собирала им с собой четыре бутерброда – два с докторской, два с российским. В парке покупали бутылку сидро и пировали.

Казалось, о Москве немосквич дед знает все. Бродили по дворянской Москве и по купеческой. По выходным – опять же, в хорошую погоду – ездили в Загорск, Звенигород, в Абрамцево или в Мураново. Бывали и в Ясной Поляне, у «Льва Николаевича», как говорил дед. Был он человеком читающим, русскую классику знал наизусть, «Клима Самгина» пересказывал почти дословно. Горького любил и жалел: время выпало ему – не дай бог! Ну и за все поплатился. Толстого любил, Куприна. Познал их уже в зрелости: в деревенской юности и в беспокойное время было, увы, не до чтения книг.

А вот бабка, вполне образованная, окончившая московскую гимназию, книг не читала: «Все врут, все неправда. Жизнь куда проще, – махала она рукой. – И все я про нее знаю. Зачем мне они?»

Бабка читала журналы «Здоровье», «Работницу» и толстую, засаленную и замызганную книгу «Домоводство».

В их прогулках бабка участия не принимала. Во-первых, больные колени. А во-вторых, хоть без вас отдохну!

Весной, как только подсыхало, они ехали в лес: брали с собой бутерброды и молоко в бутылке. Побродив по лесу, присаживались передохнуть – и начиналась трапеза. И ничего вкуснее этих скромных бутербродов с докторской колбасой и молока из бутылки с серебристой крышечкой из жесткой фольги Иван никогда не ел.

Дед, человек деревенский, конечно же, был и страстным, заядлым грибником. Уже в конце августа начиналось его жгучее нетерпение. С антресолей доставалась большая корзина из ивовых прутьев, потемневшая

от времени, кое-где чиненная, перевязанная лыком, но все еще крепкая. У Ваньки была своя корзинка – точнее, бабкина. Маленькая и почти плоская – клубничная. Бабка укладывала в нее ягоды для варенья, чтобы не помялись. Точился перочинный ножик с кожаной, вытертой до блеска ручкой. С тех же антресолей доставались высокие черные резиновые сапоги и старый облезлый ватник. К ватнику прилагалась кепчонка с кривым от времени козырьком.

Бабка, оглядывая деда в «грибной» обмундировке, криво усмехалась:

– Хорош! Смотри, чтобы в отделение не забрали. Ну чистый зэка! Как вчера возвратился.

Дед, находясь в предвкушении, счастливый и довольный, добродушно махал рукой – дескать, отстань.

Иван обожал эти грибные вылазки. Выезжали они ранним утром, примерно в полшестого. Как правило, было еще прохладно и даже зябко, порой покрапывал дождь – начиналась затяжная подмосковная осень. В электричке Ванька, конечно же, засыпал. Да и дед, кажется, подремывал. Но станцию ни разу не пропустил. Были у деда свои места – личные, «намоленные и нахоженные».

Выходили на перроне, и дед, закидывая голову к синему сентябрьскому холодному небу, счастливо вздыхал и улыбался. В лесу шли параллельно, чтобы внучок не потерялся. Заглядевшись на интересную корягу или какую-то лесную невидаль, Ванька иногда отставал. Дед это чувствовал – тут же замирал, прислушивался и громко аукал. В лесу пели птицы, и он узнавал всех по голосам: иволга, пеночка, дрозд.

К шести годам Иван прилично разбирался в грибах – спасибо деду. Понимал, под каким деревом и в какой траве может притаиться красноголовик или беляк. Где брать опята, а где черные грузди – ох, до чего хорошо бабка их солила!

Находившись, присаживались на отдых – как правило, на кочку или поваленное дерево на краю поля. В полдень становилось жарко, и Ванька скидывал куртку, а дед свой древний любимый тяжелый ватник. Разморившись, Иван засыпал – дед подкладывал ему под голову его куртку и прикрывал ватником, который – Ванька слышал сквозь сон – пах грибами, лесом и дедовскими папиросами. И это было счастье – засыпать с этим самым запахом.

Возвращались под вечер и гордо выставляли перед бабкой трофеи. Та, конечно, охала, ворчала, что возиться ей не перевозиться, но тут же принималась за чистку. А Иван без сил падал в кровать.

– Надышался, – ласково шептал дед, укутывая его поуютнее.

Лет в восемь Иван узнал некоторые подробности о своих. Бабка была москвичкой, родилась в семье зажиточной и даже богатой. И дед ее, и отец торговали холстом. Перед самой революцией развернулись – стали закупать ткани и в Персии, и в Китае, и во Франции. Торговали и кружевом – знаменитым вологодским, елецким и олонеким, бабка говорила, что наше, российское, ничуть не уступало известным заграничным. Торговали, конечно, и французским – из Шантильи и Кодри, и бельгийским из Брюгге, и итальянским из Бурано.

Открыли магазин в Замоскворечье, недалеко от дома, где жили, в Черниговском переулке. Из окна бабкиной детской была видна колокольня церкви Черниговских святых. В воскресенье девочка Маруся просыпалась под колокольный перезвон. При доме был сад, разросшийся, густой и тенистый, в конце августа в окна тянуло запахом антоновки и мельбы. Торговля шла бойко, семья богатели и строила планы.

Но – революция. Счастливое и спокойное время закончилось. Бабке тогда только исполнилось шестнадцать. Все, что она успела, – это окончить Елизаветинскую женскую гимназию в Большом Казенном.

Отец ее, Иванов прадед, вскоре скончался: так и не смог пережить «прелести» нового быта и новой власти. Все понял сразу. Да и мать, женщина слабая и болезненная, вскоре ушла вслед за мужем. Дядя эмигрировали в Америку, позабыв о племяннице, а единственная тетка, сестра матери, одинокая и бездетная старая дева, совершенно не приспособленная к жизни и быту, осталась на попечении девочки.

Милый родовой особнячок, с флигелем, конюшней и хозяйственными пристройками, конечно, забрали. Про магазин и говорить нечего. Про склады тоже. Марусе и тетке дали комнатку на Арбате, в Староконюшенном переулке. Тетка сразу принялась болеть – с кровати почти не вставала, а вот есть требовала. Какая еда, господи? Маруся ходила на Сухаревку и продавала то, что осталось от прежней жизни: золотой отцовский брегет на толстой цепочке, его же перстень с черным агатом, мамины сережки и колечки, свои девичьи, мелкие и скромные, украшения – цепочку с бриллиантовым ангелочком и сережки с алмазами. Зимой ушли отцовская шуба на бобровом подбое, мамины жакетка, отороченная баргузинским соболем, лиловый бархатный плащ, серебряная театральная чешуйчатая мягкая сумочка, все еще пахнувшая ее духами. Ну и еще по мелочам.

На вырученное там же, у спекулянтов, Маруся покупала продукты. Тетка ела много и жадно, одинокая эгоистка, привыкшая жить для себя, в старости она совершенно на себе же зациклилась. Племянница, благодаря

которой она, собственно, выживала, ее не волновала. Марусю она рассматривала исключительно как добытчицу.

В двадцать втором тетка умерла от инфлюэнцы, и Маруся, надо сказать, испытала одно чувство – облегчение. Тетка была ношей не просто тяжелой, а тяжелейшей. Но, схоронив ее на Донском в семейной могиле, тем же вечером Маруся ощутила, что осталась совершенно одна – ни родни, ни друзей.

Наследство закончилось, а жить было надо. Точнее – выживать. Пора было устраиваться на работу. Только куда? Что Маруся умела? Да ничего, ничего, ровным счетом ничего. С трудом устроилась в жилищную контору в Денежный переулок, делопроизводителем. На деле – перебирала бумажки, сортировала бланки, что-то подклеивала тягучим и очень вонючим клейстером. Пальцы были синие от чернил. Но деньги платили – пусть мало, только выжить. Выжить, а не жить. И Маруся выживала.

Дед объяснял Ване, отчего у бабки плохой характер: до шестнадцати лет жила как в раю, чисто птичка божья – достаток, свой дом, большая и дружная семья, куча родных. Пансион, шелковые платья от Поля Пуаре и Люсиль, шубки от Жака Хейма, туфельки из кожи страуса. Даже женихи уже имелись на примете, один лучше другого. А что вышло? Сиротство, нищета, холод, голод и вши. А потом одиночество. Всем пришлось горя хлебнуть, что говорить. «Но мне было легче, – говорил дед. – Я крестьянский сын, холоп, от сохи. Я воспринял революцию как благо, как подарок. Да и непривычный я был к хорошему. А Маруся была. Ей тяжелее, чем мне, было».

Познакомились бабка с дедом в двадцать третьем. Случилась любовь, ну и поженились без промедления. А чего, собственно, тянуть? По крайней мере, их теперь двое – семья, а значит, уже не так страшно. И дед, прибывший в столицу три года назад, переехал в комнату молодой жены. Маруся пыталась привить своему Пете хорошие манеры. Но получалось плохо – тот злился: «Мне сойдет и так!» Правда, учиться его заставила – сама не пошла, а его отправила, за что дед ей всю жизнь был благодарен. Он окончил строительный, сделал неплохую карьеру и оставил после себя, как говорил, «кое-что». Например, Ленинский проспект и Профсоюзную улицу. Везил туда, в новые районы, внука и гордо показывал красноватые, одинаковые солидные дома на главном проспекте столицы.

На Ивана, если честно, эти ровные и одинаковые коробки с плоскими крышами впечатления не произвели – подумаешь! А вот высотки – Котельники, площадь Восстания, здание Университета восхищали. «Это тоже ты?» – спрашивал он. Дед разводил руками: «Нет, Ванька. Это не я».

Вот это была архитектура, это дома! А дедовы скучные девятиэтажки... Нет, не нравились. Но деду, конечно, об этом Иван не говорил – понимал, что тот обидится.

Зарабатывал дед неплохо: в доме всегда была хорошая еда – колбаса, сыр, мясо, фрукты. Бабка ходила в габардиновом пальто с норковым воротником, которым очень гордилась. Еще она гордилась золотыми часиками на жестком браслете – браслет назывался крабом. «А про то, что у меня было, – вздыхала бабка, – я давно забыла. Так проще».

Иван помнил, что всю зарплату дед отдавал бабке – та тщательно, несколько раз, пересчитывала купюры и убирала их под стопку постельного белья в шифоньер.

Иван помнил и скандалы по поводу квартиры – бабка возмущалась, что дед, *строитель* – на этом слове делался упор и бабкин палец вздымался вверх, – живет в коммуналке, в «конуре».

Дед хмурился, уходил на кухню курить, а зайдя в комнату, говорил одно и то же: «Неудобно мне, Маша. Неудобно просить. Сколько людей живут хуже, чем мы, в бараках, в подвалах. Семей по семь человек. А мы здесь втроем, в самом центре – вон, все под рукой! Магазины, аптека, Садовое! Кинотеатр «Художественный». Сквер, наконец! Ну чем тебе плохо? Хочешь отсюда уехать? Маша, там же ни магазинов пока, ни метро! Ты же привыкла в центре!» Бабка махала рукой, но, кажется, соглашалась. Без Арбата, без Смоленки, без любимого Гоголевского, где она гуляла с маленьким внуком, жить она не могла.

Позже Иван думал, что бабка, конечно, была права – дед давно мог похлопотать о квартире. И ему бы дали, не сомневайтесь – заслуженный строитель, ветеран труда и, в конце концов, фронтовик. Последнее, кстати, было для деда самым болезненным – его короткий и скромный путь на войне. Призвали его в сорок втором, он попал на Украинский, но через три месяца все закончилось – ранение. Рана была дурацкая, как говорил он: «Так, ерунда! Подумаешь, ранение в голень!» Но вскоре начался остеомиелит, и деда окончательно комиссовали. С остеомиелитом, кстати, он мучился всю жизнь – горстями глотал антибиотики, после которых, как правило, открывалась язва.

Дед прихрамывал, но палку упрямо взял только после шестидесяти – раньше стеснялся. Иван – к сорока. Вот ведь судьба!

Родом был дед со Смоленщины, из деревни Сметанино. Уехал оттуда в шестнадцать – сначала в Смоленск, а потом и в Москву. Семья Громовых была по-деревенски большой – три брата и две сестры. Братья погибли на фронте, сестры – во время оккупации. Никого не осталось. Ивану было лет

пять, когда дед его взял в Сметанино. Дом их не сохранился – сгорел. Осталась дальняя родня – у нее и остановились. Иван помнил, что тогда дед сильно напился. Он таким его никогда не видел – ни до, ни после.

Помнил Иван и деревенское кладбище, погост, – там, не стесняясь внука, дед долго и неутешно рыдал на чьих-то могилах.

Больше в Сметанино дед не ездил – говорил, что тяжело. Пару раз к ним в Москву приезжала дальняя дедова родня – троюродная сестра Мотя с племянником. Бабка рада им не была – Мотя эта была бабой пьющей.

Бабка, конечно, была человеком сложным: с одной стороны, нетерпимой, колючей, довольно скандальной – заводилась с полоборота. А с другой... Бабка была доброй, терпеливой – жалела, к примеру, соседку Нинку, неряху и скандальную хабалку, поддавуху и шалаву. Ругалась с ней до хрипоты, а жалела. Говорила, что у Нинки ужасная судьба – муж погиб на фронте, дочка сгорела от скарлатины. И когда у Нинки начинался очередной запой, бабка убирала за нее «места общего пользования», кормила горячим супом и стирала заблеванные рубашки. Но как только Нинка приходила в себя, опять начинались разборки.

Жалела она и дворника Абдулу, хромоногую хмурого татарина – собирала вещи для его многодетной семьи, помогала продуктами.

Всю жизнь таскала на почту посылки – чай, растворимый кофе, колбасу и конфеты – для какой-то несчастной и одинокой подруги, кажется – в Вязьму.

Про бабкино образование Ваня узнал в одиннадцать лет. Корпел над заданием по французскому, ничего не выходило, а тут бабка со словами «Эх ты, бестолочь!» с ходу перевела заданный текст. Он обомлел – вот оно, дореволюционное образование. Да и со сложными задачками по алгебре бабка справлялась на раз. Кстати, оставались еще и бабкины книги с ятями – хранились они в старом чемодане под кроватью. В одной была закладка – длинная гобеленовая полоска плотной ткани, с вышитыми инициалами МБ, Маруся Белоголовова. Потом узнал, что закладку бабка вышила в четвертом классе на уроке рукоделия.

Почти ничего от ее прежней жизни не осталось, а вот такая ерунда, как закладка, лежала себе, лежала. Правда, сохранились еще серебряные приборы с костяными желтоватыми ручками – три вилки с гнутыми зубцами, две столовые ложки и три чайные с кручеными черненными ручками. Пара тарелок – простых на вид, гладко-белых, с тоненькой серебряной каемкой по краю. На обороте написано вязью: «Завод братьев Кузнецовых». Ну и те синие с розами чашки на этажерке – из них не пили,

потому что они были хрупкие, да и кое-где склеенные по выпуклому и полупрозрачному боку. Бабка всегда накрывала на стол – белая скатерть, обязательно подкрахмаленная, приборы, салфетки, тонко нарезанный хлеб в овальном блюде.

А дед, если бабки не было дома, мог поесть и «с газетки», запросто! Расстилал старую прочитанную газету и раскладывал на нее любимую килечку, крупно нарезанную и дешевую вареную с жирком, остро пахнувшую чесноком колбасу – говорил, что она вкуснее. Неприглядный натюрморт украшали головка очищенного репчатого лука, или стрелки лука зеленого, или дольки чеснока – по сезону. Дед счастливо кричал, громко сглатывал слюну и приступал к трапезе. Еще он обожал тюрю – в большую миску крошился хлеб, репчатый лук и туда разбивалось яйцо. А заливалось все это «непотребство» квасом. Вид у этого «деликатеса» был, честно говоря, малоаппетитный, и заводил он тюрю в отсутствие бабки или тогда, когда они крупно скандалили, назло: знал, что ее трясет от самого вида этого крошева. Ел он, побрякивая от удовольствия, громко чавкая, охая и нахваливая.

Бабка, если была, морщилась, хлопала дверью и уходила на кухню. Очередное зрелище, а зрелища бабка любила. И очередное противостояние супругов.

Кстати, дед насмеялся над бабкиными кулинарными изысками – хотя какие там изыски, господи, все было предельно просто. И все же. Например, когда бабка подавала к обеду обычный куриный бульон с подсушенными белыми сухариками – гренками, как она говорила, дед тут же вставлял:

– А, у нас сегодня *консоме*, Мария Захаровна, если я не ошибаюсь?

Иногда бабка покупала «зеленый» сыр, то есть рокфор, сыр с плесенью. Дед брезгливо зажимал пальцами нос, кривился и отодвигал тарелку «с грязными носками».

– Плебей, – равнодушно замечала бабка и продолжала с удовольствием намазывать сыр на хлеб.

Бабка злилась и укоряла деда за его «деревенщину». Дед ухмылялся и переходил с ней на «вы»:

– А вы, Мария Захаровна, из дворян, надо полагать! Куда уж нам-то, со свиным рылом – и в калашный ряд! Мы манерам не обучены, миль пардон! От сохи мы, деревенщина! И, кстати, этим гордимся!

– Было бы чем! – хмыкала бабка. – Нашел чем гордиться!

Но вредный дед не успокаивался:

– А вы, Мария Захаровна, прикидываетесь! Вы ж из торгашей, если не

ошибаюсь! Из лавочников, алтынников, так сказать. Папаша ваш тряпками торговал, а вы из себя графиню строите, вашу мать!

Какими же они были разными, его старики! А прожили долгую жизнь.

Но было же и еще кое-что – интимная жизнь. Дед в те годы был еще вполне крепким, стройным, красивым – что такое для мужика чуть за пятьдесят? Он по-прежнему был жилист, никакого намека на возрастное пузцо, широк в плечах и ходил быстро, широко и размахисто. А бабка уже была бабкой – с небрежно закрученным пучком седых волос с вечно торчащими шпильками, в круглых, старомодных очках, которые она вечно искала. В фартуке, войлочных тапках. Почему она так быстро состарилась? Да и какой там у них был, прости господи, секс, если на расстоянии протянутой руки спал их внук? Спал беспокойно, тревожно, потому что «израненная психика».

* * *

Рисовать Иван начал лет в пять – маленький стульчик, сделанный дедом, пододвигал к подоконнику, раскладывал бумагу, клал в ряд цветные карандаши и замирал от восторга – сейчас он начнет рисовать! Рисунки у него были не детские – никаких там пушек, солдатиков или корабликов. Рисовал он лес, поле и море. Дед тихо и осторожно, боясь себя обнаружить, вставал позади него и наблюдал. Иногда присвистывал: «Ну ты, Ванька, даешь!» Иногда подолгу молчал и странно глядел на внука, потом молча гладил его по голове.

В шесть лет дед отвел его в художественный кружок, где вел занятия Олег Викторович – молодой мужчина болезненного вида, бабка называла его чахоточным. Худющий, какой-то узкий, почти без плеч. Выражение лица у него было тоскливое и жалобное, казалось, еще минута – и он заплачет. Довершали печальную картину длинное, узкое лицо, острый нос, очки и жидкая, козлиная бородка. Добавьте к этому вытянутую желтую вязаную кофту и короткие помятые брючки. Он любил повторять: «У нас, у живописцев...» Какой уж он был живописец, одному богу известно. Но учителем был внимательным и добрым.

Через год, перед самой школой, Олег Викторович вызвал деда на разговор – бабку он, кажется, побаивался, и небезосновательно.

Иван не слышал, о чем говорили взрослые, но видел, как хмурится дед и как любимый учитель в чем-то яростно его убеждает.

Этот разговор сделал свое дело: в обычную школу Иван не пошел –

отправился в художественную, специализированную – так, по складам, с гордостью, говорила соседям бабка. Олег Викторович изменил его судьбу. Спустя пару лет Иван забежал в кружок проводить Олега Викторовича. На двери, где прежде проходили занятия, был повешен большой амбарный замок. Потом узнал: несчастный учитель покончил с собой, кажется – из-за женщины.

Художка – Художественная школа имени Сурикова – находилась в Лаврушинском, напротив Третьяковской галереи, куда школяров водили часто, на экскурсии или рисунок. В основном там учились дети художников и скульпторов. Но были и «с улицы» – как он, Иван Громов.

Иван был счастлив, в школу не ходил – бежал. Каждое утро поторапливал бабку – не дай бог опоздать! К его успехам бабка относилась скептически. А вот дед гордился и развешивал Ванькины рисунки по всем стенам. С его будущим все было ясно – Иван мечтал стать художником. Без вариантов.

* * *

С третьего класса провожать его бабка перестала: «Сам доберешься». А он был только счастлив – на обратной дороге из школы можно было купить мороженое и съесть пирожок с повидлом, а к тому же погонять с мальчишками мяч и потрепаться с дружкой, Ленькой Велижанским.

Ленька был толстым и наглым – так говорили учителя. Отец его был заслуженным архитектором – к школе Леньку подвозила черная «Волга» с блестящим оленем на сверкающем капоте. Вальяжно и нехотя, наблюдая реакцию окружающих, Велижанский – и вправду наглец – медленно вылезал из машины. Девчонки, затаив дыхание, провожали увальня Леньку восторженными взглядами. Обедать в столовую он не ходил – еще чего! Вяло жевал бутерброды, принесенные из дома, с белой рыбой и ветчиной. Угощал Ваньку, но тот не брал. Гордый.

Ленька был наглый, ленивый, медлительный. Но при этом добряк и остроумец, человек наблюдательный, с острым и точным взглядом.

Талантами он не блистал, но по этому поводу не расстраивался – подумай! Любимая фраза: «А в гении мне не надо, мне и так хорошо!» И кажется, ему и вправду было неплохо.

Жил он в огромной академической квартире с видом на Москву-реку – Иван там бывал. Поразили его не только размер квартиры, но и обстановка, и богатый антураж, а главное – домработница в белом фартучке и с

наколкой на голове. Такое он видел только во французском кино.

Мать Велижанского, женщина редкой красоты, была нездорова – днями она лежала в кровати в своей роскошной спальне. Отец разъезжал по заграницам и сына не обижал – у Ленки, первого в классе, были настоящие американские джинсы «Вранглер» и кожаная куртка с заклепками. Хвастливым он не был – еще бы, с детства привычный к роскоши, воспринимал все как должное.

Иногда Велижанский Ивана раздражал, временами просто бесил. Они часто ссорились и надолго прекращали общение. Первым всегда звонил Ленка»: «Эй ты, Гром! Не остыл?»

Иван был не из отходчивых, перемирие ему давалось с трудом.

В пятом классе, когда начались серьезные занятия по скульптуре, он понял, что хочет заниматься именно этим ремеслом, по его мнению, абсолютно мужским занятием, требующим физической силы, сноровки и мужественности. А мотаться с мольбертиком и кисточками? Нет, пусть этим занимаются девчонки!

* * *

Ванины беспечные годы закончились, когда в одночасье заболела бабка – крепкая, здоровая, гордящаяся своим наследственным здоровьем: «Хилых у нас в семье не было!» И вправду, он не помнил, чтобы она болела – всегда болел дед: нога, позвоночник, желудок. Когда обнаружилась болезнь, бабка уже стала другой – в течение пары месяцев похудела и изменилась почти до неузнаваемости. Операцию сделали, но прогнозы врачей были неутешительными – при удачном стечении обстоятельств ей отпускали год-полтора. Вышло два года – и только благодаря деду. Тот поднял на уши всю Москву и подключил всех друзей и знакомых. Оперировал бабку сам Перельман. Лекарство привозили из Германии, и бабка подолгу лежала в Кремлевке, в царских, по ее же словам, условиях.

Но все это не помогло – умерла она под Новый год, тридцатого декабря. Народу на похоронах было мало – все готовились к празднику. Да и родни и подруг у бабки не было. Убивалась только соседка Нинка – голосила у гроба так, что всем было неловко. Отец Ивана на похороны матери приехал один – к тому времени Лиля уже ушла от него, а Тонечка только-только в его жизни появилась. Иван увидел ее спустя год – отец и Тоня приехали в Москву знакомиться. Иван помнил, как дед сказал: «Как же жалко, что Маруся не увидела Тоню! Вот бы обрадовалась! Успокоилась

бы – именно о такой невестке Маруся мечтала».

Иван видел, как дед потерялся без бабки. Слонялся по комнате, подолгу стоял у окна, стал еще больше смолить – теперь запретить было некому, никто не ворчал и не ругался по этому поводу. Каждую субботу дед ездил на кладбище. Иван кладбище не любил – ему там становилось тоскливо и страшно. Но отказать деду не мог. В фотоателье дед увеличил бабкину фотографию – на ней она была молодая и, как ни странно, красивая. Иван помнил ее только старой, тучной, расплывшейся. А со старого пожелтевшего фото на него смотрела хорошенькая глазастая девушка с пышными светлыми волосами и нежной улыбкой. Несмотря на улыбку, взгляд у девушки был строгим и настороженным, очень серьезным. Уж беспечности в ней не было точно.

– Видишь, какой Маруся была, – вздохнул дед.

Иван смущенно кивнул и ничего не ответил, застеснялся.

Та Маруся ему была незнакома.

* * *

Отец и Антонина гостили недолго, всего-то неделю. Остановились в гостинице в районе ВДНХ, чтобы не стеснять деда и Ваню. И Ваня впервые в жизни не разлучался с отцом. Гуляли на ВДНХ, в Сокольниках, в парке Горького, ели мороженое в кафе «Север» и шашлыки в знаменитой шашлычной «Риони». В ГУМ поехали по настоянию Антонины, и уж там отец расщедрился – купил ему уйму всего: от рубашек до ботинок и новых импортных лаковых красных лыж. Это были счастливые дни. А уж как был счастлив дед!

Антонина предложила пасынку уехать с ними:

– Поехали, Ванечка! У нас так хорошо! Такая природа, такое озеро! И люди хорошие. Добрые. Не то что у вас в столице.

Родная мать его с собой не позвала, а чужая женщина почти сразу. Но он отказался – учеба. Через два года институт. Да и дед – как он оставит его? Нет, невозможно. Но понимал, чувствовал, что приглашает она от души, и после поступления обещался приехать.

Мать писала нечастые короткие письма: «Как ты? Как учишься, здоров?» Про деда – ни слова. Что ж, это вполне объяснимо. Как он к ней, так и она к ним. Но он чувствовал, как формальны ее вопросы, как небрежны письма, как мало ее интересует его жизнь. Точнее, совсем не интересуется.

Он знал, что мать замужем, родила дочь и, кажется, вполне счастлива. Что ж, хорошо. Пусть будет здорова и счастлива. Ничего плохого он ей не желал – просто чужой человек. Но ни видеть ее, ни встречаться с ней в его планы не входило.

Но встретиться им довелось, и случилось это через два года после бабкиной смерти. Мать, как оказалось, была в Москве проездом на юг – в столице им с мужем предстояло провести часов пять. Позвонила она с вокзала, и Иван не сразу узнал ее – голос ее остался там, в далеком детстве.

– Иван! – кричала она в трубку. Слышно было, как всегда, плохо, телефонные автоматы работали кое-как. – Это я, мама! Мы на Казанском, проездом! Да, да, проездом! Будем до вечера! Ты можешь подъехать?

Иван молчал, не зная, что ответить.

А она продолжала кричать:

– Але! Я тебя не слышу, Иван! Так ты можешь подъехать? Нам тебя ждать или как?

Очень хотелось нагрубить: «Или как». Но оробел, растерялся и еле выдавил:

– Да. Я подъеду.

И чуть не добавил: «А как я тебя узнаю?»

Но узнал сразу, как только увидел ее, нервно маячащую около тяжелых входных дверей. Изменилась мать мало – такая же маленькая, худая, в дурацкой бархатной, очень провинциальной шляпке, сидящей на ней нелепо и криво, на самом затылке, вот-вот упадет. В немодном летнем пальто с высокими плечами – в Москве такие давно не носили. И почему-то в перчатках. На улице было довольно тепло, май. Зачем они ей понадобились?

При ближайшем рассмотрении Иван увидел, что она здорово постарела – мелкое и незначительное ее лицо испещряли такие же мелкие и сухие морщины.

– Что, постарела? – поймав его взгляд, усмехнулась она.

Он удивился – неужели это единственное, что ее волнует?

Разглядывала она его с интересом, но равнодушно, как чужого человека.

– А ты повзрослел, Ваня! Прямо мужик! И так на деда похож!

Он ничего не ответил.

– А как Мария Захаровна? – кажется, с интересом спросила она.

– Бабушка умерла, – ответил он.

Мать удивилась и с сомнением, словно не веря, переспросила:

– Как умерла? Ну надо же! Такая крепкая была женщина – не

женщина, прямо монумент из гранита! Я думала, она многих переживет.

Иван ничего не ответил.

– А Петр Степанович как? – В ее глазах снова промелькнул интерес. – Он-то – здоров?

– В порядке, – сухо ответил Иван.

Мать кивнула и оглянулась. В глазах ее появилась тревога и, как ему показалось, неуловимый страх.

– И у меня все хорошо, – вдруг скороговоркой заговорила она. – Муж у меня, Павлик. Хороший. Дочка Леночка. Квартира хорошая – три комнаты. На юга вот собрались. В отпуск. – Говорила она отрывисто, короткими рублеными фразами.

– Рад за вас, – язвительно проговорил Иван, собираясь распрощаться.

Но тут из вокзальных дверей вывалился здоровый, красномордый мужик, державший за руку полную, рыхлую девочку лет десяти в пышном розовом платье с огромными капроновыми бантами на тонких русых косицах. Мать оживилась и счастливо улыбнулась:

– Мои! Павлик и Леночка!

Мужик с девочкой подошли к ним. Девочка ела мороженое, и белая липкая жижа капала на ее нарядное розовое платье.

– Леночка! – возмутилась мать. – Ну как же так можно?

Девочка посмотрела на нее равнодушным взглядом и ничего не ответила. От красномордого Павлика сильно разило спиртным. Он с удивлением посмотрел на Ивана, словно увидел какую-то диковину, и протянул ему здоровенную лапу.

– А, это ты? – удивился он. – Ну, будем знакомы!

Руку протягивать не хотелось, но Иван уловил взгляд матери – перепуганный, несчастный, жалкий – и нехотя ответил на рукопожатие. Рука у этого красномордого Павлика была липкой и влажной.

– Лиль, ты еще долго? – обратился он к жене. – Пожрать бы, а? Да, кстати! – Он повернулся к Ивану. – Не знаешь, пацан, где здесь нормально кормят? Ну, чтобы недорого и не потравиться? Неохота в поезде дростать, сам понимаешь! – И он громко и отвратительно хохотнул.

– Не знаю, – не скрывая отвращения, ответил Иван. – Ладно, я пошел. Хорошего отпуска. – Не взглянув на мать, он быстро пошел прочь, к метро. Его никто не окликнул.

В вагоне метро прислонился к прохладному стеклу – горело лицо.

«Странно все, – подумал он. – Это же моя мать. И девочка эта с дурацкими бантами – моя, можно сказать, родная сестра. И так все нелепо. Чужие люди, совершенно чужие. И встреча эта дурацкая и тоже нелепая –

на десять минут. И всё, разошлись. Наверное, навсегда. Да и ладно. Они мне не нужны». И все-таки ему казалось странным, что мать не спросила, как он живет, что у него происходит. Какие планы на будущее, ну, и все остальное. Дежурные вопросы, которые обычно задает воспитанный человек. И как всегда, он не услышал короткого слова «сын». Но с другой стороны, что спрашивать? Разве расскажешь свою жизнь за десять минут? Да и надо ли это ему? Нет, не надо. И хорошо, что все так, его это вполне устраивает. Её, видимо, тоже. И этот красномордый Павлик ей вполне подходит – гораздо больше, чем его отец. Выходит, умная бабка была права.

В ту ночь Иван не мог уснуть, как себя ни уговаривал, что все это полная ерунда.

* * *

Дед как-то сник, потерялся после смерти своей Маруси.

«Странно, – думал потом, уже став взрослым, Иван. – Ссорились много, обижались друг на друга, раздражались, даже скандалили. Оба были с характером. А без бабки, своего вечного раздражителя, жить уже не мог».

Да и быт их совсем развалился – по углам комнаты клубилась пыль, скатерть на столе стала серой, пятнистой, мятой. Белые занавески, любовно крахмаленные бабкой, тоже посерели и словно поникли. Все покрылось не только пылью, не только пахло упадком и мертвым домом, все посерело, поблекло, поникло. Бабкина герань увяла, скукожилась, почернела, но выкинуть ее они не решались.

И вот тут активизировалась соседка, бабкина основная врагиня Нинка Сумалеева. Которая, что странно, по бабке, с которой постоянно скандалила, тосковала неподдельно и искренне, причитая громко, по-деревенски. Нинка принялась опекать «сиротинушек» – пекла огромные, тут же затвердевающие пироги, в здоровенной кастрюле варила жидкие щи, где жалко болтались сиротливые капустные листья и толстые бруски картошки. Крутила котлеты, которые вечно разваливались и «распадались на атомы», как шутил дед. А все потому, что хлеба в них было больше, чем мяса. Нинкина стряпня была несъедобной и некрасивой на вид, но обижать ее не хотелось – давились с дедом и «хлебными» котлетами, и жидкими щами. «Щи – хоть хрен полощи», – вздыхал дед, вспоминая, видимо, бабкино «консоме с гренками».

Однажды Иван услышал, как Нинка уговаривает деда жениться:

– Ты еще крепкий мужик, Степаныч! Желающие на тебя найдутся, не

сомневайся! Вот, например, у меня невеста имеется – в магазине со мной работает. Хорошая женщина, аккуратная, Шурой звать. Давай познакомлю?

Дед, конечно, отказался, и вскоре Нинка отстала.

Спустя почти год после смерти бабки дед с Ваней как будто впервые увидели свой запущенный сиротский быт и принялись наводить порядок – отмыли полы, окна, кое-как простирнули занавески. Дед взялся помыть бабкины чашки с синими розами, и в его крепких и сильных руках чашки треснули и развалились. Тонкие черепки звякнули в раковину. И дед заплакал.

Но и после их уборки мало что изменилось – комната по-прежнему имела жалкий, заброшенный вид.

– Значит, будем жить так, – оглядевшись, заключил дед.

Нинка ушла в очередной загул, заселилась к какому-то мужику в соседнем доме, и заботиться о них стало некому. Они, конечно, не пропали: пельмени, картошка, макароны с тушенкой. «Холостяки мы, Ванька», – грустно смеялся дед.

Он умер скоропостижно – инфаркт. Случилось это в автобусе по дороге на работу – слава богу, не дома, не на глазах у шестнадцатилетнего внука. Иван слышал, как об этом говорили соседи. В кармане дедова пиджака всегда лежал паспорт – по паспорту его опознали и позвонили домой. Иван проспал первый урок и был дома. Услышав страшную новость, он почему-то захохотал. На том конце трубки ошарашенно замолчали. Он положил трубку на рычаг, опустил на пол на корточки и вот тогда разревелся. Потом узнал: истерический хохот – нервная реакция, у подростков бывает.

Дед немного пережил свою вредную Марусю. Похоронили его шумно и странно, с какой-то дурацкой помпой, на чем настояли бывшие сослуживцы. На поминках народу собралась тьма, к отцу и Ивану подходили незнакомые люди, выражали соболезнования, искренне плакали и поминали деда только хорошими словами: «Гигант». Иван тот день вообще помнил плохо. Расплывались чужие лица, рябило в глазах, стол казался непомерно длинным. В столовой стройтреста пахло картофельным пюре и винегретом.

На похороны отец приехал один – Антонина носила ребенка. Он страшно нервничал и переживал за жену – ей было хорошо за тридцать, рожать страшновато. Он уехал прямо с поминок, распрощались они с Иваном у входа в столовку. Но с собой не позвал – да это и понятно. Не до Ивана им было сейчас. Да и сам он не поехал бы – это тоже понятно. На носу выпускные, а там и вступительные. И потом, у них своя жизнь, им не

до него. А у него, выходило, своя.

На дедовых похоронах, когда процессия медленно шла от могилы к выходу, к нему подошла незнакомая блондинка. Она отвела его в сторону и, приподнявшись на цыпочках – Иван уже вымахал под метр восемьдесят, – жарко зашептала, что у них с Петром был долгий, серьезный и красивый роман.

– Такой, как в книгах, понимаете?

Блондинка жадно вглядывалась в его глаза, словно искала поддержки. Ивана замутило от ее крепких, назойливых духов.

– Да, да! – скороговоркой, торопливо вещала она. – Именно долгий! Пятнадцать лет. Вы мне верите? – Она чуть отстранилась, и Иван увидел, что она совсем не молода, пожалуй, пенсионного возраста. Симпатичная? Наверное. Скорее она *была* симпатичной. Ну а сейчас немолодая женщина с плохо покрашенными волосами и расплывшейся, чересчур яркой для такого печального события красной помадой.

– Я его очень, очень любила, – потупив глаза, вздохнула она. И в третий раз добавила: – Очень!

– И что вы хотите от меня? – разозлившись, как можно строже спросил Иван. – Я-то при чем?

Теперь смутилась блондинка. И, видимо, от смущения и растерянности протянула ему руку.

– Кстати, я – Татьяна Сергеевна, – пробормотала она.

Он кивнул, но руки не пожал. Конечно, невежливо. Но зачем она к нему подошла? Зачем рассказала все это? Какую преследовала цель? Разворошить душу? Ему и так было очень плохо. Нет, не нужна ему эта Татьяна Сергеевна, и ее воспоминания не нужны. И вообще – дура какая-то! Надушилась, накрасилась, как на праздник.

А на поминках, устроенных бывшими сослуживцами в столовой стройтреста, где дед проработал всю жизнь, эта дура опять его настигла – вот ведь липучка! Он здорово набрался тогда – впервые в жизни – и, качаясь, вышел на воздух.

– Мне кажется, что вы мне не верите! – В ее глазах стояли слезы, и по щеке черной, неопрятной дорожкой растекалась тушь.

– А вам какая разница? – усмехнулся Иван. – Верю, не верю? Вам это важно? Да и зачем? Сейчас-то зачем?

Она хлопала мокрыми, слипшимися ресницами и продолжала бормотать:

– А Ялту, Ялту вы помните? Санаторий имени Куйбышева? Так вот, мы там были вместе! Вернее, он с вами, ну и я... Неужели не помните? Мы с

Петей вместе работали – я в бухгалтерии, а он... Ну да вы знаете. Понимаете, у нас действительно все было серьезно! И если честно, я была уверена, уверена, уверена, – она горько расплакалась, – что после смерти супруги он, конечно, сойдется со мной. Но он сказал, что не может из-за вас. Не может, и все. Что вы важнее. Ну и...

– Послушайте, женщина! – оборвал ее Иван. – Да отстаньте вы от меня! И без вас тошно! – выкрикнул он и, шатаясь, пошел прочь по улице. «К черту эти поминки! Все только жрут и пьют. Тоже мне, обычай! На черта все это надо? Про деда забыли минут через двадцать – парочка сильно преувеличенных в своей печали тостов за прекрасного советского человека, и началось. Да пошли вы все!»

Потом, успокоившись, вспомнил: да, точно. Была эта тетка тогда в санатории, была. На пляже сидели рядом – вроде бы только познакомились. И в столовке за одним столом. Конечно, узнать ее было сложно – столько лет позади. Тогдашняя их соседка по столику была молодой, пышной женщиной в буйных светлых кудряшках. Вспомнил и то, что ночами дед исчезал: пару раз, проснувшись по малой нужде, он видел его пустую кровать. Испугался, кстати. Но утром дед был на месте, и Иван просыпался от его храпа. Спросил. Дед смущенно ответил, что гулял по берегу:

– Ты же знаешь, у меня бессонница.

Иван поверил. Бессонница. Теперь все понятно. Ладно, дело житейское. Наверняка дед и сошелся с этой Татьяной Сергеевной потому, что с ней было попроще. Она была для него этой самой тюрей, простой и привычной едой. Хотя Иван чувствовал и обиду за бабу, и некое разочарование в деде – в абсолютном кумире и авторитете и главном человеке в его мальчишеской жизни.

«Ладно, забыли, – уговаривал он себя. – Забыли и дедову измену, и эту идиотку Татьяну Сергеевну». А потом понял, что именно так его огорчило – банальность ситуации. Если бы любовница деда оказалась более достойной, что ли? Или более интересной. А не обычной мещаночкой, бухгалтером кукольной внешности и уж совсем рядового ума.

Но за бабу стало обидно – женой она была хорошей и верной, ухаживала за дедом изо всех сил – супчики, кисельки, протертое мясо. Следила, чтобы не было обострения язвы. Рубашки и брюки наглаживала, чтоб ни одной складочки, ни одного залома. Пыхтела над утюгом, а гладить, между прочим, ненавидела.

Да, бабушка была хорошей женой – пусть ворчливой, вредной, любительницей посплетничать. «Злоязыкой», как говорил дед, осуждая ее за резкость суждений. «У тебя, Маруся, есть две краски – черная и белая.

Но преобладает черная!»

Но самое главное – бабка не была пошлой. Точнее, пошлости она не терпела. А вот эта Татьяна Сергеевна была именно пошлой. Во всем. Начиная от своей кукольной внешности и нелепой попытки выглядеть моложе и кончая своим поведением на похоронах.

Ох, дед! Банальным ты оказался. Таким, как все.

Дома продолжили поминать – на этом настояла Нинка-соседка, которая рыдала и приговаривала, что если бы дед женился, то «жил бы и жил». На домашних поминках они еще здорово выпили – до четырех утра сидели на кухне с Михалом Митрофанычем Приходько, хмурым молчуном-буровиком, который в квартире появлялся крайне редко. Закусывали Нинкиными поминальными блинами – тонкими, полупрозрачными, кружевными. Иван удивился таким кулинарным изыскам, вспомнив ее жесткие пироги и разваливающиеся котлеты.

А Нинка сказала сквозь слезы:

– Тетя Маруся научила, светлая память! – И с сожалением добавила: – Эх, слушала бы я твою бабку! А я, дура...

Болтали с Нинкой о том о сем, и вдруг Иван, сам того не ожидая, рассказал ей про Татьяну Сергеевну. Та не удивилась, хмыкнула:

– А ты что, Вань, не знал?

– Что не знал?

Нинка опрокинула очередную стопку.

– Да гулял наш Степаныч по-черному! Наивный ты, Ваня! Думаешь, одна эта Татьяна у него была? Ага, как же! Хорош был твой дед, ты уж мне поверь!

– А ты откуда знаешь? – хрипло спросил Иван.

– Да тетя Маруся рассказывала! Когда припирало.

– Бабка знала? – Он не поверил своим ушам. – Не может быть! Она бы не простила. И точно не стала бы терпеть!

– Много ты понимаешь! – с пренебрежением отмахнулась Нинка. – Соплив еще людей судить! Да, знала. И терпела. Потому что умная была. Понимала, что выгонит и не проживет без него. А ей еще тебя поднимать. Да и потом – если в молодости прощала, что уж в старости говорить? Да и ты к деду лип, и он к тебе. Что, разве не так? Как она могла тебя, сироту, еще и деда лишить? Да и любила она его, Ваня, – грустно добавила Нинка. – И он ее любил – не сомневайся! Просто у вас, у мужиков, любовь странная. И непонятная.

Обалдевший, Иван не находил слов.

– Да ладно! – усмехнулась Нинка. – Дело-то прошлое. Ни бабки твоей

– отмучилась тетя Маруся, – ни Степаныча. Что вспоминать? Жизнь она, Ваня... ох, сложная штука!

Ему стало смешно: философствующая Нинка – куда уж больше?

Снова выпили.

– Сначала тетя Маруся его не любила, – тихо начала Нинка. – Она мне рассказывала. – А дальше, конечно, привыкла – родной человек. Но вышла за него от отчаяния – не ее он был мужчина, не ее. А потом у нее большая любовь была – допрעדь деда. Хорошенький такой мальчик был, юнкер, кажется? Или юнкор? Хорошенький, – нараспев повторила она. – Тетя Маруся мне фотку показывала – тоненький такой, плечики острые, талия тоненькая, девчачья, ремешком перетянута. А глаза грустные! И взгляд недетский, серьезный. Хотя усики уже пробились. Красивый такой пацанчик. – Нинка помолчала. – Убили его. В двадцатом, кажется. На войне? – с сомнением уточнила она. – Вот не помню. Кажется, да, на войне. А Маруся одна, с теткой хворой. Сама болела, еле ноги таскала. Говорит, что холеры боялась, инфлюэнцы, туберкулеза, вшей – мыла-то не было. А чем питались? Мороженые картошка с капустой, и то в лучшем случае. А тут Степаныч нарисовался – и собой хорош, и представитель, так сказать, правящего класса. Опять же, защита. Покая-то девке не было, с ее-то происхождением. Влюбился Степаныч, стал пайки свои ей носить. Ну и... В общем, сам понимаешь. Так все и вышло. А вот он Марусю любил! С ума сходил, ревновал – чуял ведь. Вы, мужики, хоть сердцем и тупые и черствые, а все равно чувствуете! Короче, и гульки его, деда твоего, были от этого. Он ее всю жизнь ревновал к тому пацанчику, с усиками. Сильно ревновал, бесился прям. Тетя Маруся сама говорила. Вот и не обижалась, терпела. Знала – никуда не уйдет, потому что любит, несмотря на баб своих дурацких. А потом сын и ты! А ты для него был свет в окне. Да и сама она потом... полюбила. Говорила, что жить без него, дурака, не сможет. А любовь это была или привычка – даже она не понимала. Наверное, все вместе.

Огорошенный, Иван молчал. Но святой образ деда понемногу расплывался и таял, как медленно, но неумолимо тает утренний туман. И потом появились обида и злость на бабу – приспособливалась, значит! Выживала! А следом прибавились обида на деда и злость на него – за что они так друг с другом? Почему так глупо распорядились своей жизнью? На что надеялись, на что рассчитывали? Стерпится – слюбится? Поглядим – посмотрим? Эх, дед! И ты, бабу! Жалко обоих. Дураки вы, ей-богу! Ладно бабу: спасалась, но не любила. Наверное, поэтому дед ее всегда раздражал. Конечно же, он проигрывал стройному кадету с хорошими

манерами. А дед? Любил, но изменял. Утверждался?

Многого Иван тогда не понимал. А позже, когда понял, осталась одна только жалость к обоим. Ни обиды, ни злости. Но пришло это только тогда, когда самого камнями засыпало по макушку. Когда было трудно не то что жить – трудно было дышать. Тогда их понял, тогда простил.

Бабка была верующей. Ходила в церковь, соблюдала посты. Дед – разумеется, нет. Да это и представить-то было невозможно. Но и безбожником дед не был, позднее Иван это понял. Вот, например, еще любимые дедовы присказки: «с божьей помощью» и «на все божья воля». И все-таки дед на бога не уповал – считал, что каждый человек сам творец своего счастья и своей судьбы.

Бабка мучилась страшно, молила об избавлении от мук. Говорят, что тяжело умирают только грешники. А какие у бабки грехи? Так, бытовые грешочки, по мелочи. А уходила тяжело. А дед умер легко, в одну минуту. Смерть праведника. Выходит, его грехи ему уже здесь, на земле, были отпущены? Да кто это поймет...

* * *

Так Иван остался совершенно один. Один на всем белом свете.

Коротали время с Нинкой – она и подкармливала. А он готовился – серьезно, упорно, даже рьяно. Боялся, что не поступит. Тогда – армия. А вот туда почему-то совсем не хотелось, даже перед самим собой было неловко.

Вступительные в Строгановку он сдал неожиданно легко – все оказалось так просто, что он удивился. Но, как оказалось, одного балла не добрал. Вот это был удар. Сел на скамейке в садике, закурил и... замер. Что делать дальше?

Вечером позвонил Велижанский. Отношения у них были натянутые: в десятом классе поссорились из-за ерунды, долго не разговаривали, потом вроде наладилось, но осадок остался. Вот и сейчас Ленька болтал без остановки, морочил голову ерундой, а Иван молчал. Наконец Ленька понял, что что-то не так.

– Ванька, а ты чего такой тухлый? Что-то стряслось?

– Стряслось, – мертвым голосом ответил Иван, – не прошел я, Ленька. Балл не добрал.

– Ничего себе, – пробормотал ошарашенный Велижанский, – ну как же так, брат? Ты ж говорил...

– Какая разница, что я говорил? – резко прервал друга Иван. – Ладно, хорош. Так – значит, так. Пойду отслужу, а там посмотрим! Поглядим – посмотрим, типа. – И он нервно рассмеялся.

– Не, – ответил Ленька. – Так не пойдет! С какого перепуга в армию? Не, дружище! Я папана подключу. Для него это – сам знаешь. Как плюнуть. Сделает звоночек и...

– Не смей, я тебе запрещаю! Только попробуй, слышишь?

– Слышу, – спокойно ответил Ленька. – Я чё, глухой? Ладно, не кипятись! Не хочешь – не надо, хозяин – барин. Какие мы гордые, какие принципиальные! Ну и топай тогда в свою армию! Раз такой идиот!

Иван бросил трубку первым.

Спустя десять дней ему позвонили и сухо сообщили, что он зачислен.

– Как? – растерялся он. – У меня же балл?

– Да все очень просто – один из поступивших документы забрал. Вы оказались первым претендентом на освободившееся место.

– Все просто, – повторил он и медленно опустил трубку на рычаг.

В голове было пусто и гулко. Вдруг это Ленька? Думать об этом почему-то не хотелось. Стыдно, если Ленькин папаша за него просил. Очень неловко и стыдно. А если нет? Если и вправду кто-то отказался и забрал документы? Ну изменились у человека планы, бывает! Хотелось думать, что все именно так. Поэтому Леньке он и не позвонил – вдруг Велижанский подтвердит его худшие опасения. А после этого заржет и скажет, что с него, с Ивана, кабак. Вот тогда будет совсем тухло. Да, правильно, звонить не надо. Хотя, конечно... некрасиво, что говорить, делать вид, что он сам. Но правду он знать не хотел. Пусть лучше Ленька считает его неблагодарным хамлом.

К двадцать восьмому вывесили списки групп. Слава богу, с Ленькой он оказался в разных. Нет, конечно же, встреч им не избежать, это понятно. Но все-таки так будет проще.

Из деканата Ивану позвонили двадцатого, когда до начала занятий оставалось еще десять дней. Сначала подумывал съездить к отцу и даже позвонил ему в часть. Тот подошел, запыхавшись, слышно было отвратительно, но как только он понял, о чем разговор, сразу смутился, сник, и стало понятно, что ему очень неловко. Нет, он не отказал:

– Конечно, Ваня! Мы будем рады!

Но тут же добавил, что Мишка, маленький его сынок, мальчишка беспокойный и шумный, так что покоя нет и не предвидится, уж извини. Да и стены в доме картонные. Ну и Тоня замоталась совсем, с ног валится. Все стало понятно. Сначала Иван обиделся, а потом понял: отец его просто

предупредил – спокойного отдыха не получится, рыбалок и поездок на катере тоже, Антонине ухаживать за ним сложно, и это тоже понятно.

В общем, обиду погасил и решил, что будет просто отдыхать – ходить в кино, ездить купаться в Серебряный бор да просто отсыпаться!

Эти десять дней и вправду оказались прекрасными – москвичи разъехались, город притих, и стало меньше не только людей, но и машин. Да и погода стояла отличная – днем было по-летнему тепло, а ночью, под утро, проливался короткий, но бурный дождь, и к рассвету город был свеж, чист и умыт.

Понемногу желтели и краснели деревья, но все же стояло еще крепкое лето. Иван шатался по бульварам, которые очень любил, – Страстной, Гоголевский, Никитский и Сретенский, самый любимый. Садился на лавочку, открывал книгу или просто глядел по сторонам. Наблюдать за прохожими было интересно. Иногда доставал блокнот и делал маленькие шаржированные зарисовки. Дед с лукавым и плутовским взглядом в панаме и чесучовом светлом костюме, с длинной и тощей бородкой, похожий на Старика Хоттабыча из одноименного фильма. Молодая мамочка с прикушенной от волнения губой, нервно трясущая коляску и поглядывающая на часы, словно невеста, ожидающая у загса опаздывающего жениха. Задумчивая девочка в голубом сарафане, с очень серьезным видом и сурово сведенными бровями поедающая третью порцию эскимо.

У метро покупал мороженое и пирожки, иногда теплые калачи или сайки. Он шатался по городу и чувствовал себя таким счастливым, что ему становилось неловко: ведь совсем недавно он похоронил деда! Любимого деда, самого дорогого ему человека! А оказалось, что жизнь продолжается! И к тому же она так хороша!

Теперь за него беспокоился один человек – Нинка, соседка. Ругалась, ворчала, если он приходил домой поздно. Грохала перед ним тарелкой с разогретыми и подгоревшими макаронами или разогретой же картошкой. Если он говорил, что сыт, обижалась, хлопала дверью и уходила к себе.

Иван обреченно шел к ней и извинялся. Она плакала и приговаривала, что у нее, кроме него, никого нет.

– Ты да я, – всхлипывала она, – да мы с тобой. Одни на всем белом свете. Кто еще о тебе подумает, Ваня? Кто позаботится?

Конечно, Нинкина опека его раздражала и даже возмущала. Но он жалел ее, понимая, что у нее и вправду никого нет, а заботиться о ком-то женщине необходимо.

Тогда, кстати, впервые до него дошло, что Нинка ждет приезда

Митрофаныча. И понял, что влюблена она в него давно, а вот он...

– Не реагирует, – грустно всхлипнула Нинка, раскрывая Ивану сердечную свою тайну. – Не знаешь, когда явится?

Иван не знал – Митрофаныч всегда приезжал неожиданно.

Тридцатого августа, перед самыми занятиями, в парке «Сокольники» он познакомился с Катей.

Она сидела на скамейке, ела мороженое и листала журнал. Он сел рядом, мельком оглядел ее. Симпатичная: черные, почти смоляные волосы подобраны голубым бархатным обручем, который очень шел к ее светлым глазам. Красивые пухлые губы, густые темные ресницы. Россыпь веснушек на смешном вздернутом носу. Очень хорошенькая! На Кате был светлый сарафан с очень тонкими бретельками, которые все время сползали, а она раздраженно подтягивала их кверху. Красные босоножки – открытые, из трех тоненьких ремешочков, откуда торчали маленькие детские пальцы. И было все это очень трогательно – и веснушки ее, и острые плечи, и детские пальчики с бледно-розовыми ногтями. Она коротко взглянула на него, хмыкнула и отвернулась. Но Иван успел заметить, что она покраснела.

Знакомиться на улице он не умел – опыта не было. Смущался страшно, но все же решился. Забормотал какую-то чушь про погоду, поинтересовался журналом – оказалась «Юность», что уже неплохо. Она отвечала на вопросы легко, но было видно, что и она смущена.

Иван пригласил Катю в кино. Она согласилась, но сказала, что надо позвонить родителям. У метро в ряд стояли автоматы. Они бегали от одного к другому, но ни один не работал. Кое-как дозвонились, и Иван слышал, как она торопливо объясняла, даже оправдывалась, что идет с подругой в кино.

– Да, сразу после кино домой, – грустно повторила за кем-то она.

Иван понял, что вечерняя прогулка не состоится, и в кино ему расхотелось.

– А давай просто погуляем, – предложил он.

– А как же кино? Ты говорил, что отличный фильм, – растерялась Катя, видимо, не привыкшая врать.

– Кино от нас не убежит, – убежденно ответил он. – Ну сходим завтра! Кто нам мешает?

При словах «сходим завтра» она окончательно смутилась и густо покраснела, поняв, что расставаться с ней он не собирается.

Молча кивнула. Вернулись в те же «Сокольники». В глубине аллея было тенисто и прохладно. Иван рассказывал ей про вступительные, Катя слушала молча. На его вопрос, а что ты, тихо ответила, что учится в

медучилище на акушерку.

Он удивился:

– А институт? Не потянула?

Она снова покраснела и отвела глаза.

– А я и не пробовала. Я хотела в медучилище. А там посмотрим, – загадочно добавила она.

Про своих Иван сказал коротко, скупое: недавно похоронил деда, отец в гарнизоне, мать в другом городе. Да, разошлись.

– Так ты совсем один? – Катя удивленно распахнула глаза, в которых стоял не только испуг, но и жалость.

– Один, – как можно бодрее ответил он, – так уж сложилось.

Она осторожно взяла его за руку. Он вздрогнул от неожиданности и от нежности. И еще мелькнула мысль, что это его девочка. Это сразу стало понятно, после пары часов их знакомства, после короткой прогулки, после того, как он посмотрел ей в глаза.

Он проводил ее до дому – жила она на Башиловской, в старом хорошем доме, окнами в зеленый двор. Долго стояли у подъезда, и он видел, что она нервничает и тревожно поглядывает на окна.

Наконец распрощались и договорились созвониться. Через день ему предстояло начать новую жизнь в институте, а ей – отправиться в училище. И тогда им наивно казалось, что через день, первого сентября, они окончательно станут взрослыми людьми, решающими свою судьбу самостоятельно, по своему разумению.

Засыпая перед рассветом, Иван чувствовал себя самым счастливым на свете. Ему снова было страшно неловко – с дедовых похорон не прошло и четырех месяцев, а он так неприлично, так отчаянно счастлив. Но отказаться от счастья он бы не смог никогда.

Первое сентября прошло сумбурно и шумно – новые знакомства, новые люди. Новая жизнь. Но он смотрел на часы – когда же он услышит ее голос? Выскочив на перемене, бросился к автомату. Трубку взяла не Катя – ответил сухой, надтреснутый голос.

– Катю? А Кати нет! Она на учебе, молодой человек!

На вопрос, а когда она будет дома, ответ получил короткий и сухой:

– Мне сие неизвестно.

Сказано это было с недоброй иронией, даже с пренебрежением. По крайней мере, доброжелательности и участия в голосе не было. Или ему показалось?

«Наверное, бабка, – подумал он. – Голос-то старческий. Да и манеры: «сие неизвестно». Непростая там, видимо, бабка!»

Рванул к Катиному дому: «Покараую! А если что, позвоню». Долго топтался во дворе, но Катя не появилась. Сообразил, что пропустил ее, и бросился к автомату. Она взяла трубку и удивилась:

– Ты здесь? А зачем?

Это «зачем» резануло.

Говорила шепотом:

– Выйти не могу, очень занята, все дома. Извини! Давай завтра, а? После учебы. Ты можешь подъехать к училищу?

Он, конечно, согласился. Но разочарование и обиду скрыть не смог: как же так? Он, дурак, торчал здесь весь вечер, весь битый день, а она не может выйти хотя бы на десять минут? Странно, ей-богу. Ну ладно, до завтра он доживет. А там поглядим – посмотрим. В конце концов, это он – вольная птица, никто за ним не стоит, не перед кем оправдываться и отчитываться. А у нее семья. И, видимо, куча родственников. Взять хотя бы эту старуху с манерами, сразу понятно – та еще штучка.

Так началась их любовь. Они почти не расставались – максимум на день или два. И в эти два он сходил с ума от тоски по ней. Жить без нее стало невозможно, невыносимо.

* * *

К Новому году объявился Митрофаныч, как всегда без предупреждения. Поздно вечером скрипнула входная дверь, и на пороге нарисовался вечно отсутствующий сосед в полевой робе и штанах цвета хаки, высоких, по колено, резиновых сапогах и, конечно же, с бородой по колено, как шутила Нинка.

Она выскочила из комнаты в чем была – в стареньком ветхом штапельном халатике. Увидев соседа, ойкнула и проскользнула к себе. А минут через десять из комнаты не вышла – выплыла важная Нинка, с высоким начесом, с блестящей заколкой в волосах, полыхающей фальшивыми бриллиантами, с густыми синими тенями на припухлых веках и с яркой малиновой помадой. Ну и конечно, в парадном шелковом платье и на каблуках.

– Зря ты так, – шепнул ей Иван, – слишком уж как-то.

Та махнула рукой.

Сели на кухне, Нинка хлопотала, со стуком и матюгами гремела тарелками, сокрушалась, что в доме ничего нет, мимоходом опраивала прическу и платье, пару раз сбегала к себе «освежиться», и по квартире

поплыл удушливый запах ее духов.

Митрофаныч фыркал и рычал в ванной.

Угощение было нехитрым, но оголодавший сосед ел жадно и громко причмокивал. Выпили и поллитровку – конечно же, из Нинкиных заначек.

Митрофаныч вздыхал по поводу смерти деда, сочувствовал Ивану и рассказывал про последнюю экспедицию.

Нинка вдруг оживилась и спросила, нельзя ли ее в следующий раз пристроить поварихой.

Сосед удивился:

– Ты – и в тайгу?

Нинка заверила, что да, мечтала всю жизнь: воздух, природа... Да все не складывалось.

Иван усмехался:

– Ага, природа! А вместе с природой тучи гнуса, мошки и комары.

На следующий день сосед отправился в ЖЭК отмечаться и вернулся страшно возбужденный, с горящими глазами и трясущимися руками. Вызвал всех на кухню и объявил, что в жилищной конторе ему сообщили, что дом их будут ломать. Когда? Да в ближайшее время! Так что готовьтесь к переезду, будущие новоселы! Получите отдельные квартиры. Вот вам подарок от советского государства.

Все сидели обескураженные, растерянные: как так? Да еще так скоро. Нет, конечно, отдельные квартиры все ждали, точнее – надеялись их получить. Слухи ходили давно – так давно, что верилось в это с трудом.

Как-только проскакивал очередной слух, скорее слухок, короткий и невнятный, как отдаленный пароходный гудок, все оживлялись и принимались горячо это дело обсуждать. Но потом все стихало, от слухов не оставалось и следа, и все понемногу забывали волнующую тему – жизнь продолжала течь по привычному руслу.

Конечно, молодые не скрывали, что хотят поскорее расстаться с соседями. А вот старики не особенно радовались переезду. На Арбате прошла вся их жизнь, все здесь понятно, знакомо и близко – булочная аккуратно после угловой аптеки, «Диета», знаменитый магазин «Консервы», где Иван любил пить томатный сок. Дед, кстати, всегда пил яблочный. Все знали друг друга – и покупатели, и продавцы. И знали все друг про друга. Арбатские жители считали себя привилегированным классом, московской аристократией – да, собственно, отчасти так и было. В семидесятые еще были живы арбатские старушки, точнее – дамы, старушками называть их было неловко. Аккуратно одетые, в габардиновых плащах и слегка потертых велюровых или фетровых шляпках, непременно в перчатках:

зимой и осенью в теплых, а летом в полотняных или кружевных, пожелтевших и аккуратно подштопанных. На сморщенной шее – легкий платочек. Передвигались они осторожно, с опаской обходя вздыбившийся, растрескавшийся асфальт или глубокие лужи. В руках обычно были авоськи, где болтались бутылка кефира с крышечкой из зеленой фольги и батон белого хлеба. Иногда пара апельсинов или три яблока – как повезет. После них оставался сладкий и назойливый запах «Красной Москвы». Старушки сидели в сквере, подставляя солнцу сморщенные, дряблые шеи, артритные, скрюченные руки и потемневшие от старости лица. Часто дремали. Кормили свежей французской булкой голубей, беседовали друг с другом. Но никогда – Иван был в этом уверен – не жаловались.

Бабка на лавочки в сквере никогда не присаживалась и этих старушек презирала, говорила о них с долей пренебрежения: «Бездельницы! Какие у них дела! Они же бессемейные! Это у меня стирка, готовка, то достань, это. А у этих? Ни забот, ни хлопот». Странно – одиноких старушек она не жалела, а вот выпивоху Нинку...

Да, старушки покидать Арбат не спешили и более того – боялись до дрожи. А молодежь ликовала – неужели? Неужели они дождутся отдельных квартир?

Улица бурлила, пересказывая неподтвержденные слухи и сплетни – какой дом сломают первым? Где дадут новое жилье? Конечно, в новостройках, а где же еще? А это означало, что на выселках, на краю Москвы, где гуляют дующие с Кольцевой стылые ветры, а зимой наметаются, вздыбливаются, как мамонты, огромные, в человеческий рост, сугробы. Короче, не дай бог, как говорится.

Иван был растерян – нет, с одной стороны, конечно же, здорово! Сам себе хозяин, можно кого угодно позвать, пригласить. Не нужно убирать по графику места общего пользования, не надо слушать Нинкины стенания и рассказы о большой любви к Митрофанычу, терпеть ее назойливую заботу. Но все-таки щемило. В этой квартире прошло его детство, здесь жили бабка и дед, здесь он пошел в сад и в школу. Да и вообще, здесь вся его жизнь, он знает здесь все, каждый выступ на домах, каждую трещинку, каждую кочку и каждое дерево.

Рыдала, как ни странно, и Нинка, чем, надо сказать, удивила Ивана. Она всегда говорила, что личная жизнь ее не устроилась только из-за соседей – глупость, конечно. Но вправду, бабка не давала ей привести в дом очередного сожителя: сначала распишись, как порядочная, а потом уж законного и приводи. Да, бабка была той еще штучкой.

Сломали их, как ни странно, быстро – к майским праздникам вручили

смотровые: езжайте, любуйтесь!

Вариантов было немного – «Бабушкинская» и «Беляево». Иван съездил и туда и туда и выбрал «Беляево» – до центра оказалось на десять минут ближе. Квартиру открывала и показывала работница местного ЖЭКа.

Иван осторожно вошел. Крошечная, метр на метр, прихожая, из нее две двери – на кухню и в комнату. Комната была вполне приличной, семнадцатиметровой. Правда, после арбатской, с высокими потолками, ему показалось, что потолок вот-вот коснется головы – только вытяни шею и привстань на носки. Что так и было – с его-то ростом. А кухня была – восемь метров, с окном на строящийся детсад. Подумал, что будет шумно – третий этаж. Ну и ладно – в конце концов, он не старик, что ему шум?

Поскрипывала новенькая, блестящая и еще пахнувшая лаком паркетная доска, белели ванна и раковина, сверкали никелем краны, и в целом все было отлично.

Переехал Иван через пару недель – вещей немного, но все же. С Арбата забрал все – и бабкину этажерку, и шифоньер, и круглый обеденный стол, и венские стулья. И лампу, ту, что висела над столом: белый матовый «молочный» центральный плафон и три маленьких синих по кругу.

Разбирая старые фотографии, обнаружил длинный конверт. Заглянул – там лежала одна фотография, твердая, коричнево-бежевая сепия с надписью вязью в углу «Алексей Кротов, 1919 год, ателье Напельбаума». На него смотрел молодой серьезный юнкер с узенькой полоской усиков над пухлой губой. Понял сразу – тот самый несчастный парнишка, бабкина первая любовь.

Долго вертел в руке фотографию, потом решительно убрал ее обратно в конверт – кто ему этот Алексей Кротов? Никто. Зачем ему его фотография? Низачем. Чужой, давно исчезнувший человек. Но выбросить не осмелился – очередная человеческая жизнь. Сунул конверт в семейный альбом и почему-то подумал, что этот Алексей Кротов, наверное, его ровесник. А как звала его бабка? Тогда – не бабка, конечно, а девочка Маруся с удивленными и распахнутыми глазами. Наверное, Лешенькой?

* * *

С переездом помогали одноклассники – вещи закидывали в грузовик с открытым верхом с шутками и прибаутками. Так же и ехали – с песнями и громким смехом. Занесли вещи в квартиру и обалдели: «Ну Ванька! Ты

теперь жених хоть куда! Будет куда девок водить, что уж тут! А ключики дашь? Ну, если что?» Иван, конечно, пообещал. И понял, что ребята ему завидуют – как же, обладатель отдельной квартиры. Никто об этом и мечтать не мог. А они все с родителями маются – то не так, это не эдак.

«Дураки, – подумал он, – какие же вы дураки! Если б вы знали, что такое, когда никого. Никого не ждешь вечером, не с кем попить чаю с утра. Не с кем поговорить. Нашли чему позавидовать! Тому, что человек одинок?»

В первую ночь спал плохо – оно и понятно, новое место. Все было чужим, незнакомым, даже по-другому пахло. Под утро заснул со своим медведем, старым, потертым медведиком Димкой, из самого-самого детства. Стыдно, что и говорить, здоровый мужик. Хорошо, никто не видит. Но прижал к себе Димку, унюхал родимый запах Староконюшенного и успокоился. Уснул.

Конечно, потом кое-как прибрался, расставил мебель, и комната понемногу перестала быть чужой. Нет, родной пока не стала, но он стал к ней привыкать.

Нинка и Митрофаныч, кстати, согласились на «Бабушкинскую»: у соседа в Медведкове жила родная сестра, а Нинка – вот дура! – поперлась за ним. Объяснение было такое:

– Митрофаныч обещал меня не бросать. Ну и буду ему подсоблять – супчику наварю и снесу, котлеток сварганю.

Иван рассмеялся:

– Ага, все хочешь охомутать! На Арбате не вышло – здесь решила попробовать?

– Дурак ты, – кокетливо отозвалась Нинка. – На кой черт мне сдался твой геолог, старый он хрен? Раньше был нужен, а счас... Нет, Ваня. Я на покой хочу. Продышаться, глотнуть свежего воздуха. На природе пожить – там зелено так! Да и у меня первый этаж – под окном липы цветут! Запах, Вань, лучше духов. Без людей, в тишине хочу. Ну ты понял! Оглянуться хочу по сторонам – может, чего хорошего и увижу? А что я видела в жизни? Да дерьмо одно, сам знаешь. А к соседу я клинья не подбиваю – знаю, что бесполезно. Бирюк он, закоренелый холостяк. Семья ему не нужна. К нормальным людям хочу. Может, возьмет меня в экспедицию? Упрощу? Вот и обхаживаю я соседа – не как мужика, а как начальника.

«Ага, как же, – подумал Иван, – так я тебе и поверил!»

И еще – как оказалось, Нинка Сумалеева, неряха, поддавуха и простая хорошая русская баба, оказалась единственным близким ему человеком.

Нет, не так – у него была Катя! Конечно, Катя. Его Катя. Его любимая. Но с ней все было как-то непонятно и странно.

* * *

В гости Катя Ивана не приглашала. Почему? Странно. Все-таки там ее родители, семья. Ведь Катя сочувствовала ему, даже жалела. И он отчего-то боялся ее пригласить к себе. Казалось бы, своя квартира, а робел. Понимал, что, окажись они наедине, скорее всего, что-то случится.

А может, боялся себя?

Они все так же шатались по улицам, ходили в кино, целовались в подъездах и на скамейках в скверах. Все было хорошо. Вроде бы хорошо. Но Иван чувствовал: что-то не так, Катя что-то скрывает. И скрывает что-то важное, очень важное. И очень секретное.

Иногда она замыкалась, уходила в себя, и так не болтливая, становилась еще более молчаливой и печальной. Нет, она по-прежнему ценила юмор и понимала шутку, любила анекдоты, быстро реагировала на смешное или необычное, и сама была остра на язык. Но почему она часто грустила? Она не рассказывала ему о себе, о своем детстве. Или говорила об этом скупно и коротко: «А что рассказывать? У меня все обычно: мама, папа, бабуля. Двухкомнатная квартира. Родители – инженеры, самые обычные, рядовые. И все у нас обычно – как у всех».

А Ивану было про нее интересно все. Он мечтал посмотреть ее детские фотографии – какой она была? Наверное, забавной: косички, бантики, веснушки. Какая у нее комната? Что в ней? Какие книги на полке? Что висит на стене? Какие пластинки лежат у проигрывателя?

Однажды решился и пригласил Катю к себе. И, как ни странно, согласилась она тут же, как будто ждала.

Было воскресенье, поздний ноябрь, за окном без остановки лил дождь, но в квартире было тепло и уютно. Он сбегал в булочную, купил торт и конфеты. Катя пришла вовремя, она вообще не любила опаздывать. Прошлась по квартире, отметила, что у него очень уютно и этот уют создают старые вещи – этажерка, деревянный шифоньер, люстра с молочным плафоном, кружевная скатерть на столе и, конечно, книги.

Иван нервничал, суетился, бегал из комнаты в кухню, заваривал чай и заглядывал ей в глаза – все ли нормально? Не жалеет о том, что пришла?

Долго пили чай, и дождь за окном совсем обезумел – набирал силу, ожесточенно колотил по жестяному подоконнику и заканчиваться не

собирался. Потом совсем потемнело, небо, казалось, опустилось почти до земли, загрохотал гром и засверкали зарницы. Сразу резко похолодало, и он прикрыл форточку. Потом подошел к ней и осторожно, но крепко обнял ее. Она не вырвалась, прижалась сильнее, уткнувшись носом в его подмышку.

Он осторожно поднял ее со стула и повел в комнату. Она села на кровать и закрыла глаза. Дрожащими, холодными пальцами, сгорая от страха и ужаса, он медленно расстегивал пуговицы на ее платье. Она чуть качнулась, чуть отпрянула, но глаз не открыла. Только еле слышно прошептала:

– Не надо, Ваня.

Ему показалось, что это прозвучало не утверждением, а скорее сомнением, и он, собрав последние силы, хрипло, но уверенно ответил:

– Надо. Не бойся. Ничего не бойся, слышишь? Все будет хорошо.

Она вздрогнула, чуть скривилась, но все же кивнула, смирившись. Сам он был не очень уверен, что будет хорошо. Но попытался отбросить сомнения и снял рубаху.

Катя лежала на спине и глаз не открывала. Он осторожно, боясь ее коснуться, лег рядом. Но даже так, на расстоянии в десять, нет, в пять сантиметров он чувствовал, как она дрожит. Как дрожит он. Как дрожат они оба.

После всего, что произошло стремительно, с отчаянной торопливостью, подстегиваемой явными, плохо скрываемыми страхом, отчаянием и стыдом за собственную неумелость, он лежал молча, боясь пошевелиться, неотрывно глядя в потолок. Катя лежала отвернувшись к стене и тоже молчала.

Он чувствовал, что это невыносимое молчание следует прервать, и сделать это должен он и только он, потому что мужчина.

Он провел рукой по ее влажной спине, дотронулся до тонкой, незащитной шеи, и она затрепетала, как птица, пойманная в силки, и резко отодвинулась от него, дернулась от его прикосновения, почти вжалась в стенку и вытянулась в струну.

Он резко встал с кровати, натянул трусы и прошлепал на кухню – невыносимо хотелось пить. Пил он долго, и возвращаться в комнату ему совсем не хотелось. А может быть, было просто неловко.

Когда он вошел в комнату, Катя уже была одета и, нагнувшись, застегивала молнию на высоком ботинке.

– Уходишь? – дрогнувшим голосом спросил он.

Она подняла голову, посмотрела на него каким-то новым, очень взрослым, женским взглядом и нехорошо усмехнулась.

– Ага. Прости, тороплюсь.

Она прошла в прихожую, открыла входную дверь и, оглянувшись, небрежно махнула ему:

– Ну, пока?

Он рванулся к ней, прижал к себе сильно, почти смял, чувствуя, как напряглись ее мышцы, закаменела спина и откинулась голова.

– Куда ты, куда? – торопливо бормотал Иван. – Объясни, что случилось? Чем я обидел тебя? Прости, честно – не понимаю! Нет, ты объясни! Это – нормально, мы же с тобой близкие люди! И я так люблю тебя, слышишь?

Не без усилий Катя выпросталась из его объятий, отстранилась как можно дальше, насколько позволили размеры прихожей, и снова внимательно, словно оценивая, посмотрела на него.

– Ничего не случилось, Ваня, – устало сказала она. – Но... Не нужно все это было... Ну, делать... Совсем ни к чему, понимаешь?

– Мы поторопились? – Он обрадовался ее объяснению. – Ты считаешь, что мы поторопились? Да какая разница – сегодня, завтра? Через два месяца? Я же люблю тебя! А ты... Ты, надеюсь, тоже. О чем жалеть, Кать? Это же нормальный ход событий, обычная история. Разве не так?

Она молчала, разглядывая на обоях невнятные, размытые, дурацкие желтые цветы. Наконец отозвалась:

– Угу. Нормальный ход событий, ты прав. Обычная история – что тут такого? Только не надо было, понимаешь? Никому – ни мне, ни тебе!

Катя резко дернула дверь, которую он придерживал, и выскочила на лестничную площадку. Иван стоял в полной растерянности, в ступоре, не в силах сдвинуться с места. Голые ноги озябли и словно примерзли к полу. В голове мелькнуло – надо броситься вслед за ней, надо догнать, снова обнять, зацеловать, нашептать ей кучу всего, самых значимых, самых искренних и самых заветных и нежных слов, чтобы она не сомневалась. В нем не сомневалась, в себе, чтобы не корила себя и не мучилась.

Но уже давно хлопнула дверь подъезда, давно растаяли ее торопливые и легкие шаги, пропал стук ее каблуков, а он все стоял, словно приклеенный.

Ночью он маялся, мучительно копался в себе, искал причины ее обиды, выуживал свою вину, обижался на нее, мучился, страдал, хотел набрать ее номер, но, глядя на будильник, стоящий на тумбочке и тикавший невыносимо равномерно и громко, понимал, что звонить невозможно – поздно. В доме родители и сварливая бабка.

В три часа ночи налил в стакан португальского портвейна,

оставшегося после бурных приятельских посиделок, выпил одним махом стакан, закашлялся, сморщился – сладко, противно, просто отвратительно. Но минут через пять стало полегче, чуть-чуть отпустило, и он, упав на кровать, закрыл глаза. Ладно, поживем – увидим! Как говаривал дед, поглядим – посмотрим. Но на душе было по-прежнему муторно.

Он позвонил ей на следующий день. Трубку взяла скрипучая старуха.

Как обычно, допрос:

– Кати нет. А кто ее спрашивает и по какому поводу?

Он зло швырнул трубку, ничего не сказав. Пусть думают что хотят! Ну, в конце концов, это невыносимо. Не он хам – она, эта бабка! Разве позволительно устраивать допрос с пристрастием? Катя взрослый человек, он тоже! О каком воспитании, о какой культуре здесь идет речь?

День подождал – звонка от нее не было. Ну и не выдержал, конечно, – на завтра отправился к училищу, на Ленинский, караулить. Топтался в садике перед училищем, прождал недолго, около получаса, и наконец увидел Катю. Она спускалась по ступенькам, жмурясь от неожиданного ноябрьского солнца, прикрывая ладонью глаза. На ней были светлое пальто с широким кушаком и легкий синий шарф. Зауженное в талии пальто подчеркивало ее хрупкость и тонкую талию, и синий шарф ей очень шел, к темным волосам и голубым глазам.

– Катя! Я здесь! – выкрикнул он и смутился, закашлялся. Крик получился тонким, петушиным, смешным и нелепым.

Она увидела его, нахмурилась и застыла на месте, раздумывая, что ей делать. Оглянулась по сторонам, словно ища ответ, и наконец медленно и неуверенно пошла в его сторону.

Иван чувствовал, как страшно он по ней соскучился, как рад ее видеть. Не просто рад – счастлив.

Катя выглядела усталой и бледной, и он с радостью подумал, что ей, наверное, было тоже нелегко и тоскливо.

– Пошли? – спросила она.

Он кивнул. Шли молча, через несколько минут он осмелился взять ее за руку – холодную и какую-то безжизненную. Руку она не выдернула, только вздрогнула и чуть сжала его ладонь.

Дошли до Нескучного, свернули в поредевший лес, и тут же дыхнуло холодом и близкой зимой. Они остановились под почти облетевшей липой, и Иван наконец обнял и поцеловал Катю. Он заговорил первый, о какой-то ерунде, пустяках: о суровых прогнозах синоптиков, о том, что с осенью пора распрощаться и что впереди похолодание и морозы.

– Как-то не верится, да? – спросил он, чтобы заставить Катю

заговорить.

Она молча кивнула.

Потом он затараторил про институт, нес какую-то чушь про институтскую столовую с невозможной едой, про смешного натурщика Саньку, спившегося дипломата, – и такое бывает! Нес что-то еще, а она все молчала. Наконец Иван устал, выдохся, внимательно и тревожно посмотрев на Катю, спросил:

– Что с тобой? Так и будешь молчать? Может, все-таки поговорим?

Она покраснела и отвернулась.

– Все хорошо, Ваня. И дело тут не в тебе, дело во мне и только во мне. И поверь – не нужно это все... Зря мы, короче...

И он взорвался:

– Я ничего не понимаю! Объясни! Всё это пустые и дурацкие фразы: «Не нужно ни мне, ни тебе!» «Зря», «Зачем!». Что за чушь, господи? Что не нужно, Катя? Что – зря? Если люди любят друг друга, разве может быть зря? Ну и в конце концов – мы уже не дети!

Она стояла, опустив, как провинившаяся школьница у доски, голову и ковыряла носком сапога грязноватый мокрый песок.

– Мы уезжаем, Ваня. Совсем уезжаем. Вот и все объяснение, – тихо, но твердо сказала она.

– В смысле? – не понял он. – Куда уезжаете? И кто это «мы»?

– В Америку, Ваня, – почти неслышно ответила Катя. – В Америку. И навсегда. Мы эми-гри-ру-ем, – по складам объяснила она ему как маленькому. – Мы евреи, и нам разрешили. На историческую родину – смешно, да? Исторической родиной они называют Израиль. Но это так, для проформы. Какая родина, господи? Мы здесь родились, здесь у нас всё! Мы оформляемся в Израиль, а едем в Америку. Жизнь там попроще и получше. Да и родителям легче будет устроиться. Ну и бабуля... – Катя вздохнула. – Здоровье у нее плохое, понимаешь? Сердце. Нужна операция. А здесь, – Катя снова вздохнула, – здесь ей не помогут.

– Так ты еврейка? – пробормотал он.

Катя рассмеялась:

– Ты что, серьезно, Вань? Или шутишь? А моя фамилия Гирштейн тебе ни о чем не говорит?

– Да я как-то не думал об этом. Да и зачем? Какая разница? Не понимаю.

Катя посмотрела на него с интересом, молча провела рукой по его волосам.

Молчали долго – оба не понимали, что сказать. Нарушил молчание

Иван. С деланным весельем, с натужной, дурашливой улыбкой уточнил:

– В общем, замуж за меня ты не пойдешь, я правильно понял?

Катя подняла на него удивленные глаза.

– Ну а в кино? – продолжал «веселиться» он. – В кино-то хотя бы?

И тут она улыбнулась.

– В кино пойду.

Но улыбка получилась у нее вымученная. Не улыбка – предсмертная застывшая маска, с мертвыми, пустыми глазами, которых он испугался.

– Ну и на том спасибо, – сказал он, чтобы хоть что-то сказать. А сам лихорадочно думал: «Да глупости все, ерунда. Рассосется! Подумаешь, ехать они решили! Наверняка передумают. Как представят себе переезд, незнакомую страну – точно передумают, испугаются! Катя как-то обмолвилась, что ее родители – типичная советская интеллигенция – робкие, смирные, не способные за себя постоять, не умеющие дружить с нужными людьми. Особенно папа. И эти собрались за границу? Ха-ха! Точно, рассосется». Он постарался поскорее выкинуть все это из головы. Главное – Катя, их любовь. Главное – что Катя его простила. И самое главное, что она его любит. Это он знает, чувствует. И что думать о чепухе, когда вокруг столько хорошего?

Нет, понятно, что в их тихой семье командует бабка, та самая скрипучая старуха с плохим воспитанием – чека, а не бабка, ну до всего докопается! А кто будет слушать старуху? Вот-вот. К тому же здесь у них все имеется – двухкомнатная квартира, старенький «москвичонок», скрипит еще, между прочим, и, пыхтя и кряхтя, все же довозит семейство до дачи. Да, есть еще и дача – точнее, дачка, как называет ее Катя, шесть соток, щитовой домик в три комнаты, пара яблонь и три куста смородины, посаженные по бабкиному настоянию – та обожает смородиновое варенье. А Катиным родителям ничего этого не надо – их вполне устраивает заросшая лужайка перед домиком, полная желтых радостных одуванчиков, и огромные лопухи у забора – а что, очень даже красиво! И шашлыки по выходным – конечно же, с друзьями!

В конце концов, работают они по специальности, во вполне приличных местах, кажется, где-то в Моспроекте, и на две их зарплаты вполне можно жить.

Нет, Иван, конечно, слышал об эмиграции, что люди *поднимаются* и уезжают. Вспомнил соседей по Староконюшенному – Броню и Валика, молодоженов, веселых и спортивных ребят. Уехали. И чего им здесь не сиделось? Но это были малознакомые люди, а Катя... Его Катя? Нет, невозможно. Разве ей плохо здесь, в этом родном, прекрасном городе?

Разве ей плохо с ним? И разве впереди не ждет их большая счастливая жизнь?

И снова две недели шатались по городу, и снова Иван не решался пригласить Катю к себе – зачем настаивать?

Разговор начала сама Катя – было видно, что ей неловко и даже стыдно, но, надев на лицо маску опытности и уверенности, отведя глаза, важно произнесла:

– Слушай, Иван! Тебе не кажется, что ты давно меня в гости не приглашал? Как-то неприлично даже. У тебя там, часом, нет новой жилички?

Он опешил, но тут же, взяв себя в руки, быстро забормотал оправдания.

Смущены были оба. И оба, конечно, понимали, что, как только они перешагнут порог его квартиры, случится неизбежное. По-другому никак. Ждали ли они этого неизбежного? Иван ждал, конечно, ждал! Но еще больше – боялся. Еле сдержался, чтобы не предложить ей рвануть прямо сейчас. Пригласил на следующий день – так ему показалось солиднее. К тому же требовались уборка и хоть какая-то кулинарная подготовка. Словом, обставить все это захотелось красиво – не наспех, без всякой небрежности. Уважительно.

Квартиру вылизал до блеска, отстоял полтора часа за пирожными в «Диете» на Ленинском, там же оторвал кусок жирноватой, но сочной бледно-розовой ветчины и кусок твердого, матового, как кусок пластмассы, «швейцарского» сыра. С бутылкой вина было проще – в тот год прилавки заполнили пузатые бутылки с португальским портвейном. Дорогим, но ароматным и сладким.

На стол легла бабкина парадная скатерть – давно пожелтевшая, кое-где с подштопанным кружевом, но по-прежнему нарядная, торжественная. Положил и наследные столовые приборы из серебра, те самые, с костяными ручками. Подумав, со вздохом аккуратно поставил на стол два заветных розовых бокала – те самые, мальцевские, восемнадцатый век, мысленно попросив у бабки за это прощения.

На Кате было густо-синее, почти черное, платье с белым атласным узким воротником. Глаза у нее были печальные, но и отчаянные, даже лихие. И на лице было написано, что ей на все наплевать!

Ее природная бледность, молочно-сметанная кожа, не умеющая загорать, стала еще блее, еще прозрачнее, еще мраморнее.

Иван опять, как и в предыдущий раз, бестолково суетился, долго мыл в ванной руки и слышал, как колотится его сердце.

Когда он вошел в комнату, Катя, совершенно голая, стояла у окна.

Верхний свет был потушен, в углу, у кровати, мутно мерцал старый ночник под голубым колпачком, прожженный с правого боку. На улице уже были густые ноябрьские сумерки, а Катя стояла к нему спиной, чуть повернув голову, и он видел ее тонкий профиль, подсвеченный желтым уличным фонарем.

Он вздрогнул от неожиданности, от ее отчаянной смелости, от того, что она, именно она, разрешила эту дурацкую ситуацию, пока он бегал, как бобик, болтал ерунду, суетливо и ненужно хлопотал по хозяйству. Катя оказалась смелее и, конечно, умнее его.

Женщина.

И было все совсем по-другому. Без торопливости, поспешности, неловкости. Даже смущения не было. Не было двух робких, насмерть перепуганных детей, боящихся не то что другого, самих себя. Была огромная, невыносимая, щемящая нежность, которая затопляла, обволакивала, накрывала невесомым покрывалом, окутывала и оберегала – от страха, от неумения, от нетерпения, от неудач.

Впрочем, и неумения не было. Куда оно подевалось? Иван был уверен, что делает все абсолютно правильно, он чувствовал себя многоопытным, умелым и взрослым мужчиной. Да и Катя не робела: была тактична, умна, осторожна, они совпадали каждой клеточкой, каждым изгибом, каждой впадиной и словно были созданы друг для друга, будто умелый и умный скульптор подогнал их друг под друга, учтя их особенности, вкусы и желания.

Просто это была любовь – вот что это было.

В этот вечер они стали мужчиной и женщиной. Это случилось.

Они забыли и про часы. Да что там про часы – они забыли про весь мир, про все то, что было за хлипкой, почти картонной, дверью его квартиры, за мутноватым и плохо промытым окном. Они были одни на всем белом свете. И ничего, ничего, кроме друг друга, кроме горячих и вспухших губ, кроме дрожавших от нежности и напряжения рук, которые почти сводило от усердий, кроме переплетенных, уставших от судорог ног, гулко, в унисон, одним торопливым и слитным боем, бьющихся сердец. Ничего не было на всем этом свете – ничего и никого.

Потом в изнеможении, с пересохшими от жажды губами, они смотрели в потолок, по которому медленно проплывали редкие тени от случайных машин, и в эти минуты казалось, что они под водой, на дне моря и узкие полосы колеблющегося света – подводные лианы или неизвестные водоросли, обитающие на морском дне. Они лежали молча, крепко сцепив

руки, и ни о чем не думали, потому что просто не было сил.

Конечно, первой очнулась Катя.

– Боже, – воскликнула она. – Ваня! Уже полдвенадцатого! Что же делать?

Соскочив с кровати, она начала метаться по комнате, хватать свои вещи – трусики, лифчик, платье, натягивать на себя, чертыхаясь и не попадая ни ногами, ни руками.

А Иван, как в полусне, не отрываясь, смотрел на нее и любил ее бесконечно. Да так оно и было – полусон. И еще – огромное, безразмерное, опустошительное, какое-то оглушительное, невозможное счастье. Счастье, лишившее его воли. Он смотрел на нее и чувствовал, что снова хочет ее. Вскочил с кровати, обнял, остановил, прижал к себе.

Катя недовольно дернулась, попыталась отстраниться и выкрикнула:

– Иван! Ты, кажется, спятил! Ты вообще понимаешь, что со мной будет? Меня же убьют, а тебе все равно!

Но он чувствовал, что, несмотря на весь ее гнев и пылкую речь, она обмякает в его руках, подтаивает, как мороженое. Но Катя взяла себя в руки и отпихнула его.

– Ваня, Ваня, – забормотала она. – Ну подожди! Подожди, умоляю! Дай я хотя бы им позвоню. Они же там сходят с ума!

– Ты останешься? – хрипло спросил он. – Останешься на ночь?

Она не ответила, подхватила телефон, дернула шнур, подтащила его к двери, вышла в прихожую, закрыла дверь в комнату, и Иван услышал ее тихий, взволнованный голос.

Он не прислушивался – зачем? Подумал – вот сейчас она зайдет в комнату и скажет, что уезжает. Что дома страшный скандал, что ее непременно убьют, что они там действительно еле живы, обзвонили все больницы и морги, думали уже о самом плохом и что она сволочь и гадина, если смогла так поступить. И он начнет спешно натягивать рубашку и брюки, в душе проклиная и ненавидя ее родителей и, скорее всего, своих будущих родственников, а потом они выскочат из подъезда, будут долго пытаться поймать машину, наконец им повезет, и они сговорятся, конечно же, за огромные деньги. Но домчатся быстро – ночная Москва будет почти безлюдна, и они остановятся у ее дома, и Катя попросит не выходить: «Сиди, я тебя умоляю!» Но он ослушается и выйдет, конечно, выйдет, и зайдет с ней в подъезд. А она, не дожидаясь лифта, рванет вверх по лестнице, крикнув ему: «Иди уже наконец».

Но он дождется, пока хлопнет дверь ее квартиры, убедится, что она на месте и ей ничего не угрожает. Медленно, вразвалочку, он спустится по

ступенькам и откроет тяжелую подъездную дверь. Глубоко вдохнет холодный ночной воздух и медленно пойдет пешком. О том, что происходит там, в ее квартире, он думать себе запретит.

Словом, сейчас она войдет в комнату, и все закончится вполне предсказуемо.

Иван бросил взгляд на стул, где висела его одежда, привстал с кровати, потянулся за ней, и тут вошла Катя. В темноте он не видел ее глаз – слышал только шаги и дыхание.

– Ты куда-то собрался? – усмехнулась она.

Иван замер от неожиданности.

Катя подошла к нему, села на край кровати и прижалась к нему.

– А мы никуда не спешим, – улыбнулась она. – И впереди у нас целая ночь.

Он вздрогнул, прижал ее к себе и хотел было сказать банальность: «Что ночь – впереди у нас целая жизнь!» Но, по счастью, не успел – она медленно, но крепко и уверенно закрыла его рот поцелуем.

С этого дня все пошло по-другому.

Почти каждый день Катя приезжала к нему и оставалась на ночь. Как она разобралась со своим семейством, он не знал и, честно говоря, знать не хотел. Катя с ним? А что еще надо? Теперь он считал, что у него все есть. У него есть она, он не одинок на этом неласковом свете. Потом уже понял, что это был ее бунт, восстание против решения, не согласованного с ней, против назойливой бабки, с удовольствием портящей жизнь не только своей тихой дочери, но и подросшей внучке. Это был бунт юности, бунт любви и юной плоти.

Они были счастливы, но все-таки счастье это было с привкусом горечи. Об ее отъезде они не говорили вообще.

По вечерам они ходили гулять: недалеко была полуразрушенная бывшая усадьба – дом красного кирпича, заброшенный сад и парк, заросший, густой и лохматый, но сохранивший еще свою тщательно выверенную когда-то архитектурную стройность и правильность. Кое-где остались скамейки, испещренные пошлыми надписями и грязными рисунками. Ему было неловко оттого, что Катя видит всю эту гадость.

Потом они шли домой и принимались готовить незатейливый ужин: пачка пельменей на двоих, или жареная картошка, или макароны с сыром, если удавалось достать сыр, или совсем деликатес – сосиски или сардельки. После ужина пили чай и болтали о жизни. Точнее, трепался Иван – Катя все больше молчала. Она вообще была не из болтливых, его любимая.

Он строил планы – а кто их не строит в семнадцать лет? Он разглагольствовал о семейной жизни, о том, как они поделят обязанности. Катя фыркала и вступала в шутейный спор. Он говорил об их карьере, уговаривал Катю поступать в институт, придумал красивую сказку о городе Дивногорске, увиденном в телепередаче. Он уговаривал ее после окончания учебы уехать туда, где горы и лес, простоватый, честный и неизбалованный народ, где нет суеты и раздражения, хамства и толкотни, где сама природа диктует условия жизни и определяет поведение людей – романтика, а? И это к тому же прекрасная возможность подзаработать – город строится, молодежь с удовольствием едет туда, в том числе и за деньгами. А что тут такого?

– Зачем тебе деньги? – устало спрашивала Катя.

Он возмущался:

– Как это – зачем? На путешествия, например! Так хочется посмотреть мир!

– Какой мир, Ваня? – вздыхала она. – Ну какой мир ты можешь посмотреть? В лучшем случае – Польшу с Болгарией.

– При чем тут заграница? – злился он. – А Камчатка? Сахалин? Карпаты? Армения, Грузия? Что, недостаточно?

Катя молчала, но было видно, что она не разделяет его романтики. А он, воодушевившись, продолжал:

– Накопим на машину и поедem! Нет, ты только представь: раннее утро, солнце в утренней дымке, и мы осторожно ползем по Военно-Грузинской дороге! Останавливаемся в горном селе, покупаем горячий лаваш и молодой сыр на завтрак, рвем с дерева абрикосы. Катька, разве не здорово? А островки в Балтике, под Таллином? Маленькие такие, за полчаса обойдешь: белый песок, тонкие сосны с красными стволами – и мы с тобой. А? Ну или Черное море! Теплое Черное море, Катюха! Хижина на берегу, рыбка, барабулька на палочке над костром, и снова мы с тобой вдвоем. Снова вдвоем, понимаешь? Одни на всем белом свете! Как я хочу жить на море, Катька! А ты? Ты любишь море? Тогда мы уедем туда навсегда!

– Так не бывает, чтобы одни на белом свете. А где все остальные? Ну, например, мои родители?

– В своей Америке, – буркал Иван, и разговор прекращался.

Именно тогда он и начал писать наивные и смешные стихи:

*Игра в счастливую чету в прекрасном доме номер
восемь,*

*Где мы не знали суеты и тихо жили в эту осень.
Где мы не ведали обид – о них и не подозревали.
Смеясь, готовили обед
И чинно под руку гуляли.*

Кате стишата, как он их называл, не показывал – стеснялся. Да и вообще понимал: все это – полная глупость. Насчет своих способностей он не обольщался ни на минуту. Так, черкнул по бумаге – рука запросилась. Сам себе удивлялся. Но почему-то писалось, писалось – стишата сыпались как из решета. Чудеса. И еще он ее рисовал – Катя сангиной, Катя темперой. Акварельная Катя и Катя карандашом.

«У нас настоящая полусемейная жизнь», – шутил он, понимая, что настоящую, семейную, он очень ждет и сильно, очень сильно мечтает о ней.

Катя, как ему казалось, относилась к его разговорам о будущем скептически. Впрочем, человеком она была сдержанным и уж точно не фантазеркой. Но и сухой она не была – он это знал как никто. Скорее скрытной, недоверчивой, сомневающейся.

Про планы ее семьи он не спрашивал вообще – просто боялся. Ну и Катя молчала. А раз молчит, надеялся он, значит, планы-то несерьезные. Главное, что все затягивалось, оттягивалось: то скрипучая бабка попадала в больницу, то что-то еще.

Вот и славно, а там поглядим – посмотрим. Главное – выиграть время. Они с Катей поженятся, а кто может что-то приказать взрослым самостоятельным людям? Вот именно, никто.

Раз в три месяца он ездил на Ваганьковское, к своим. Катя ездила с ним. Однажды спросила:

– А твой дед воевал?

Иван кивнул:

– Да, но недолго. Не повезло – почти сразу ранение и мобилизация. Ранение в ногу, дед всю жизнь прихрамывал и плохо спал по ночам – мучили боли. Он вообще считал себя «везунчиком» – арестовали в тридцать девятом, всего-то на полтора года, потом с войны вернулся. Ему многие завидовали, а он страдал – считал, что не исполнил свой долг.

– А мой дед Исаак в сорок третьем пропал без вести – такая формулировка. Был человек и нет – представляешь? Бабушка Сима не верила, что его нет, и ждала его всю жизнь, верила, что он жив. Судьбу свою не устроила. А кавалеров было много, она была очень красивой. Это

мамин отец. А дед со стороны папы сгинул в тридцать восьмом по пятьдесят восьмой – ну, ты понял. Это баба Соня не понимала – да многие тогда ничего не понимали. Соня носила передачи – долго, почти два года. А потом ей сказали: «Все, хорош. Передавать больше некому». Что, как – не объяснили. Просто отказались принимать посылки. Все стало понятно в пятьдесят девятом, тогда деда Бориса реабилитировали и дали за него пенсию – кажется, рублей сорок, точно не помню. Цена человеческой жизни и мучительной смерти, да? Вот такие дела... Бабушка Соня вышла замуж во второй раз – поздно, в весьма почтенном возрасте, в шестьдесят первом, когда уже я родилась. И знаешь, прожила счастливую жизнь. Муж ее, Василий Кузьмич, был человеком простым, но очень хорошим! И меня обожал – называл внучечкой. Никого у него не было – вся семья пропала в концлагере.

Замолчали.

– Мама уже чемоданы купила, – тихо сказала Катя. – А папа собирает коробки всякие. Клянчит у грузчиков из магазина.

Значит, все-таки собираются. На душе стало так тошно, что Иван чуть не расплакался. А потом разозлился! Так разозлился, что с усмешкой спросил:

– Собираетесь, значит. Понятно. И каким составом, позволю себе спросить?

– Не знаю, – просто ответила Катя. – И пожалуйста, Ваня, больше не...

Он перебил ее, увидев ее глаза, полные страдания и отчаяния, страха и боли:

– Я понял. Прости.

За что, впрочем, он просил прощения? Сам не понял. И чего именно Катя, интересно, не знает? Когда едут? Или едет ли она? Ладно, поглядим – посмотрим. Спасибо, дед, утешает, ага.

Новый год встречали в компании Катиных друзей – вполне симпатичных, кстати, ребят. Только почему сплошные разговоры об отъезде? Как будто все собираются, что ли? Уточнять Иван не стал – сначала отвлекся на зимнюю сессию, а потом просто забыл.

Но к этому разговору больше не возвращались. Он успокоился – приближалась весна, Катя в мае защищала диплом, про лето они не говорили. С летним отдыхом, каникулами, он готовил сюрприз – договорился с ребятами с четвертого курса, спортсменами и байдарочниками, которые в августе шли в Карелию, что их с Катей возьмут в отряд. Знал, что Катя мечтала пройти по карельским порогам. Иван потихоньку закупал снаряжение, доставал консервы и крупы, купил две

штормовки и сапоги – ей и себе. Словом, готовился. Сказать об этом решил после ее выпускных – сейчас пусть не нервничает.

Но, как говорится, расскажи Богу о своих планах... В мае Катя забеременела. Обнаружилось это ранним утром, перед последним экзаменом. Она резко вскочила с постели, пошатнулась, у нее закружилась голова, и она еле удержалась, схватившись за стул. Зажав ладонью рот, бросилась в туалет.

Перепуганный, очумевший со сна Иван услышал утробные звуки – Катю рвало. Она стояла на коленях, обняв унитаз.

Он поднял ее, зареванную, перепуганную насмерть, умыл над раковиной, поморщившись от запаха свежей рвоты, усадил на кухне.

Оба молчали. Обоим было страшно.

– Что теперь делать? – одними губами прошептала она.

– Что делать? – бодро улыбнулся он. – А что, есть варианты? Сегодня пойдем к твоим и объявим, что мы поженимся! Свадьба в августе, как положено: белое платье, фата и машина с пупсом. Как тебе такой сценарий?

Он не прикидывался – был искренне счастлив. Теперь Катя уже окончательно его жена! И скоро их будет трое! И эти страшные слова «мы собираемся» к ним уже не относятся.

– Боюсь, Ваня, нас никто не поймет.

– А мы не за понимаем туда идем, – разозлился он. – Совсем не за этим!

Катя грустно отозвалась:

– И все-таки страшно, Ванечка! Я же... ломаю им планы!

– А разве это твои планы? – желчно осведомился он. – Твои, а не их? Разве они посчитались с тобой, спросили твое мнение? Разве им это интересно? Они все решили за тебя! Ну а ты, ты решила по-другому. И кажется, имеешь на это полное право. Это твоя жизнь, любимая! Твоя и моя. Наша. И еще... кое-кого! Уже кое-кого! – улыбнулся он.

В тот день Катя уехала домой. Скажет сама? Честно говоря, он на это рассчитывал. Трусил приходить к ним в дом да еще с такими вот новостями. До поздней ночи ждал звонка от Кати – не позвонила. Не позвонила и наутро, чему он сильно удивился. И вечером звонка не было. Весь день он просидел, пролежал, простоял у телефона, не сводя с него глаз. Раз в полчаса хватал трубку – вдруг не работает? Трубка вежливо и монотонно отвечала размеренными гудками.

Обиделся – как же так? Она знает, как он волнуется! Потом испугался, что ей стало плохо и ее увезли в больницу. Почти не спал ночью, снились кошмары, какие-то злобные бабки стучали клюками ему вслед и слали

проклятия, шипящие змеи шуршали под ногами, и на обочине пыльной дороги валялись их сухие, скрученные, сброшенные шкурки. Еще был какой-то пожар – кажется, страшный, огромный, застилающий горизонт кровавым маревом и заполняющий небо удушливым черным дымом. Он закашлялся во сне и тут же проснулся.

На часах было семь, он быстро вскочил, наспех умылся, натянул брюки и рубашку, набросил куртку и бросился из дома – по лестнице, не дожидаясь лифта, – совсем не было времени ждать. Ему повезло – почти у подъезда он поймал частника, кавказца, пышноусого и говорливого. Водительские байки, конечно, не слушал – только невежливо угукал и агакал. Уловил одно – у водилы недавно родился сын и он, конечно, был счастлив.

– У меня тоже... скоро! – неожиданно для себя сказал он.

Водила поздравил, ну и, как водится, пожелал счастья.

Домчались быстро – раннее утро. Иван выскочил из машины, взлетел по лестнице и замер – сердце так колотилось, что его частые удары глухо отдавали в голову. Чуть отдышавшись, громко выдохнул и нажал кнопку звонка. Дверь открыли не сразу, спустя пару минут, которые ему показались вечностью, – за эти минуты он ярко представил «Скорую», увозящую истекающую кровью Катю.

Наконец на пороге возникла темноволосая женщина с голубыми, Катиными, глазами. Мать – понял он. Как ее зовут, господи? Кажется, Евгения Исааковна.

Та, увидев его, побледнела, но острого, пронзительного взгляда не отвела.

– Вы к кому? – сухо осведомилась она.

– К Кате, – хрипло ответил он. Хотел еще добавить что-нибудь язвительное, едкое, «бабкино» – на это бабка Маруся была мастак, но, слава богу, сдержался. – К Кате, – упрямо повторил он. – Она дома?

Женщина вздрогнула, как от пощечины, еще больше нахмурилась и с испугом обернулась в глубь квартиры, чего-то или кого-то сильно испугавшись. Она, потеснив Ивана, вышла на лестничную клетку, осторожно прикрыв за собой дверь.

– Катю вам нужно? – зашипела она. – А, извините, зачем? Какая же наглость, господи! – Женщина всхлипнула. – Сломать девочке жизнь и еще позволить себе заявиться сюда! Господи, да ни стыда ни совести! – продолжала полушепотом бормотать она. – Ни стыда ни совести! Послушайте, молодой человек! – Она в упор посмотрела Ивану в глаза. – Просьба одна, нижайшая просьба: оставьте мою дочь в покое.

Окончательно, навсегда. Вы меня поняли?

Упрямо, как молодой бычок, он нахмурился и посмотрел ей в глаза.

– Нет, не понял. Не понял, чего вы добиваетесь. Катя моя невеста. Мы любим друг друга. И мы поженимся. Странно, что вы до сих пор ничего так и не поняли.

– Нет, это вы, молодой человек, так ничего и не поняли! Вы, а не мы! Невеста, жених? Какой бред, господи боже мой! – скороговоркой проговорила она. – «Мы поженимся»! Да о чем вы вообще?

– Мы поженимся, и у нас будет ребенок, – как мог жестко и твердо повторил Иван. – И еще у нас будет свадьба. Потому что Катя хочет свадьбу!

– Какая свадьба, вы спятили! Идите домой, молодой человек. Идите, я вас умоляю! И оставьте ее в покое! А мы... Мы как-нибудь сами. Все решим и со всем справимся, не сомневайтесь.

– Посмотрим. – Иван не собирался отступать. – А сейчас позовите, пожалуйста, Катю!

В эту минуту дверь распахнулась, и на пороге возникла Катя – его Катя, его дорогая девочка. В длинной, какой-то детской ночнушке, босиком, со спутанными волосами, до смерти перепуганная.

– Мама! – закричала она. – Пусти меня к Ване!

Мать не сдвинулась с места.

«Господи, ну не драться же мне с этой... Евгенией Исааковной!»

За Катиной спиной возникла старуха в ярко-фиолетовом, слишком нарядном для раннего утра платье. «Бабка, – с тоской подумал он. – Тяжелая артиллерия». Бабка что-то шипела, не разобрать. Будущая теща не двигалась с места.

– Ваня! – выкрикнула Катя. – Иди домой! Тебе с ними не справиться! Я тебе позвоню!

Он не двигался.

– Иди, Ваня! – истошно закричала она. – Иди, умоляю! Я тут... сама!

«Что делать? Что делать, господи! Не волновать же ее! – стрельнуло в башке. – Главное – не волновать». И он медленно, не оглядываясь, стал спускаться по лестнице.

Три дня снова не отходил от телефона. Три дня смотрел на него, как замороженный, как индийский йог, гипнотизируя взглядом, смотрит на кобру. Аппарат поставил около кровати, на которой эти три дня, не раздеваясь, и провалялся. Там же, в кровати, сжевал засохший батон, запил водой из чайника, не замечая колючих крошек в кровати.

Звонка не было. Он звонил на телефонную станцию и умолял

проверить линию – вдруг что-то случилось? Раздраженные телефонистки с усмешкой отвечали, что все нормально. Одна посоветовала сменить подружку, раз нынешняя оказалась такой ветреницей.

А звонка все не было. Иван сходил с ума, не понимая, что ему делать. На третий день не выдержал и снова помчался к Кате. Взлетел на четвертый этаж и нажал кнопку звонка. Палец не убирал – звонок надрывался как бешеный. Потом стал колотить по двери кулаком. На пороге возникла Катина мать и, сведя брови, жестко сказала:

– Руку со звонка уберите! Или хотите в милицию?

– Где Катя? – выкрикнул он.

Катина мать молчала.

Он отодвинул ее и влетел в квартиру.

Толкнул дверь в ее комнату и наконец увидел ее. Катя, его любимая девочка, лежала на кровати в позе эмбриона, скорчившись и прижав ноги к животу. Она была такой бледной, что у него упало сердце. Увидев его, она, как ему показалось, страшно испугалась, дернулась, сжалась, скорчилась еще больше.

– Катенька! – хрипло выкрикнул он. – С тобой все в порядке?

Она зажмурила глаза и заскулила, как щенок с перебитыми лапами.

Он встал перед ней на колени, схватил ее холодные, почти ледяные руки и стал целовать мокрое, искривленное гримасой лицо. Она пыталась вырваться, шепча слова, которых он не мог разобрать, вырывала руки, подтягивала одеяло, словно пыталась спрятаться от него.

Наконец ей удалось вырваться, освободиться от его рук, и она прошептала:

– Уходи, Ваня. Прощу тебя, уходи. Все закончилось, и ничего не будет. Ты меня понял?

Она повернулась, и Иван увидел ее глаза – неживые, пустые, чужие.

– Что с тобой? – тихо спросил он. – С тобой что-то случилось?

– А ты так и не понял? Какой же ты дурачок!

– Тебе плохо? Что-то болит? Так давай срочно в больницу! Я побежал за такси? Или, может быть, «Скорую»?

Катя рассмеялась странным, холодным, дребезжащим смехом:

– В больницу? В больницу не надо. Зачем? Я только что оттуда, Ваня.

Он смотрел на нее во все глаза и снова ничего не понимал.

– Из больницы? – тупо переспросил он. – А что ты там делала?

– Аборт, – коротко ответила Катя и отвернулась. – Уходи. Уходи, я тебя умоляю.

Он медленно поднялся с колен, зачем-то отряхнул брюки, замер на

несколько минут, словно прикидывая, что ему делать, и, так ничего и не придумав, вышел за дверь.

Проходя мимо кухни, он увидел Катину мать, та стояла у окна и курила. Его шаги она, разумеется, слышала. Но не обернулась.

Да он и не ждал.

Иван вышел на улицу, сел на лавочку у подъезда, достал пачку сигарет и коробок спичек, попытался закурить, но спички ломались, и все никак не получалось. Он бросил на асфальт и коробок, и безжалостно смятую сигаретную пачку. Медленно поднялся со скамейки и пошел вперед, не понимая, куда идет и зачем. Он почти не отрывал ног от земли – они были словно налитые свинцом, неподъемные, как чужие. Он не заметил, как пошел мокрый, крупными хлопьями снег. Как прохожие торопливо бежали в метро и на остановки автобусов, как морщились и поднимали воротники, вытирая мокрые лбы и щеки. Он не видел людей, с опаской обходивших его, спотыкался о какие-то камни, бордюры, наткнулся на дерево, чуть не расшибив себе лоб. Отпрянул от него и снова пошел вперед. Наконец он понял, что страшно, нечеловечески устал, и плюхнулся на какую-то бетонную плиту, мокрую и скользкую. Смеркалось, он удивился и оглянулся – неужели вечер? Сколько же он шел? Он осматривался и не узнавал ни район, ни улицу, куда его занесло. Он понял одно: что дальше идти не в силах – ноги дрожали и гудели, руки ходили ходуном, невыносимо ныли поясница и шея. И тогда он уронил голову в руки и наконец заплакал.

Он плакал так горько, как плакал только в детстве, когда его наказывал дед или когда он в пять лет на детской площадке потерял любимого Буратино с облупившимся пластмассовым носом. Буратино, разумеется, не нашелся, его украли. И сегодня у него снова украли – Катю, ребенка. Украли жизнь.

С трудом, с невероятным усилием Иван заставил себя встать, нащупал в кармане какие-то деньги, подошел к дороге и поднял руку. Такси, на удивление, остановилось быстро.

– Беляево, – бросил он, и шофер кивнул.

«Повезло, – мелькнуло у Ивана. – Хоть здесь повезло». Он сел на заднее сиденье и закрыл глаза. Уснул? Нет, впал в какое-то забытие, словно провалился в глубокую яму, отдаленно чувствуя, как резко тормозит машина, видимо на светофоре, а потом так же резко берет с места, и водитель что-то недовольно бурчит.

– Плохо тебе, парень? – услышал он.

Открыл глаза и молча кивнул.

Наконец доехали, и машина остановилась у его дома.

Шофер обернулся:

– Деньги-то есть?

Он снова вытащил из кармана смятые деньги и протянул весь комок водиле. Тот со вздохом отсчитал купюры, вернул ему оставшиеся и достал из-под сиденья что-то завернутое в газету:

– Возьми, парень! Точно поможет!

Иван понял, что это бутылка, пробормотал «спасибо» и почти вывалился из машины. Покачиваясь, словно пьяный, вошел в подъезд и нажал кнопку лифта, мучительно вспоминая свой этаж. Он долго не мог попасть ключом в замок, наконец справился, ввалился в квартиру, не зажигая свет и не выпуская бутылку из рук, рухнул на кровать и закрыл глаза. Спустя какое-то время обнаружил, что бутылка, завернутая в газету, по-прежнему крепко зажата в правой руке. На ощупь он отвинтил пробку и жадно глотнул. Теплая водка обожгла горло, он поперхнулся, закашлялся, но через пару минут стало легче. Он лежал и пил ее как воду – жадно, большими глотками, пока не обнаружил, что бутылка пуста. А потом он уснул.

Проснулся от шума дождя – тот барабанил по жестяному подоконнику, ожесточенно лупил по окнам, словно пытаясь их разбить. Пошатываясь и держась за стену, Иван дошел до ванной и с трудом влез под душ. Врубил сильную ледяную струю и, зажмурившись, долго под ней стоял, пока не застучали зубы и не свело спину и ноги. Он выбрался из ванной, доплелся до кровати и снова упал на нее, пытаясь укрыться одеялом. Но согреться не получалось – все так же зуб не попадал на зуб и мелко дрожали руки и ноги.

В голове было пусто, в сердце тоже, будто из него вытащили все, что было там, в его теле. Кое-как он согрелся и почувствовал страшный, непереносимый, до тошноты, волчий голод. Вспомнил, что не ел несколько дней – черствый батон не в счет. Доплелся до холодильника, сжевал подсохший кусок сыра, вспорол банку каких-то сардин, но не наелся и с жадностью, за какую-то минуту, доел старые, слипшиеся в комок пельмени, сваренные три дня назад и уже тогда не полезшие в горло.

Почувствовав, что наелся, Иван снова лег в кровать, надеясь уснуть. Но сон не шел. И вдруг его словно осенило, морок прошел как не было, и равнодушие прошло, и растерянность. Его словно взорвало – ненависть, ненависть! – ненависть к ее матери, сломавшей их жизни, к ее бессловесному отцу, к ее злобной бабке и к ней самой, к Кате! Как она могла? Как она могла пойти на это? Ведь, в конце концов, она же не кукла,

не марионетка, которой можно руководить! Не грудной бесправный ребенок. Она взрослый, совершеннолетний человек, ей уже восемнадцать! Как она не позвонила ему, не потребовала ее забрать? Как не сбежала, в конце концов? Как согласилась на это? Как смогла предать его и их любовь? Как смогла убить их ребенка? Его трясло как в лихорадке, как при температуре за сорок. Никакой жалости к Кате не было – только злость, ненависть. Предательница, дрянь, гадина – как он ошибся в ней!

Иван вскочил с постели – дальше лежать было невозможно – и быстрым шагом заходил по квартире, пытаясь хоть как-то успокоиться, взять себя в руки. Сорвал с вешалки куртку, сунул ноги в ботинки – они были влажными – и бросился вниз по лестнице.

Как всегда, в винном стояла огромная очередь – алкашня нервничала, что кончается дешевая «беленькая». Ему было по барабану – беленькая, черненькая, красненькая. Лишь бы выпить, забыться. Хоть на полдня, на пару часов. Руки тряслись от нетерпения, как у алкашей, стоявших с ним в очереди, подумал он.

«Беленькая» и вправду закончилась, и он равнодушно взял бутылку дешевого молдавского коньяка и бутылку сухого грузинского. Мужичье посмотрело на него с уважением – напитки дорогие, почти элитные.

К утру не было ни конька, ни вина. И злости не было – одна тоска. Тоска по Кате и по всей их неудавшейся жизни, разбитой, порушенной чужой злой волей. Склеить, конечно, можно, но то, что сделали ее собственные родители, самые близкие люди, навсегда останется с ними.

Три дня кошмара. Он слонялся по квартире, смотрел на телефон, проваливался иногда в сон, как в черную яму, просыпался, выбегал за спиртным, хватал что было: вино, водку – без разницы. Пил и засыпал. А на четвертый день Иван почувствовал, как заболело сердце. Он не мог больше не видеть Катю. Позвонить не решался – понимал, что трубку возьмут мать или бабка. Значит, надо поехать. Конечно, поехать, ведь наверняка ей в сто раз хуже, чем ему. Ей больно и страшно, она среди них, среди врагов. И она без него. Господи, какой же он идиот! Какая же сволочь! Как он мог бросить ее! Как мог злиться, ненавидеть и презирать ее! Ее, свою Катю. Кого надо жалеть? Себя? Глупости! Ей куда хуже, куда страшнее, куда больнее, чем ему! И наверняка – наверняка! – ей еще невыносимо стыдно за то, что она поддалась, согласилась! Кто у него есть, кроме нее? Кто роднее и ближе, чем она?

Он посмотрел на себя в зеркало – помятая, опухшая от пьянства рожа, грязные, всклоченные волосы, сальная майка. Урод.

Он побрился, принял душ, надел все свежее. Через полтора часа он

вбежал в ее подъезд. Плевать на всех! Он заберет ее, и пусть только попробуют ему помешать. Он схватит ее в охапку и увезет к себе навсегда. А с ее родителями он справится, не сомневайтесь. Да кто они такие, подумаешь! Обычные, не очень хорошие люди. Эгоисты и гады, конечно. Но со злом надо бороться, иначе он не мужик. Потому что настоящий мужик борется за свое счастье и за свою женщину. Как он мог оказаться таким слабаком?

Иван стоял у двери и с силой жал на звонок. Не открывали. Прислушался – за дверью была тишина. Что-то случилось? Господи, неужели с Катей? Она с собой что-то сделала? Господи, не допусти, умоляю! Он заколотил ногами по двери. Открылась дверь в квартире напротив, он обернулся. На пороге стояла немолодая женщина в халате и в бигуди.

– Что колотишь-то? – хмуро спросила она и, не дождавшись ответа, продолжила: – Нету их. Съехали. В Израиль свой съехали. Все, с концами. И чего им не хватало? Вроде все у них было...

– Когда? – прошептал он. – Когда они... уехали?

– Да вчера, поутру. В шесть такси пришло – я слышала, как грузились, как бабка охала. Как Женька на нее шипела.

Он молчал.

– И чего? – оживилась соседка. – Катька твоя тебе ничего не сказала? – В ее глазах читалось любопытство. – Не предупредила?

– Не моя, – ответил Иван. – Она не моя. – И медленно стал спускаться по лестнице.

– Не горюй! – несло ему вслед. – Будет у тебя таких еще штук двести! А про Катьку забудь – на черта тебе предатели родины?

Иван вышел во двор, сел на лавку у подъезда и понял, что вот теперь жизнь точно закончилась. Просто закончилась, и все. Как прозаично, однако. Нет, он не собирался кончать с собой. Ни прыгать с десятого этажа, ни резать вены, ни бросаться под поезд. Ничего этого он делать не станет – еще чего! Слишком много чести! Она даже не попрощалась с ним, не позвонила. Что о ней думать? Она недостойна. Недостойна его страданий, тоски. Его любви. Она предательница. Пусть живет как хочет. И он будет жить. Как сможет. Наверное, получится. Куда он денется? Только как это будет, Иван не представлял. Потому что самое сложное – пережить предательство. А его уже предавали: сначала мать, потом – отец. И он снова один на всем белом свете. Вот так получилось.

Как он жил после Катиного отъезда? Да как-то жил. Собирал у себя большие компании, благо деньги были, отец присылал, словно откупался от него. Ну и поддавал, разумеется. Никогда он так много не пил. Вспоминал бабкины слова про дедову родню: «Да там, у этих чертовых Громовых, все алкоголики! Через одного. Смотри, Ваня! Наследственность у тебя отвратительная». Слыша это, дед приходил в ярость:

– Это кто в моей семье алкоголик? Ну-ка, поподробнее, Мария Захаровна!

Бабка пыхтела и раздувала ноздри:

– Ах, вам напомнить, глубокоуважаемый Петр Степанович? Всех перечислить?

– Начинайте, глубокоуважаемая, ну-ну! Я весь внимание!

Бабка, надо сказать, оставшуюся дедову родню помнила отлично – не только двоюродных братьев и сестер, но и троюродных, теток и дядек, шуринов и деверей и с удовольствием перечисляла незнакомые имена. Дед слушал молча, все больше и больше хмурясь. И вдруг его лицо вспыхивало счастливой улыбкой:

– А вот здесь, Марь Захарна, ты не права! Не был пьяницей дядька Матвей. Вот хоть режь меня на куски, а не был!

Дед кипятился, хлопал ладонью по столу, а бабка, получая удовольствие от его возмущения, спокойненько отвечала:

– Хорошо, Петр Степанович. Ошиблась, бывает.

После отъезда Кати в его квартире постоянно торчали какие-то люди – знакомые и не очень, приятели притаскивали своих приятелей, а те – своих. Приносились авоськи со спиртным, на балконе копились, пылились горы пустых бутылок, а когда кончалась выпивка или деньги, грязные бутылки складывали в ванну и поливали из душа, а потом бежали их сдавать. Иван жил в постоянном угаре, мало что понимая и еще меньше желая понять. Иногда ему казалось, что он – полудохлая рыба в мутном, загаженном и отравленном аквариуме. А за грязным стеклом медленно движутся странные силуэты. Кто эти люди, зачем они здесь? И как мало воздуха! Он задыхался. Плотный сигаретный слоистый дым не рассеивался от коротких проветриваний, силуэты людей виднелись в дымке, словно в тумане, все медленно и лениво передвигались, шатались из угла в угол, фланировали из комнаты в кухню, кто-то спал на диване, кто-то, малознакомый или вовсе чужой, варил на плите кофе или жарил яичницу, а ванная почти все время

была закрыта на задвижку – попасть в нее было сложно. Там занимались любовью незваные гости.

Иногда Иван впадал в бешенство и разгонял компании. Но спустя пару дней, когда от одиночества становилось невыносимо тошно, снова обзванивал друзей и, словно нищий на паперти, умолял прийти. Ну а тех долго просить было не надо. И опять начиналось безумие.

Он спал с незнакомыми или малознакомыми девицами, а поутру долго не мог очухаться, с удивлением разглядывая чужое лицо рядом на подушке. После этого было противно и тоскливо. И все-таки так было легче. В этой безумной круговерти и бестолковой суете было легче забыться. А забыться ох как хотелось!

Так и прожил в этом угаре почти два года. Чуть не вылетел из института, не на шутку испугался, своими глазами увидев приказ об отчислении, клялся декану, что завяжет с гулянками. Тот был суров:

– Эх, Громов! Я все понимаю – жизнь у тебя непростая. Да и талантом бог тебя не обидел. Но что ты творишь? Разве можно так жизнь прожигать? Она у тебя одна, Громов. Другой не будет. В армию загремишь – и это в лучшем случае! А в худшем – сам понимаешь. Ладно, иди! Последний шанс, Громов! Последний! И то потому, что... Ладно, сам знаешь!

Что это значит – «сам знаешь»? Получается, тогда, при поступлении, за него хлопотал Ленькин отец? А может быть, и сейчас? Все знали, что готовится приказ о его отчислении. Выходит, Ленька снова обратился к отцу? Господи, стыд-то какой! А подойти к Велижанскому смелости не хватило. Да и что спросишь? Лень, ты за меня хлопотал? Тот наверняка поднимет его на смех: «Ты что, Гром? Больной? Где я и где ты? И какое мне до тебя дело?» Нет, так не годится.

В общем, быстро взял себя в руки – сдал все хвосты и занятия не пропускал. Спустя какое-то время узнал, что Велижанский училище бросил. Ничего себе, а? Ну дал дружок! Да уж... Хотел позвонить ему, но передумал. Подумал, что Ленька спросит: «А ты что, Гром? Переживаешь? Ну так не переживай, брат! У меня все хорошо».

Однажды пришло письмо от матери:

Здравствуй, Ваня. Как поживаешь? У нас все хорошо. Я здорова, Павлик тоже. Леночка, умница наша, поступила в медицинское училище. Ваня, твоя сестра собирается в Москву – это наш подарок ей на окончание школы. Ни я, ни Леночкин отец поехать не можем – дела. У меня огород, у Павлика служба. А Леночка рвется в столицу. Ну и правильно – ведь там у нее родной брат. Ваня, встреть ее на вокзале и

посели у себя. Думаю, что это несложно – все-таки Леночка тебе сестра. Да и едет она на неделю – всего-то! Денег мы ей собрали, не беспокойся. Траты тебя не коснутся. А вот поводить ее по Москве, по музеям – это только ты, старший брат! Напиши, согласен ли? И пожалуйста, не тяни – нам надо решать с билетами. С ними, сам знаешь, плохо. И каникулы короткие, ей учиться, как ты понимаешь. Заранее тебя благодарю. Мама.

Он крутил письмо в руках и усмехался: «Заранее благодарю». Ну спасибо и на этом! И ни одного вопроса – а может ли он? Не уезжает ли отдыхать – все-таки каникулы. Да и вообще, один короткий и дежурный вопрос – как поживаешь? Ни как в институте, ни как на личном фронте. Ни как здоровье, сынок? Мать. Да какая она ему мать? Вот Леночке этой – мать. Да и черт с ними! Отбросил письмо и решил не отвечать.

Но совесть мучила – даже странно. Помучился пару дней, ну и ответил: «Встречу, свожу, покажу. Пусть приезжает». В конце концов, мать права – Леночка эта дурацкая ему действительно сестра, как ни крути.

Леночку он встречал двадцать пятого декабря. Боялся, что не узнает – видел ее давно. Но узнал, нет, не так – не узнал, а просто понял, что это она. Из вагона вышла высокая, полноватая девушка в темном пальто с серым, пушистым воротником. На голове вязаная шапка непонятного, бурого цвета. В руке коричневый потертый чемодан. Глаза испуганные и растерянные, озирается по сторонам и явно кого-то выглядывает. С первого взгляда видно – провинциалка.

Он выкрикнул:

– Лена?

Она вздрогнула, увидела его и мягко улыбнулась:

– Иван?

Кивнув, он подхватил ее чемодан и со вздохом спросил:

– Ну что? Двинули?

Леночка радостно закивала.

Как ни странно, Леночка эта, его, так сказать, сестра, оказалась вполне симпатичным человеком. Он даже был удивлен – в ту единственную встречу на вокзале она показалась ему капризной и неприятной. Сейчас же она всему искренне восхищалась, всему радовалась и вообще оказалась смешливой и остроумной хохотушкой. Он так боялся ее приезда, так не хотел его, но неожиданно, вдруг, с Леночкой, с его «так сказать, сестрой», ему оказалось легко и весело.

Увидев его запущенную квартиру, Леночка, выпив чаю с дороги, принялась за уборку. Он убежал по делам, а вернувшись, остолбенел:

квартира была не просто чистой – сияла! Висели чистые занавески, блестели пол и кухонные шкафчики, а бабкина люстра сверкала отмытыми плафонами. Но самое главное – запах! В квартире замечательно и ново пахло домашней едой.

Раскрасневшаяся Леночка выглядела усталой. Смущаясь, достала из духовки запеченное мясо с картошкой.

– Где взяла? – изумился он.

– Где, где! С собой привезла! Папка перед моим отъездом поросенка зарезал. Мамка велела, боялась, что я здесь у вас оголодаю. Такая смешная! А я вообще-то хочу похудеть, – нахмурилась Леночка.

Выпили по стакану белого вина, разомлели оба, и пошли разговоры. Говорила в основном Леночка.

О родне – так она назвала родителей – отзывалась коротко, скупно:

– Папка – человек неважный, потому что запойный. Пока в завязке – спокойный и работающий, рукастый. А как начнет заливать, беги со двора. Словно черт вселяется – не мой папка, а бес с рогами. Мамку гоняет, руки распускает. Она от него в сарае прячется.

– Бьет? – изумился Иван. – Да как же так, Лен? Как же так можно? Дикость какая! В конце двадцатого века? А милиция? Ну в конце концов, есть же там у вас власть!

– Власть! – Леночка горестно махнула рукой. – Так все же его дружки, собутыльники. Они что, попрут против него? Да и амбал он – ты ж его видел! А пьяный – вообще полный дурак! Однажды на соседа пошел с колом двухметровым – тот еле укрылся. Кто будет с ним связываться? Вот именно, никто.

– А тебя? – осторожно спросил Иван. – Ну тебя он не...

– Меня – нет! – недослушав, ответила Леночка. – Меня он боится! – И тут же весело рассмеялась: – Я ж и сама здоровая! Как двину! Да знает он, что я его не боюсь!

– Ну а что мать? – тихо спросил Иван. – Почему от него не уходит?

– Не уходит? А куда уходить, Ванечка? Ничего у нее нет – ни кола, ни двора. Да и любит она его. Так любит, что все прощает. А я, Вань, – Леночка оживилась, – в город уехать хочу. В большой город, в нормальный. Нет, не в Москву, конечно, здесь и без меня тесно и умных хватает. В Ленинград, например. – И она мечтательно посмотрела в окно, словно за ним, за этим окном, был вожделенный прекрасный Ленинград. – Правда, – Леночка посмотрела на него и рассмеялась. – Правда, я там никогда не была! А ты был, Вань? Что, не брешут? Красота, говорят!

– Не врут, – улыбнулся он, – красота. Да, был. Правда, давно, лет в

восемь, с бабкой и дедом.

Он вспомнил эту поездку и замолчал. Как он был счастлив тогда! Нет, потряс его, как большинство пацанов, не крейсер «Аврора» – его потрясли музеи. В Русском он замирал, останавливаясь перед полотнами великих – перехватывало дыхание. Вот это искусство! А его каляки-маляки... Да что говорить – стыдоба. Да и вообще там, в Ленинграде, было одно сплошное счастье – гостиница «Октябрьская» с белыми мраморными лестницами и красными коврами дорожками, огромный ресторан, войдя в который, он тут же оробел и расхотел есть. И даже бабка с дедом, как он помнил, в Питере ни разу не поругались.

– Не грусти! – Леночка дернула Ивана за рукав. – А то грудь не будет расти!

Засмеялась Леночка, и улыбнулся он. Пришлось улыбнуться. «Что поделать, – подумал он. – Провинциальная девчонка, откуда ей другого набраться?»

Странно, не мог понять Иван. Его красавец отец и этот красномордый алкаш, вонючий бугай Павлик! Как мать не видела разницы? Просто отца она не любила – вот и весь ответ, все очень просто. Наверняка она мучилась, пыталась приспособиться, приноровиться, а не получилось. И ушла к тому, кого полюбила. И при всем прочем, кажется, счастлива. Да, чудеса... Ну и его, Ивана, не любила, потому что родила от нелюбимого. Интересно, а так бывает и все это ерунда про безусловный материнский инстинкт? Лену она, кажется, обожает – дочь от любимого мужа.

С утра Леночка напекла блинов, достала из чемодана – вот дура, забыла! – литровую банку янтарного меда, и они долго и с удовольствием завтракали и строили планы – была суббота. Отправились на Красную площадь, зашли в ГУМ и съели легендарное мороженое с «шапочкой». Леночка пришла в восторг и попросила вторую порцию:

– Эх, никогда не похудею!

Он видел, как она искренна в своих чувствах и эмоциях, и эта «так сказать, сестра» нравилась ему все больше и больше.

Назавтра были Третьяковка, потом ВДНХ. Он туда не стремился, но Леночка настояла:

– Быть в Москве и не побывать на ВДНХ?

– Ну ладно, поехали. Что с тобой сделаешь!

А там, как ни странно, было совсем неплохо – и погода, как говорится, способствовала: мягкий морозец, наряженные елочки, сверкающие огнями, пестрые конфетти на свежем снегу. Гуляющий праздный народ был весел и возбужден. Приближался любимый праздник

советских людей – Новый год.

Вечером, под чаёк и жареную картошечку с салом, оттуда же, из Ленкиного потертого чемодана, снова пошли разговоры. Леночка осуждала мать.

– Не понимаю, как она так? – искренне удивлялась сестра. – Она же нормальная! Меня вон как любит. Прямо с ума сходит, когда я болею или что еще. А с тобой...

Он видел, что ей неловко, неловко за их общую мать. Успокоил:

– Да не думай об этом! Ну, так получилось. Сначала они с отцом уехали, а бабка с дедом меня не отдали, ну а потом разошлись. Отвыкла она от меня, наверное, так. Да, собственно, и не привыкала, потому что не растила. А мне с бабушкой и с дедом было отлично, не думай! Райская жизнь у меня была в Староконюшенном. И не переживай за меня, не стоит. Я был вполне счастливым ребенком!

Успокаивал, но она долго не могла прийти в себя, сидела грустная и виноватая.

Леночка делилась планами: сначала училище в соседнем поселке – подумаешь, всего полтора часа пешком! Это два года. Ну а потом – институт!

– Я, Ваня, хочу быть врачом. И только хирургом, не смейся!

Да он и не смеялся – почему-то сразу поверил, что у нее все получится.

– Замуж я вряд ли выйду, – грустно вздохнула она.

– Ты что, почему? – удивился Иван. – Откуда такие дурацкие мысли?

Леночка улыбнулась:

– Да посмотри на меня. Вон, толстущая, здоровая! Ручищи какие. – И Леночка вытянула руки, и вправду крупные, широкие, мужеподобные, крестьянские. – А выгляжу как? – продолжила она. – Мне только будет пятнадцать, а меня все за тетку принимают, обращаются «гражданочка». Не девушка, Вань, гражданочка! А пару раз вообще женщиной назвали. Спасибо, хоть не теткой.

Все это было чистой правдой – высокая, полная, рыхловатая Леночка выглядела... не очень, если по-честному. Ну а про возраст... Тоже права. Ей можно было вполне дать и двадцать, и двадцать пять. И даже под тридцать.

Иван принялся горячо убеждать ее в обратном, но она перебила:

– Да будет тебе! Я уж привыкла и не расстраиваюсь. Что тут поделать? Что выросло, как говорится... Эх, вот бы мне в мамку пойти! Так нет ведь – в батю! У него вся родня такая – все здоровые, толстые, высоченные. Гренадеры, богатыри. Ладно, Вань! Не утешай. Зато не буду отвлекаться на

всякие глупости, а буду учиться и стану хорошим врачом! Как думаешь, получится?

– Не сомневаюсь! – горячо заверил ее Иван и душой, надо сказать, не покривил.

* * *

Неделя пробежала так быстро, что, когда настал день Леночкиного отъезда, Иван искренне грустит. Она, мудрая не по годам его почти родная сестра, утешала брата:

– Мы же теперь есть друг у друга? А, Ванечка?

Давно, очень давно его не называли Ванечкой. Да, пожалуй, и никогда! Бабка звала Ванькой, а дед важно – Иваном. Ну или внучком, по настроению.

Уехала Лена под самый Новый год – остаться отказалась:

– Родня, как я их брошу? Не дай бог, папка «забродит», ну и тогда... Нет, я должна быть рядом с мамкой в случае чего, ты понимаешь.

Вернувшись с вокзала, Иван грустит. На праздник, конечно, приглашали – и институтские, и Нинка. Но он отказался – не хотелось ему веселиться, что тут поделать. Сел у старенького «Рекорда», выпил пару бокалов шампанского, съел кусок невозможно сладкого и жирного торта и уснул. Вот и весь праздник. Какое там веселье, когда на душе пустота.

А первого поехал к Нинке. Тоска так хватанула за горло – хоть вешайся. Нинка, конечно, была поддатой – на старые дрожжи. Но резво накрыла стол с остатками «прежней роскоши» – ночью гуляли с «девчонками». Потом завалились и сами «девчонки», Нинкины подружки: Женька из овощного, Тамарка из молочного и Зойка из прачечной. Три несчастные, одинокие бабы, брошенные мужьями. По их утверждению, конечно же, сволочами и алкашней. Да так, наверное, и было: пил русский мужик, пил повсюду.

«Девчонки» веселились – танцевали парами под Нинкины заезженные пластинки, на которых горевали и печалились нежная Кристалинская и бойкая, загадочная и нездешняя Пьеха. О чем-то спорили, перебивали друг друга, вспоминали хорошее и плохое, припоминали застарелые и свежие обиды, ревели, смеялись, снова принимались рыдать, звенели стаканами, снова спорили, цеплялись друг к другу, вредничали, затевали скандал и тут же, с рыданиями, снова мирились.

Это было странное, немного дикое, неестественное и натужное

веселье, от которого становилось еще тоскливее. А к ночи красивая, высокая и длинноногая Зойка попыталась Ивана соблазнить. Он отмахивался, смеялся, а Нинка, верная подруга, засуровела и прогнала Зойку прочь:

– Оставь моего мальчика! И вообще вали отсюда, курва драная!

Обиженная в лучших чувствах и намерениях, Зойка неохотно свалила, не забыв при этом шарахнуть дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка.

Под утро Иван рухнул на Нинкин диван, а подружки все продолжали «гудеть». Как сказала наутро опухшая Нинка, «страшно остановиться, Вань, так все обрыдло». Но утром – сам удивился – ему стало полегче. Впервые показалось, что Катю, свою обиду и боль, он чуть-чуть отпустил. Или она его отпустила.

Он спросил у Нинки про Митрофаныча – видятся ли, общаются?

– Ага, как же! – горько ответила она. – Бабу он привел, сволочь. Молодую, конечно. По правде, Вань, симпатичную. На кой ему я, сам подумай! Старая дура. Это ж я все сама напридумывала, я ж тебе говорю – дура была и дурой осталась! Права была тетя Маруся!

Иван стал часто приезжать к Нинке. Уговаривал бросить пить, но та сопротивлялась:

– А зачем, Вань? Что моя жизнь? Одна тоска. Так хоть легчает.

А через семь лет у Митрофаныча обнаружится рак, и его «молодая и симпатичная» сбежит в тот же день. И Нинка, верная и бестолковая поддавала Нинка Сумалеева, заберет его из больницы, привезет к себе и будет «ходить» и «смотреть» за ним верно и преданно долгих, невыносимо тяжелых восемь лет. За которые она не возьмет в рот ни капли – ни разу! И похоронит его, и горевать будет страшно, захлебываясь в слезах. И на поминках признается Ивану, что эти тяжелые восемь лет были лучшими за всю ее бестолковую и нелепую жизнь.

А после ухода Митрофаныча Нинка снова начнет пить: «А что мне держаться за жизнь, Вань? Жить стало незачем».

* * *

На пятом курсе он почти пришел в себя, боль отступила. Девицы, конечно же, появлялись, но все как-то вяло. Иван всерьез решил, что влюбиться больше не сможет. А надо было решать с трудоустройством – он мечтал о крупных заказах, о серьезной работе, но понимал, что его ждет на

деле, и то в лучшем случае: вечные «кормильцы» – гипсовые Ильичи в провинциальных клубах, пионеры с горнами и девушки с веслом. Детские площадки на окраинах среднерусских городков – с традиционными и надоевшими до тошноты мишками и козликами и неизвестные солдаты на братских могилах при въезде в колхозы или совхозы.

Работу распределял скульптурный комбинат – огромное производство с мощными цехами. Каркасная, формовочный цех, литейная. Туда и поступали заказы, стекались с городов и весей. Но большие, *хорошие*, доставались, конечно, уже именитым. А мелочи вроде него оставались «отбросы», дешевка. Отказываться было нельзя: прослывешь капризным, тебя быстро задвинут и больше заказов не будет. Ну и к тому же человеческий фактор, знакомства: хорошие отношения и подношения чиновникам – словом, блат. Блат решал все.

Заработать можно было и другим способом – наняться подручным к известному мастеру и делать за него все. Именитый только рисовал эскиз. А вся тяжелейшая физическая работа – леса, пластилин, формовка – ложилась на «рабов». Именитый только наблюдал, поправлял – и получал гонорары.

Это была обычная, всем известная практика.

Среди именитых были люди хорошие, невредные, нежадные и некапризные. Были и другие – те, кто выезжал на горбу нищих подмастерьев и платил сущие копейки, да и те с боем.

Иван не хотел уходить в «рабство» и решил действовать законным образом – в конце концов, заказом, пусть мелким и незначительным, его обязаны были обеспечить. Не поленился, поехал на комбинат и достучался до большого начальника. Уговаривал его, убеждал, что справится, не подведет. Не получилось. Расстроенный, долго курил у входа в комбинат, когда из дверей появился бородатый, толстый мужик.

– Гром? – окрикнул его бородатый. – Ванька, ты?

Иван смотрел на бородача и не узнавал. Спустя пару минут дошло – Ленька?

– Ты, Велижанский?

Велижанский захохотал:

– Ну наконец! Ладно, не смущайся! Понимаю – борода и вес. На тридцать кэгэ разнесло! Кто тут узнает?

Да и мальчиком Велижанский был упитанным – розовощекий бутуз, с виду – маменькин сынок. Ленька всегда выглядел старше ровесников. Но чтобы так? Сейчас он выглядел лет на тридцать, не меньше. Солидный дядька с брюшком и намечающейся лысиной.

Закурили, разговорились, и оказалось, что Велижанский здесь на большой должности – конечно, пристроил папаша. Ленька трепался, что Строгановку бросил, потому что разочаровался в искусстве в целом, ну и в частности в себе.

– Халтурить неохота, а гений – это не про меня. Да и вообще, – Ленька хитро прищурился, – здесь совсем неплохо, поверь! Я – царь и бог! Хочу – дам, а хочу – ам!

– И что, нравится? – недобро усмехнулся Иван. – Ну, властвовать и распоряжаться?

– Ага, – беспечно ответил тот. – А что тут плохого? Лучше как ты? С протянутой рукой?

Иван хмыкнул. Ленька все понял, но не обиделся, обидчивым он точно не был, любимая присказка: «Да ладно тебе!»

– Не всем быть творцами! Должен же кто-то и на земле остаться, – философски изрек он.

– Твой выбор, – согласился Иван.

– Ну пойдем ко мне, порешаем? – Велижанский смотрел на него с усмешкой. – Или как? Мы сегодня опять гордые?

– А мы вообще гордые, – нахмурился Иван.

– Да помню. Ладно, пойдем по кофейку. А там посмотрим.

Кабинет у Велижанского был солидный – большой стол, кресло, ковер на полу. Стены в картинах – дары благодарных? В маленьком предбанничке сидела секретарша, которая моментально оценила ситуацию и через пару минут доставила две чашки кофе, сливки и сахар.

– Важная ты птица, Велижанский! – усмехнулся Иван.

Ленька притворно вздохнул и развел руками – дескать, прости, так получилось.

Ленька рассказал, что папашка – а он называл его именно так – от творчества давно отошел и теперь он только чиновник. По-прежнему разъезжает по заграницам и заседает в комиссиях, в том числе и в приемных – забронзовел окончательно и бесповоротно. Рассказал и о том, что мать его умерла два года назад, и, увы, никакие папашкины связи и прочее не помогли. Через три месяца после смерти Ленькиной матери папашка женился – взял молодую, красивую и наглую, как обычно бывает. Ну и пусть мается, старый дурак. Девка эта крутит им, как белка колесо: шубы, бриллианты, машины.

– Да бог с ними, пусть живут, мне-то что? – скривился Ленька. – Папашка меня из квартиры погнал, но на улицу не выбросил, купил кооператив. Так что я, Вань, при личной жилплощади. Правда, свободы,

Ванька, ни-ни, – грустно вздохнул Велижанский. – Я, мудака, рано женился. И уже папаша. Дочка у меня, представляешь? – Казалось, Ленька и сам в это не очень верит.

Иван вспомнил его родителей на выпускном: красавица мать, высокая блондинка на огромных каблуках в невероятном платье, и важный папаша – пузатый, с блестящей, словно надраенной, лысиной. Вспомнил и то, как директор и завуч перед ним лебезили и приседали.

Поговорили о работе...

– Местечко теплое, – сказал Велижанский и посмеялся. – К Ю. ходил? Ну это зря! Он вообще не ку-ку. Надо было сразу ко мне.

Иван смутился и начал оправдываться:

– Откуда я знал, что ты здесь? Думал, что все решает Ю., директор.

Велижанский посмеялся и велел прийти в понедельник – со всеми документами: диплом, фото дипломных работ, ну и паспорт с пропиской. Иван колебался – это называлось «его величество случай», судьба. Но все же было противно. Получалось, что он здесь по блату. И снова Ленька! В училище Ленька и здесь.

Конечно, трепач Ленька свои возможности преувеличил, но в целом не обманул – работу Иван получил. Конечно же, не самостоятельную – из молодых скульпторов сформировалась команда, три человека. Заказ был неплох – панно «Сабантуй» на Казанском мясокомбинате в столовой. Сабантуй, как выяснилось, означало «праздник».

Важным начальственным голосом Ленька вызвал на собеседование к себе в кабинет молодых специалистов. Иван удивился, увидев не только смуглого коренастого парня, но и молодую, симпатичную женщину.

Ничего себе, а? Женщина-скульптор явление не частое. Нет, конечно, есть всем известные имена: Анна Голубкина, Вера Мухина, Камилла Клодель. Из здравствующих – Инге Кинг, Анна Малер, Зинаида Иванова. И все-таки Иван растерялся.

Сидя с ними за одним столом, чувствовал себя немного не в себе – смуглый парень по имени Саид был хорошо знаком с женщиной, которую звали Майей. Они перебрасывались шутками, подкалывая друг друга, а Велижанский, устав изображать из себя босса, спустя минут двадцать подключился к словесному пинг-понгу и тоже ржал во весь голос. Ну а Иван был пока чужаком – молчал, хмурился и никак не мог влиться в веселую компанию. «А они славные, – думал он, – веселые, юморные, задорные. Кажется, доброжелательные. Неужели это все происходит со мной?»

Майя, чернобровая и сероглазая Майя, ему понравилась. Да и она

бросала на него заинтересованные взгляды. И совсем не подкалывала. Сколько ей лет? Тридцать, тридцать пять или больше? У таких красавиц сразу и не поймешь. Смущался, сталкиваясь с ней взглядом. Она, видя это, чуть заметно усмехалась – знала, что красавица, или было смешно, что этот младенец туда же?

Оказалось, что ей почти сорок. Через два месяца отмечали ее день рождения. У красавицы Майи был муж, тоже скульптор, и довольно известный. Он промышлял в Узбекистане и был любимчиком Рашидова, засыпавшего его большими заказами. В Москве появлялся редко, раз в полгода, не чаще. Но мастерская у мужа имелась, хорошая, на Кировской. Там Иван и соавторы и работали.

На Майином юбилее в кафе на Сретенке народу было полно – актеры, художники и прочие представители творческой интеллигенции. Но именно Ивана именинница взяла за руку и вытащила на середину зала. Красный от смущения, он танцевал с ней, осторожно нюхая ее гладкие смоляные волосы, и чувствовал запах ее смуглой кожи и горьковатых духов. Еле сдерживал дрожь – ах, как же ему хотелось провести рукой по ее тонкой и напряженной спине! Конечно же, не посмел.

После банкета ловили такси, усаживались по трое, по четверо. В последнее – я же хозяйка! – всех отправив, села сама юбилярша, и, высунув из окна голову, окликнула Ивана:

– Эй! Давай подвезу!

По счастью, было темно и не видно, что он залился пунцовой краской и, разозлившись, бросил сквозь зубы:

– Я на метро!

– Залезай! – настойчиво повторила она. – Ну что застыл? Какой адрес? Давай, называй!

Он торопливо назвал свой адрес, плюхнулся рядом с ней на заднее сиденье, отодвинулся подальше, мучительно раздумывая, что будет дальше: зачем она это сделала? Может, им по пути? Да нет, он вспомнил, что она живет в центре, кажется, у Киевского вокзала. Тогда зачем? Нет, подумать об этом страшно! Его пробил холодный пот. Он и она? Невозможно.

Майя, отвернувшись, спокойно и равнодушно смотрела в окно. С Иваном она не заговаривала. Машина остановилась у его дома, он медленно вышел, растерянно достал кошелек, думая, как это глупо и по-дурацки, наклонился к открытому окну, чтобы с ней попрощаться.

– Ну? – усмехнулась Майя. – Что встал как вкопанный? Руку давай, руку! Эх ты, кавалер! – И протянула обалдевшему Ивану руку. Накинулись друг на друга они уже в лифте. Так сцепились, что с трудом выбрались из

него. Дрожавшими руками Иван долго не мог отпереть дверь. Войдя в квартиру – нет, не войдя, ворвавшись, – стали срывать друг с друга одежду. Раздался треск – и он понял, что порвал ее нарядное платье – красивое, шелковое синее платье, сшитое к юбилею.

– Наплевать! – хрипло бросила она и обвила его шею руками.

Так начался их роман, протянувшийся почти пять лет. Изнурительный, утомительный, измучивший их обоих. «Не роман – канитель», – говорила Майя. Мучили они друг друга страшно. Сходились и расходились. Ругались, не разговаривали друг с другом неделями. Делали вид, что почти незнакомы. Не здоровались, случайно сталкиваясь в разных местах – на комбинате, в Доме художника или на выставках. Искренне считали, что вот теперь, сейчас, все закончилось, и, слава богу, они наконец расстались. Но снова раздавался звонок в дверь, Иван вздрагивал, холодел и медленно шел открывать, точно зная, что это она.

Она и стояла на пороге – а кто же еще? – бледная, с измученными глазами, с черными от бессонных ночей подглазьями, с плотно сжатыми губами и какой-то просительной, жалкой мольбой во взгляде.

– Ты дома? – облегченно выдыхала она. И тут же усмехалась, фыркала, как кошка: – Ну! Отомри! В дом-топустишь? Тоже мне, гостеприимный хозяин!

Он пускал. И все начиналось по новой.

Майя комплексовала. Как она комплексовала! «Зачем я тебе, старая кляча! Брось меня, к чертовой матери! Не трать на меня время. Тебе нужна девочка, хорошая девочка. Семья, ребятишки. А что тут, со мной? Только теряешь время, Ваня. Брось меня, а?»

Она лежала на его плече – смуглая, словно мулатка, мокрая от пота, узкая, без единого угла, как змея, и гибкая, как змея. Горячая, сумасшедшая, ненасытная.

Иван шептал, что любит ее. Майя, умница, не верила, посмеивалась и отмахивалась, фыркала – глупости, не смей.

– Не любишь – присох. Я все про себя понимаю. И про тебя понимаю – так у тебя в первый раз. Но надо расстаться, надо! Тебе устраивать жизнь, а мне приходится в себя. Иначе подохну.

Когда приезжал Майин важный муж, ничего не менялось – она по-прежнему приезжала в Беляево, только не оставалась ночевать. «Неприлично как-то, – вздыхала она, – хотя он, конечно, все понимает. Да и сам... Я знаю, что там у него баба. Ну да бог с ним, – шептала она, – бог нам судья».

А Ивану было неловко перед этим мужем, но он уговаривал себя –

ему-то какая разница, раз у них так заведено? Но подумывал, если честно, как все это поскорее закончить. Потому что устал. От горячки ее, от темперамента. От ее ненасытности. Понимал, что все это не любовь, нет. Все, что угодно, – испепеляющая животная страсть, горячка, исступление, одержимость, как пишут в любовных романах. Но не любовь. Потому что любовь – это нежность. А здесь было одно сплошное, дикое исступление. А как ему хотелось любви!

Как-то в курилке на Жолтовского услышал разговор:

– Майка Нефедова? О да! Эта любительница, – рассмеялся один, – хотя нет, профессионалка!

– В смысле? – не понял второй.

– До этого дела, – ответил коллега, – ты что, не в курсе? Леонид Сергеич, например, Велижанский. С ним крутила. С Ю. тоже, говорили. И с самим С.! А может, и сплетня. Но я, знаешь, верю, сразу видно – горячая баба.

Иван вздрогнул, но в разговор не вступил. Резко бросил сигарету и вышел из курилки. Ну а при очередном свидании поинтересовался, правда ли, что у нее что-то было с Велижанским.

– Уже донесли? – усмехнулась Майя. – Тебе нужна правда? Ну, было. И что, запрещается? И это, заметь, до тебя! – Привстав на локте, она заглянула Ивану в глаза: – Что, теперь не возьмешь меня замуж?

– Ты вроде замужем, – растерялся он.

– Вроде... Очень точное слово.

* * *

В июне, в день рождения Велижанского, поехали в Раздоры на шашлыки – это было традицией. Имелась там у их коллектива любимая полянка – среди высоких сосен, прямо у речки. Расстелили покрывала, разожгли мангал, женщины хлопотали с посудой, мужики насаживали мясо на шампуры.

Майя появилась внезапно, и не одна – рядом с ней шел высокий, представительный седовласый мужик.

Все замерли и переглянулись. Над поляной повисла неловкая тишина. Не смутилась одна Майя – весело и задорно приветствуя «дорогих коллег». Смутился даже наглец Велижанский, хотя, казалось бы, ему-то что? Иван обалдел, заметался по поляне, разбил банку с маринованными огурцами, ползая по траве, собирал их, извинялся, кому-то наступил на ногу и

собрался было сбежать.

Велижанский прихватил его за локоть и отвел в сторону.

– Чего забегал, как заяц? – усмехнулся он. – Угомонись. Если уж ей по барабану! Возьми себя в руки.

Но праздник был безнадежно испорчен. В голове крутилась одна и та же мысль: «Зачем она это сделала?»

Кстати, этот муж оказался вполне симпатичным и компанейским человеком и очень Ивану понравился. Но чувство стыда и неловкости не пропало – он чувствовал себя жуликом и вором.

На Майю старался не смотреть – и зол был, и раздражен. Зачем она это сделала? Но, случайно столкнувшись взглядом, опешил – она смотрела на него без смущения и даже с интересом, как на подопытного кролика: а как он выкрутится из этой ситуации? Как проявит себя?

Иван здорово разозлился, взял полбутылки вина и пошел в глубь леса. Сел на поваленное дерево и сделал глубокий глоток – стерва. Все они стервы, как ни крути. И его святая Катя – в их числе. Он был здорово пьян и зол – вот, кажется, только тронь его.

Майя нашла его минут через сорок – увидев ее, он вскочил с бревна и побежал. Дурак! Мальчишка! Чуть не плакал от унижения – зачем она это сделала? Хотела, чтобы он заревновал?

Она догнала его, обхватила руками и дотянулась до его рта.

– Ваня, Ванечка! Не бросай меня, умоляю! Я не смогу без тебя! Прости за этот спектакль. Ну дура, не спорю! Хотелось тебя растормошить, что ли! Дура, да! Полная дура! Прости меня, слышишь? Я же жить без тебя не могу!

Иван скинул ее руки и зло рассмеялся:

– А я могу, слышишь? И очень даже могу! И вообще, оставь меня ради бога. Неужели не видишь, что...

– Что? – перебила она.

Он обернулся.

– Да надоела ты мне! Не заметила?

Качаясь и спотыкаясь, он пробирался сквозь чащу, путался в поваленных ветках, падал, порвал рукав куртки, зацепившись за ветку. Колючие еловые лапы хлестали его по лицу, а он все шел, почти бежал, пока не рухнул в бессилии на землю лицом, отплевываясь от еловых иголок.

К своим не вернулся: слышал, как они аукали, кричали, звали его – не отзывался. Проспал пару часов, а потом двинулся на шум электрички. Было уже темно, часы показывали половину восьмого, болело расцарапанное

лицо, ныла ушибленная нога, и невыносимо хотелось пить. Он вышел к какой-то деревне, увидел колонку с водой и чуть не крикнул: «Спасибо, господи!» Пил долго и все никак не мог напиться. Но полегчало, и, шатаясь от усталости, он, спросив дорогу у какой-то бабульки с бидоном, довольно быстро дошел до станции. А через пару часов был уже дома.

Назавтра было воскресенье, и он целый день провалялся в постели. Телефон, по счастью, молчал. В понедельник, смущенный и растерянный, он поехал на Сретенку. Майи там не было, только Саид, но оба сделали вид, что ничего не случилось. И все пошло в рабочем режиме.

Майя на Сретенке не появилась – он слышал, что она позвонила Саиду, и услышал его короткое:

– Поправляйся.

Вопросов Саиду не задавал. Тот тоже молчал.

Ивану Майя не звонила. А через неделю – конечно, об этом все тут же узнали – она позвонила Велижанскому и сказала, что уезжает к мужу в Гулистан: и помощь нужна, да и вообще, семья.

А Иван с Саидом уехали в Казань на монтаж и установку: работа была почти готова. Честно говоря, он был счастлив – избавился, да еще так легко!

Именно тогда пришло письмо от Кати – достав из почтового ящика конверт, он долго не мог понять от кого. Кто мог написать ему из-за границы – в Стране Советов такие конверты и марки не водились. Иван нетерпеливо разорвал конверт, и на пол упала фотография. Он поднял ее, но снова ничего не понял – возле длинной серебристой машины, опершись на капот, стояла молодая женщина в узких коротких брючках, в свободной майке и в больших, на пол-лица, темных очках. Узнал он Катю по волосам – темным, густым, волнистым.

– Нет, невозможно! – прошептал он.

Взбежав по лестнице, он открыл дверь в квартиру, плюхнулся на диван и дрожащими руками развернул полупрозрачный, тонкий, немного хрусткий, голубоватый бумажный лист.

Ваня, здравствуй! Да, это я. Понимаю, как ты удивлен. Но я решила, что должна тебе написать. Для чего? Наверное, чтобы все объяснить. И еще извиниться.

У нас все хорошо. Бабуле наконец сделали операцию, и она в порядке. Мама и папа работают, причем по специальности, что тоже почти чудо.

Я окончила курсы – это было необходимо для полноценной работы здесь, наш диплом не очень-то ценится. Обучилась я на операционную

сестру – это прекрасная и хорошо оплачиваемая работа.

Работаю в National Jewish Health – это довольно большой госпиталь, конечно потрясающе оснащенный, – мечта, просто другая планета. Собираюсь замуж за своего коллегу, врача. Извини, но думаю, что скрывать это не стоит, правда?

Живем мы в пригороде Денвера, конечно квартиру снимаем.

Район зеленый, и у нас нет производств. Америка – прекрасная, свободная страна. Каждый человек, включая нищего или бездомного, пуэрториканца, китайца или черного, чувствует здесь себя уверенно и комфортно. И, как понимаешь, здесь изобилие, такое, что советскому человеку не может и присниться. От продуктов до всего остального.

Нам очень нравится здесь, в этой стране. И это, конечно, было решением правильным и единственно верным – теперь я в этом уверена.

Я понимаю, как ты был обижен моим скорым отъездом и тем, что мы не простились. Но и это было правильно – видеть тебя я тогда не могла, говорить с тобой тоже. У меня бы просто не хватило сил и мужества посмотреть тебе в глаза. Но сейчас, по прошествии времени, я понимаю, как мама была права – во-первых, бабушка и ее здоровье. Во-вторых, все остальное. Тебе, наверное, это сложно понять. Но ты просто поверь мне, и все. Мои родители очень много пережили, им пришлось через многое пройти. И они были вправе распоряжаться не только своей, но и моей судьбой.

Мы с тобой были детьми, неразумными, малыми и глупыми, наивными детьми, вряд ли готовыми к взрослой жизни. Думаю, теперь, когда все успокоилось и все обиды забыты, ты с этим согласишься. Что бы у нас получилось? Как бы мы выжили? Да еще и ребенок!

Все, хватит об этом. У всех новая жизнь – и у тебя, и у меня. Значит, такая судьба. Но я ни о чем не жалею – я тебя очень любила. Надеюсь, ты меня тоже.

Но извиниться перед тобой все же хочу, понимая, как некрасиво все тогда вышло. Но мне было так плохо, что я вообще мало что понимала. Не сердись! Значит, так было надо.

Мне очень хочется знать, как ты и что. Как у тебя все сложилось? Я почти уверена, что ты мне не ответишь, и я на тебя не обижусь, ей-богу, ты имеешь на это полное право.

Ваня! Еще раз прости меня и не держи зла на мою семью. Обнять и поцеловать тебя, даже в письме, я не решаюсь.

Просто желаю тебе всего самого лучшего! Будь счастлив.

Катя

Он перечитал письмо тысячу раз. Снова и снова разглядывал фотографию. Нашел увеличительное стекло, с которым почти ослепшая бабка читала газеты. Но даже через стекло ничего не разглядел – Катя на фото была мелкой, отдаленной. Да еще эти очки, закрывающие пол-лица. Ничего не разобрать – один силуэт. Наверное, так оно и лучше? Он не видит ее глаза. Смотреть в них было бы невыносимо. Перед ним не его Катя – перед ним чужая женщина, иностранка. К тому же чужая невеста.

Зачем она написала ему? Мучила совесть? Да столько лет прошло! Похвасталась? Но это совсем не в ее стиле. Хотя... Что он знает про нее теперешнюю? Теперешнюю Катю, чужую, незнакомую?

Иван крутил в руке фотографию. Порвать вместе с письмом? Чтобы больше никогда не вспоминать? Он положил письмо и фотографию обратно в конверт и засунул в старую обувную коробку, где хранились старые бабкины письма от ее подруги из Вязьмы и от его отца. Он знал, что никогда не станет их перечитывать – писались они не ему. Получается, что хранить незачем? Но выбросить их он не мог. Это была часть жизни его семьи.

И это письмо выбросить он не смог – это тоже была часть его жизни. А часть жизни, ее кусок, вырезать, сжечь, уничтожить и выбросить нельзя, все равно не получится.

Слухи и разговоры про Майю скоро затихли.

И больше ни разу Иван не услышал ее – чему, надо сказать, был несказанно рад.

А с Велижанским снова образовалась дружба. Они часто встречались и шли посидеть. Денег у Леньки было полно, человеком он был широким и в кабаке норовил расплатиться за обоих. Но Иван не позволял. Поставил условие: раз – ты, второй – я. Точка. Ленька обреченно махнул рукой:

– Черт с тобой. Как был дураком, так и остался.

Любили «Риони» на Арбате – низкие стулья, легкий запах дымка от шашлыка. В те годы «Риони» была знаменитой шашлычной. В плотно накуренном зале в основном сидели мужики – женщины такие места предпочитали не посещать.

Заказывали по двести граммов, брали четыре палки свиного шашлыка и болтали обо всем. Точнее, болтал в основном Велижанский.

Крепко поддав, шли по Садовому. Вспоминали юность, школу. Пьяненький Ленька был сентиментален и над воспоминаниями любил всплакнуть. Домой он не спешил – ребенок, крики, пеленки, сбежавшее молоко. О жене Маше говорил тепло и уважительно. Но баб не пропускал –

Велижанский всегда был бабником и гулякой. Ивану торопиться было некуда – его, в отличие от Леньки, дома никто не ждал.

На ноябрьские Велижанский предложил поехать в Ленинград: собирались большой мужской компанией, а вышло три человека – он, Велижанский и Петя Синицын. Кто-то разболелся – погода, как всегда в ноябре, стояла отвратная, – кто-то не смог по семейным делам, кого-то не отпустила жена. Словом, компания распадалась на глазах и уменьшилась до скромных трех человек.

Маша, жена Велижанского, была на шестом месяце – снова ждали прибавления семейства. «Велижанский – гигант! – думал Иван. – Работа, семья, любовницы. Ленька успевает везде. Толстый, здоровый, а шустрый!» И еще почти перед самыми родами умудрился отпроситься у Маши на праздники в Ленинград: «глотнуть воздуха свободы перед тяжелым погружением на дно».

Петя Синицын, холостой, скромный аспирант, обычный очкарик, увлеченный наукой и, кажется, больше ничем, был старым приятелем Велижанского, дальним родственником со стороны жены Маши. Жил Петя с мамой, сыном был нежным и трепетным, и мама заворачивала сыну на работу котлеты и бутерброды.

«Ну и отлично, – подумал Иван, – в небольшой компании даже лучше! А то кто в лес, кто по дрова».

Велижанский заранее снял какую-то ведомственную гостиницу – не бог весть что, но хоть не в спальном районе. Там неожиданно оказалось вполне чистенько и приятно.

Ехали «Красной стрелой», ночным. Ленинград привычно встретил дождем, а к полудню повалил мокрый ноябрьский снег. Мотались по Невскому, заходили в кафе погреться – то чаем, то водочкой. А то и коньячком. Хорошо поддавшие, рванули в Русский, встали в длиннющую, зябнущую под мокрым снегом очередь и все шутили о высокой и непреодолимой тяге советского народа к искусству. И никакие природные катаклизмы не могут эту тягу отменить.

Перед ними стояла стайка девчонок, наверняка студенток, человек пять, тоже продрогших до самых костей. Но и они, углядев троих поддатых мужчин, распушили хвосты и отпускали остроты. Над Ленькиными шуточками прыскали, притворно вздыхали, закатывали глазки – в общем, кадрились. А отец семейства Велижанский в очередной раз удивил своей прытью – он-то определенно старался больше всех. Петя Синицын шмыгал красным, мокрым носом, стеснительно отводил взгляд, дивился на разошедшегося приятеля и с опаской украдкой поглядывал на девиц. Было

понятно, что бедного Петю мучит одно желание – поскорее свалить. Разглядеть девчонок было сложно: поднятые воротники пальто и курток, платки, а кому повезло – капюшоны.

Наконец почти влетели в музей. Негнущимися пальцами долго возились с неподатливыми пуговицами, смущенно сморкались, притоптывали озябшими ногами и теперь, уже раздетые и причесанные, с интересом разглядывали друг друга.

– Ну что? – осведомился повеселевший Велижанский. – Рванули?

– Куда? – язвительно уточнила одна из девиц.

Иван про себя назвал ее «беленькая» – волосы у нее и вправду были белыми, как лунь или лён.

– Как куда? – широко улыбнулся записной бонвиван. – Конечно в буфет!

Девицы испуганно переглянулись, покачали головами, и только одна, в красном платье и с красной лентой в красивых рыжеватых волосах, оглядев их компанию, усмехнулась:

– А почему бы и нет? Лично я страшно проголодалась. И кстати! – улыбнулась она. – Будем знакомы! – И, протянув Ивану руку, широко улыбнулась: – Ника.

Он перехватил удивленный взгляд Велижанского. «Надо же, – читалось во взгляде, – а я так старался!»

И был буфет с шампанским, от которого девицы покраснелись и загомонили, и эклеры, и вазочка с немислимо дорогим виноградом – Велижанский гулял, производил впечатление. Казалось бы, все забыли о цели визита, но тут все тот же Велижанский оборвал веселье.

– Ну? – Он суровым взглядом окинул случайную компанию. – Хлеба довольно. Теперь будут зрелища.

Всем почему-то стало неловко, и с неохотой они потянулись за Ленькой. Он, разумеется, шел впереди.

Ах, как блистал Велижанский, как блистал! Иван в который раз удивился разносторонности Ленькиных талантов. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Нет, все понятно – художники. Но чтобы так глубоко? Пожалуй, Иван не знал столько. Петя не сводил глаз с тихой и незаметной Оленьки – а там, честно говоря, и взгляду-то зацепиться было не за что.

Третья девица, длинноногая и пугливая Жанна, шла чуть поодаль, дистанцируясь от шумной компании.

«Беленькая» – ее звали Светой – встретила знакомую и от компании оторвалась. Невелика потеря.

А Велижанский своей повышенной активностью и глубокими

познаниями скоро стал здорово раздражать. Так было всегда – Ленька тянул на себя одеяло. Он и в школе был такой: не дай бог оказаться не в центре внимания или на вторых ролях – это не проходило. Раздражение накопилось, и в какой-то момент, перехватив восхищенный взгляд рыжей Ники, вступил и Иван.

Велижанский все понял. «Ну-ну! – читалось в его взгляде. – Ну попробуй! Только вряд ли, дружище. Куда тебе до меня?»

Вряд ли или нет, но даже пугливая Жанна, следующая за ними, приблизилась к Ивану почти вплотную, и он, как павлин, распустил пышный хвост.

Нехотя, с усмешкой и скептической миной, Ленька чуть приотстал, но пальму первенства так просто отдавать не собирался. Рыжая Ника, пылая щеками, отступила за Ленькой. Иван тут же все понял, расстроился и поймал на себе торжествующий взгляд Велижанского. Тот, сволочь, пошутовски развел руками: «Дескать, не обессудь!»

После музея была пельменная на Владимирском. Пол-литра водки для «сугрева», полуразваренные пельмени, острый запах уксуса, запотевшие стекла кафешки и Петечкиных очков, молчаливая, по-прежнему перепуганная носастая Жанна и красный от робости Петечка, не сводящий с Олечки глаз. К честной компании по-прежнему прилагался невозможно болтливый и невозможно остроумный Велижанский. Просто искрил – как порванный электрокабель. Ну и рыжая Ника, тонкая, томная, бледная, невозможно красивая и задумчивая, бросающая затуманенные взгляды на Леньку. С ними, кажется, все было ясно.

После пельменной топтались на улице – осмелевший от выпитого, но по-прежнему смущенный Петечка не выпускал руки растерянной Олечки.

Жанна, уставившись в темную витрину продуктового магазина, кажется, ждала предложений.

А Велижанский, лениво позевывая, устало и безразлично интересовался «дальнейшими планами», обращаясь, конечно, конкретно к Нике. Та приняла наконец жизненно важное и судьбоносное решение, подошла к кромке тротуара – по Питерскому поребрику – и подняла руку. Велижанский восторженно, ободрился и тут же забыл об усталости:

– Вань! Ну, мы... в общем, ты понял!

Ника отвела глаза. Иван криво усмехнулся:

– Да понял, не дурак.

И тут подумал, что Майю Ленька ему не простил.

Смущенно попрощались с Петечкой и Олечкой.

– Провожу и вернусь, – пообещал покрасневший Петечка.

– Желаю тебе не вернуться, – улыбнулся Иван.

И обернулся к птице-Жанне:

– Ну а тебе-то куда?

– Я на метро, – испуганно ответила она. – Если ты, конечно, не возражаешь.

– Не возражаю. – Иван, не оборачиваясь, пошел по улице.

Два последних дня он провел в гордом одиночестве – ни Велижанский, ни Петечка так и не появились. «Ну и черт с вами, – обиженно думал он. – «Проведем вместе праздники, повеселимся!» Тоже мне, друзья!» «Нас на бабу променял», – вспомнились слова народной песни. В который раз подивился Ленкиной прыти. А за Петечку, кстати, был искренне рад. И время провел неплохо – Эрмитаж, снова Русский, Павловск, Ораниенбаум, Мойка, 12. Да и просто от души пошлялся по городу. И черт с ней, с погодой. Ленинград ничем не испортить.

* * *

До поезда оставалось всего-то пару часов, и Иван раздумывал, что делать с вещами своих ненадежных друзей. Но за полтора часа до поезда в комнату влетел растерзанный и расхристаный Петечка, побросав в чемодан свои вещи, запыхавшись, плюхнулся на кровать и наконец посмотрел на Ивана. Смутился еще больше и, протирая очки, пробормотал:

– Прости, Вань. Так получилось.

Иван улыбнулся:

– Бывает!

Велижанский так и не появился – ни в гостинице, ни на вокзале. Да и ладно, решили приятели. Но какая же все-таки сволочь! Гульнул, с кем не бывает? Но чтобы так откровенно? И это при беременной-то жене? В голове не укладывалось. Растеряны были оба. Но не обсуждали – не по-мужски как-то, не по-товарищески.

А Петечка, встретил, как оказалось, свою судьбу: устав от еженедельных полугодовых мотаний в Ленинград, он в марте женился на Олечке. Молодая жена с радостью перевелась на заочный и переехала к мужу в Москву. Жили в Кузьминках с Петечкиной мамой, в крошечной двухкомнатной квартирке. Жили мирно и счастливо. Через год Олечка родила Петечке сына. Через три года – второго.

В те годы бывал Иван у Синицыных часто – и на днях рождения мальчишек, и на днях рождения Олечки и Петьки. И видел, да этого и не

скроешь: счастливы были Синицыны, невзирая на скромную обстановку, на страшную тесноту, на жизнь со свекровью, на почти нищету – Олечка сидела дома с вечно болеющими парнями, работал один Петька. А какая зарплата в научном институте? Вот именно.

А вот у Леньки все было непросто. Впрочем, Велижанский легких путей не искал. С прекрасной Никой все оказалось «серьезно, и более чем», по его же словам. Кажется, так, скорее всего, и было – впервые Иван видел озабоченного, хмурого и растерянного Велижанского. Было заметно, что Ленька страдает – если вообще такое возможно. Оказалось, возможно, как ни смешно. Пару раз в месяц Ленька мотался в Питер. А дома ждала терпеливая Маша с тремя детьми. Ждала и молчала. А через два года беспрерывных мотаний незадачливого папаши и блудного мужа родила и красавица Ника – и тоже, представьте, девку! «Четвертая девка! – искренне возмущался многодетный отец. – Нет, ну как это возможно? – до слез расстраивался Ленька. – Они что, все специально?»

Ника, естественно, знала про Машу и Ленькиных дочек. Маша, конечно, узнала про Нику, такое не скроешь. И обе терпеливо молчали и ждали – когда же? Когда он примет решение? Когда наконец определится, расставит все точки над «i»? Получалось, что никогда, все так и продолжалось.

– Как я брошу жену и троих детей? – возмущался Ленька. – Я что, подлец? И Нику не брошу – и там мое семя!

В конце концов все с этим смирились. Что поделать – жизнь сложная штука, и не всегда ее замысловатые зигзаги совпадают с нашими желаниями. Так и жили: Ленька мотался в Питер, а его женщины – жены, как он их называл, – растили детей. Впрочем, и он не отстранялся: всех своих отпрысков любил с одинаковой силой – и Машиных дочек, и Никину девочку. Всех – конечно, по очереди – вывозил на моря закалять. Сначала на месяц Машу с детьми, а потом наступало время «ленинградских» – так называл ту семью Ленька: «мои ленинградские и мои московские».

К слову, дом он снимал обеим семьям один и тот же – на сезон получалось дешевле. И обе жены об этом знали. Маша оставляла привезенные из дома кастрюли и полотенца – что Нике возить лишнее? А Ника с благодарностью принимала заботу «старшей» жены.

Иногда к ним срывался и Велижанский – погреть пузо и пообщаться с отпрысками. На недельку, не больше. В Москве ждала работа – семьи надлежало кормить.

С годами он посуровел, почти перестал шутить и остроумничать, здорово похудел, и беспечное прежде выражение его лица стало хмурым, с

вечно сведенными от забот бровями, словно он наконец понял: жизнь, она, знаете ли, не фунт изюму.

Позже, уже живя в Ленинграде – ох, этот город, все они влипли в него, пусть по-разному, но влипли, как ни крути, – Иван, приезжая в столицу, всегда звонил Велижанскому. Тот, надо сказать, как бы ни был занят, во встречах старому другу никогда не отказывал. Наверное, и для Леньки это была отдушина – вырваться на пару часов, посидеть в «Жигулях» под пиво, воблочку и соленые сушки, потрындеть о жизни и поплакаться друг другу в жилетку.

А было над чем.

Да! Когда Иван уже стал ленинградцем, по просьбе Леньки часто бывал у Ники: привозил то продукты, то лекарства, таскал картошку, носил в прачечную белье. Вывозил их на дачу в Парголово, где жила Никина тетка. Словом, опекал женщину друга. Нормально. Ника была сиротой, и он понимал ее как никто. Понимал и жалел.

Но каждый раз, приходя к Нике, не переставал удивляться – и умница, и красавица, а судьбу себе выбрала незавидную: младшая жена, любовница с незаконным ребенком. А Ника была весела и беспечна. Неужели ее все устраивает? Непостижимо.

Любовь?

А его дружок Ленька, этот придурок Велижанский, вздыхая, шутил: «Если б я был султан!» И кажется, на полном серьезе уточнял: «А что тут такого? Бывает. Не зря же у мусульман многоженство законно. Обоих люблю: Машку – любовью братской и дружеской, а Нику... – Ленька томно вздыхал. – Ника моя непроходящая страсть».

Как-то снова всколыхнулись разговоры о Майе. По слухам, она вроде все же ушла от своего известного мужа и вышла замуж за местного бая-узбека, богатого, как Крез. Живет в замке, где у нее есть даже прислуга, приняла мусульманство и стала покорной восточной женой.

Верилось в это с трудом – Майя и покорность? Смешно.

* * *

Спустя довольно много лет, когда Иван жил уже в Ленинграде, который к тому времени стал Питером, еще до всех страшных, перевернувших его и так беспокойную жизнь событий, на Полюстровском рынке случайно он встретил Борьку Семенова, бывшего коллегу по московскому комбинату.

На рынке остро пахло свежими огурцами – по Неве пошла корюшка. Первая и самая дорогая была Ивану не по карману – кажется, забежал он за творогом. И тут его окликнули. Борьку Иван узнал не сразу. Тот потолстел, раздался в плечах, украсил себя кокетливой пижонской шкиперской бородкой, да и одет был пижоном – кожаный бордовый пиджак, джинсовая рубашка на металлических кнопках. Удивился – Семенов всегда был скромнягой, середняком, любил поныть и поприбедняться.

Было видно, что Борька рад встрече – ведь и было чем хвастануть. Служил он теперь в крупном издательстве, выпускающем экспортные календари с молодыми актрисками в соболях и чернобурках и огромными, как кубки, хрустальными вазами с черной икрой и знаменитыми якутскими бриллиантами.

Словно невзначай, Борька обмолвился и про командировки.

– Вот, – словно извиняясь, сказал он, – только из Праги. Ну и город, скажу я тебе! Не город – волшебная сказка.

После красочных рассказов – о себе:

– Женат, а как же. Жена красавица, Ладой зовут, представляешь? – Это было подчеркнуто: не просто красавица, а еще и Лада. Все не просто так было у Борьки, это понятно. Лада жена и «Лада» машина. – Третья модель, цвет – серый металлик, прикинь? – Борька замолчал, ожидая реакции.

Иван с трудом выдавил:

– О, поздравляю!

Подбодрившись, Борька с воодушевлением подхватился дальше:

– Кооперативная хата, дача. Дача тестя, врать не буду. Детей пока нет, но планируем. А пока живем для себя. В отпуск, кстати, ездили на Золотые Пески.

«Ну и дурак!» – подумал Иван. Все эти «кстати», «ну как тебе» и «прикинь» его здорово утомили. Можно подумать, что все эти «прелести» являлись достижениями самого Борьки. Но преподнесено это было именно так.

– А как у тебя? – вяло спросил Борька, не ожидая услышать ничего хорошего, по виду же все сразу понятно. К тому же он был не из тех, кого интересовала чужая жизнь – здесь он сразу терял интерес.

– Нормально, – отозвался Иван. – А будет еще лучше.

Этим и было все сказано. Но вряд ли Семенов понял – он всегда был туповат.

Уже прощались, как Борька вспомнил, оживился, и в его хитрых заплывших глазках зажегся огонек.

– Кстати!

Опять это «кстати». «Что еще не рассказал, чем еще не хвастанул?» – с тоской подумал Иван.

Но оказалось все грустно. Последнее «кстати» было ужасным – Борька поведал, что Майя покончила с собой.

– Как? – Иван вскрикнул, и на них обернулись. – Ты что? Как такое возможно?

Борька расправил плечи и скорбно вздохнул:

– Как, как? Жизнь, Ваня! Жизнь. – Он всем видом пытался продемонстрировать наличие жизненного опыта и искушенности. – Вот так! Надела шубку с капюшоном. Сам понимаешь для чего. И шагнула в окно.

– Господи, да не может быть! – бормотал ошарашенный Иван. – Она так любила жизнь! Так ценила свои... удовольствия! Да она вся была сама жизнь! Нет, невозможно!

Но Борьке уже наскучило говорить на невеселую тему, и он, не скрывая раздражения и тоски, вяло зевнул и посмотрел на часы.

– Ценила, любила. А потом, видать, разлюбила! К мужу приперлась, а там у него семья и дети, кажется, двое. А она-то родить ему не смогла. Так вот, – Борька снова зевнул, – посмотрела она на эту семейку – и тю-тю обратно в Москву. Приехала домой – и вот. «Смысла в жизни больше не вижу, – так в записке посмертной и написала. – Винить в моей смерти некого, но все меня предали». В общем, что-то вроде того, – скучающе повторил он и тут же оживился: – А у тебя с ней ведь было, а? Помню, помню! – И пригрозил шутливо пальцем.

Иван не ответил, скупно кивнул и бросил:

– Пока! Счастливо тебе.

И, позабыв про творог, быстро зашагал к выходу.

Отойдя на приличное расстояние – не дай бог снова нарваться на этого везунчика и хвастуна, – сел на скамейку и дрожащими пальцами достал сигарету.

На душе было тошно. Майя, Майя! Что ты наделала? Нет, все можно понять! Но чтобы так? Что за жизнь? Почему?

Погано было на сердце, чувствовал и свою вину. А впрочем, чем он виноват? Мальчишка, совсем зеленый пацан. Все сделала она и только она. А он, да, согласился. А как от такого откажешься? Но утешения не помогли – долго еще было тошно. Ну а потом... Потом все, конечно, забылось. Теперь была сегодняшняя жизнь. Что вспоминать прошлую?

Ленинград

И снова Ленинград. В тот год, когда Иван встретил Алену, ему показалось, этот прекрасный, величественный, хмурый и дождливый город стал и его судьбой. А ведь познакомился он с ней в Москве. Как говорится, свела судьба.

Это был май, зеленый и юный, пахнувший молодой свежей зеленью, такой долгожданный после долгой, снежной зимы. Замученный городской люд в первые теплые выходные с радостью вывалился на улицы и площади, оккупировал парки и близлежащие лесные массивы, и отовсюду неслись запахи угля и жареного мяса, перебивающие сладкие ароматы черемухи и цветущей липы.

Был выходной, воскресенье, и Иван бесцельно шатался по центру, шел по бульварам – Рождественскому, Страстному, Тверскому.

У кинотеатра «Россия» купил мороженое и с радостью плюхнулся на скамейку напротив бронзового Александра Сергеевича.

Мимо него не шла – валила – густая толпа. В «России» показывали новый фильм. В кассе, конечно, билетов не было. В кино между тем хотелось, и Иван подумал о лишнем билетике, хотя шансов, что повезет, было не много: толпа страждущих караулила свое зыбкое везенье у входа.

На соседней скамейке сидела девушка в белом платье – тоненькая, хрупкая, в больших, на пол-лица, темных очках. Он посмотрел на нее и удивился: надо же, какие волосы! И вправду, волосы у нее были удивительные – светло-русые, блестящие, с переливом, заплетенные в тугую, даже на вид тяжелую косу. Такие волосы, а уж коса и подавно, теперь были большой редкостью. Девицы безжалостно отрезали длинные волосы – в моду входили короткие стрижки.

Девушка в белом – так Иван ее обозначил – обернулась и посмотрела на него, но тут же поджала губы и отвернулась.

«Все понятно, – решил он, – ждет кавалера. Интересно, какого цвета у нее глаза? Наверное, голубые. Ну или серые – у пепельных блондинок глаза всегда светлые». Он доел мороженое, но со скамейки не встал – ему, совсем не любопытному, стало очень интересно, кого ждет девушка в белом. Но к ней никто не торопился – она заметно нервничала, поглядывала на часы, громко вздыхала и оглядывалась, выискивая кого-то в толпе.

Он, стараясь быть незаметным, продолжал рассматривать ее. Вдруг она резко встала, нервно одернула платье и подошла к нему.

– Послушайте! – Тон был резкий и требовательный. – У вас двушка есть позвонить? А лучше две или три, автоматы глотают как удавы! – И вдруг ее лицо искривилось, и она горько всхлипнула.

«Ну все понятно! Парень коварно ее обманул и не пришел, а теперь она хочет достать его по телефону. Ни чести, ни гордости – ну не пришел, наколол, чего звонить-то, бегать за ним? А ведь такая красotka!»

– У вас что-то случилось? – усмехнулся Иван. – Что, кавалер не пришел?

Девушка замерла и сняла очки. Глаза у нее были черными, вот чудеса! Не карими, а именно черными, как южная ночь. В них почти растворился зрачок.

– Да как вы... – Она задохнулась от его наглости. – Да что вы себе позволяете? Как вы вообще смее! Какой кавалер? Какой «не пришел»? Да стала бы я! – Резко развернувшись и гордо и обиженно вскинув голову, она быстро пошла вперед.

– Эй! Подождите! – крикнул Иван и бросился за ней. – Послушайте! Да я не хотел вас обидеть! И в мыслях не было, честное слово!

Она обернулась.

– Да что вы вообще знаете! – всхлипнула девушка, и слезы брызнули из ее глаз. – У меня сумку порезали, видите! – Она потрясла большой коричневой сумкой-баулом. – В метро разрезали, гады! Все увели – кошелек, билет, паспорт! Все! Я не москвичка, из Ленинграда. Мне уезжать! А как, не подскажете?

Он обескураженно молчал.

– Вот и вы не понимаете! – обиженно сказала она. – И я тоже. Подруга должна была выручить, деньги подвезти. А не приехала... – И девушка горько расплакалась.

– Да мы вообще о чем? – пришел в себя Иван. – Подумаешь, деньги сперли! Это Москва, много тут разного люда, увы! Но все поправимо. Сейчас заявим в милицию. Паспорт, кстати, могут подкинуть – на черта им паспорт? Почти всегда выкидывают, честно! А деньги? Смешно! Сейчас поедem ко мне, у меня вы и переночуете. А завтра купим билет – и домой! Здравствуй, город на Неве! – Он тараторил все это быстро, боясь, что девушка в белом пошлет его куда подальше, покрутит пальцем у виска и гордо пойдет прочь.

Но она молчала, внимательно разглядывая его, словно прикидывая, можно ли иметь с этим придурком дело.

Нет, с виду вроде приличный парень. А там – кто знает? Сам ведь сказал – в столице полно всякого сброду. Наконец приняв решение –

выхода-то не было, – девушка в белом заключила:

– Ночевать я у вас не останусь – на вокзале переночую. А деньги на билет возьму. В долг, разумеется! А как приеду домой – тут же вышлю! – И протянула ему изящную узкую руку: – Алена.

Иван почему-то страшно обрадовался, что она согласилась:

– Иван. Иван Громов.

Вошли в метро и поехали к нему, в Беляево. Оказалось, что она из Ленинграда, студентка консерватории имени Римского-Корсакова, пианистка. Живет с мамой и братом – отца нет в их жизни давно. Живет в центре, на Красной, бывшей Галерной, знаете? Мама с братом в большой комнате, она в закутке.

– Как в закутке? – рассмеялся Иван. – В каком смысле?

– В самом прямом, – ответила Алена. – Раньше в нем хранили кухонную утварь и всякую дрянь. Кладовка, одним словом. Ну, или подсобка. Ну а потом комнатка образовалась. Без окна, разумеется. Вот там я и живу.

«Чудеса, – подумал он, – она в кладовке, а я, как барин, в собственной квартире».

Зашли в отделение, написали заявление. Но по кислому виду дежурного поняли, что это артель «Напрасный труд», ничего, конечно, не найдут. Счастье, если подкинут паспорт.

По дороге домой Иван соображал, чем накормить случайную гостью. В морозилке болталась пачка пельменей, кажется, завалялись кусок российского сыра, бутылка молока и пара яиц. Нет, не пойдет! Ладно, зайдем в магазин. Там им повезло – полкило окорока, банка шпрот и вафельный торт. Уже пир! А бутылка вина у него имелась в заглазнике – неплохого, кстати, сладковатого венгерского «Токая», девушки его любят.

– А кто у тебя дома? – с опаской спросила Алена при выходе из магазина.

– Никого. Я живу один. Мать с отцом развелись, у них свои семьи, мать под Ижевском, а отец еще дальше, в Сибири. Но ты не бойся, – испугался он, – я устрою тебя и уйду. Так что ни о какой ночевке на вокзале и речи быть не может.

– Уйдешь? А куда? – недоверчиво поинтересовалась она.

– Да к соседке! – быстро ответил Иван. – Делов-то с копейку!

– Молодая? – хитро улыбнулась Алена.

– Кто? – не сразу понял он. – А, в смысле соседка? Ага, молодая! Лет под шестьдесят, не меньше. Бабой Вале́й зовут.

И они засмеялись.

«Кажется, лед растоплен, – подумал он. – Только куда мне пойти? Нет, соседка баба Валя была персонажем реальным, жила в квартире напротив. Только вот попроситься к ней ночевать? Цирк с конями, ей-богу», – Иван улыбнулся, представив лицо бабы Вали, когда он попросится на ночь.

Но к соседке идти не пришлось.

Наспех поужинали, вспомнили, что забыли про хлеб, посмеялись: окорок и шпроты без хлеба – нонсенс. Но ничего, проглотили. Выпили и вина, закусывали тортом. Он что-то рассказывал, пытаясь быть остроумным, болтал без умолку, а Алена молчала, слушала внимательно. Тщательно разглядывая, словно прикидывая что-то, известное только ей. Недоверчиво улыбалась, фыркала в ответ на его глупые шутки, о себе почти ничего не говорила – отделялась короткими, ничего не значащими фразами, гасила зевки, пока до него наконец – вот ведь болван! – не дошло, что она очень устала. Такой жуткий день, такой стресс. Засуетился, приготовил ей постель, по счастью нашелся комплект чистого, хоть и неглаженного белья. Собрался было уходить, но она остановила его:

– Куда ты? Надо же, какое благородство! И все ты наврал про свою бабу Валю! А врать ты, Иван, не умеешь. Надувной матрас у тебя есть? – деловито спросила она.

Он растерянно кивнул.

– Ну и отлично! – бодро ответила она. – Ляжешь на кухне! На матрас – одеяло! Найдется?

Он снова кивнул.

– Ну и стелись! – приказала она.

Ворочаясь на неудобном и жестком ложе, Иван думал о том, как ему нравится эта Алена, эта девушка с косой, невозможно густой косой. Подумал: «А если распустит?» Вспомнился штамп из невесты когда прочитанной книги: «И ее волосы водопадом хлынут на узкую и красивую спину». Смешно. Так он и уснул. Проснулся от стука в дверь.

– Эй! – тихо позвала Алена. – Можно к тебе? Очень хочется пить!

Он вскочил – господи, трусы! Натянул на себя простыню и пробормотал:

– Да, да, заходи!

Она зашла, и он увидел этот самый водопад волос, все именно так, как он представлял: золотистые волосы покрывали ее узкие плечи и спину.

– Тебе чай или воду? – смущенно буркнул Иван.

– Воду, – ответила Алена и присела на табуретку.

Он открыл кран, подождал, пока вода сольется, – так его учила бабка: первую слить, а дальше будет прохладней и чище, – набрал полную кружку

и обернулся к ней:

– Пойдет?

Алена кивнула.

– Прости, что разбудила. А мне не спится. Наверное, новое место.

Он промолчал, не понимая, что отвечать.

– И холодно как-то, – добавила она. – У тебя нет еще одеяла?

– Возьми мое, – сообразил он.

– А ты?

– А я... – он задумался. – Да разберусь, курткой прикроюсь.

– Несправедливо, – сказала она, – ты хозяин, а я тебя с законного места выгнала да еще забрала одеяло! Нет, так не пойдет!

– А как... пойдет?

Она встала, подхватила его одеяло и пошла в комнату.

Сонный и окончательно обалдевший, Иван растерянно стоял посреди кухни и раздумывал, что ему делать.

– Эй! – крикнула она. – Ты где там застрял?

Стряхнув морок и поправив простыню, сползающую с бедер, Иван медленно пошел в комнату. Алена деловито поправляла постель и расстилала второе одеяло, а он стоял на пороге, не решаясь войти в собственную комнату.

Она обернулась:

– Ну? Что ты там?

Он шагнул вперед. Еще пара шагов – и он у кровати.

Алена задумчиво разглядывала постель.

– Кажется, зря я второе одеяло взяла. А? – Она посмотрела на Ивана, словно советуясь. Взгляд ее был серьезен. – Зачем нам оно, правда? Теперь мы и так не замерзнем.

Он кивнул и сел на кровать. Она деловито и тщательно расправила складки на простыне и улеглась. Он положил руку ей на плечо. Плечо и вправду было прохладным.

«И что это я? – подумал он. – Трясусь, как восьмиклассник». Она взяла его руку и положила себе на грудь. Он лег рядом.

Она повернулась к нему и шепнула:

– Ну что с тобой, а? Я же замерзла! – И рассмеялась дробным, коротким, загадочным, ведьминским смешком. – Иди ко мне! Я же сказала – замерзла, – капризно и требовательно повторила она.

Той ночью он понял, что влюбился. Впервые после Кати. И кажется, эта история затмила ту, прежнюю, горькую и до недавнего времени все еще страшно болезненную. Все, кажется, закончилось. Клин клином. Алена

была прекрасна. А утром она снова подтрунивала над ним, посмеивалась, и он чувствовал ее превосходство. С чего? Непонятно. Он – давно взрослый, опытный мужик с нелегкой судьбой и непростыми любовными историями. Она – моложе его на пять лет, да нет, не так – на целую жизнь! Что у нее там могло быть? Да все понятно – пара историй, вряд ли значительных: так, студенческие романчики, короткие встречи «ненадолго», случайные комнаты, чужие связки ключей. Все впопыхах, все – как всегда у студентов. Но в их союзе все было наоборот – Алена была главной. Она диктовала, распоряжалась, требовала, приказывала. А Иван подчинялся. Внушил себе: ну хочется девочке быть принцессой! Молодая, неопытная. Ей кажется, что надо так – капризно, с надутыми губками. Играет, конечно. А я подыгрываю. И мне немного смешно, но в общем приятно.

Но отчего иногда ему казалось, что рядом с ним опытная и умелая женщина? Тогда он терялся. Терзался, страдал. Сомневался, оттого что ничего не понимал. Почему? Потому что очень хотелось быть снова любимым. Очень хотелось любви.

* * *

Поезд отходил в пять вечера, и до пяти они гуляли по городу, обедали в кафе – деньги у Ивана были.

Он смотрел на Алену, и сердце его замирало. Как же она хороша! Он вспоминал, как пахнут чуть уловимой свежестью ее волосы и какая у нее невозможно гладкая шелковистая и прохладная кожа. И пусть все это заезженные и пошловатые слова, над которыми он раньше бы посмеялся, но сейчас все было именно так – он влюбился, и это все объясняло.

На перроне Иван долго не мог ее отпустить, оторвать от себя, крепко прижимал, а она злилась, оглядывалась по сторонам, ловила осуждающие, как ей казалось, взгляды, а он смеялся и утешал ее, что вокзал – единственное общественное место, где это дозволено. Люди прощаются и расстаются. Наконец объявили посадку, и Алена, как ему показалось, с облегчением освободилась из его крепких объятий и поспешила в вагон.

Она помахала ему из окна и жестом показала: созвонимся.

Он кивнул, не понимая, почему ему так печально и грустно.

Ведь надо радоваться, правда? А как-то не получалось. Расставание – ерунда, чушь! «Подумаешь – Ленинград! – убеждал он себя. – Пару часов – и я там, возле нее. Даже вполне романтично: я здесь, она там. Любовь, как известно, проверяется расстоянием».

Да. Все так. Но почему ему невыносимо грустно, почему? Почему так неспокойно на сердце? Почему такая тоска? Какое-то странное и тревожное предчувствие – отчего? Или все это бред воспаленного ума и фантазии? Мы же всегда боимся потерять своих любимых? А уж Иван-то, с его горьким опытом, должен был бояться больше всех.

Он махнул Алене рукой и, дождавшись, пока поезд тронулся, медленно пошел прочь.

Она уехала в понедельник, а в четверг он взял билет. Пятница, суббота, воскресенье. И полпонедельника – после обеда он на работе, на комбинате. С Ленькой договорился – кто его поймет, как не Ленька? Тот, кстати, заржал:

– Ну вот! Опять Ленинград! Что нам там, намазано, что ли? В Москве девок нет?

Ленька отпустил, но поворчал для порядка и тут же попросил отвезти в Ленинград какие-то вещи.

В пятницу рано утром Иван вышел на Московском и тут же позвонил Алене.

Повезло: она оказалась дома – конечно, в такую-то рань! Удивилась:

– Ты здесь?

Ошарашенно молчала пару минут и наконец назвала точный адрес.

– Ну, если хочешь, – протянула она, – через полчаса у подъезда.

Конечно, он хотел! Да как!

Через двадцать минут, как стойкий оловянный солдатик, он стоял в хмуром, типично ленинградском дворе-колодце на Красной. Она вышла, удивленная, немного растерянная, заспанная, заплетая на ходу свою роскошную косу. Занятия она прогуляла – да бог с ними! Какие занятия – сессия на носу.

Так начался их роман. Иван ездил в Ленинград каждые выходные – конечно, под дикое ржание Велижанского. Теперь ему казалось, что его роман с Катей был детским лепетом, пробным шаром и вообще несерьезной историей. Что он тогда понимал в любви? Что он вообще тогда понимал? Катя права – они действительно были детьми.

«Здесь все по-другому, – думал он, – по-взрослому».

По приезде в Ленинград он останавливался у Ники – она, казалось, была ему рада. Он бегал в магазин, гулял с маленькой Сашкой и умудрялся отпустить Нику в парикмахерскую или в кино. В отсутствие Ники к нему приходила Алена.

Через три месяца он сделал ей предложение.

Первое же ее требование было жестким и безапелляционным:

в Москву она не переедет ни при каких условиях, это не обсуждается. Во-первых, в Ленинграде мама и брат. Во-вторых, консерватория. Ну а в-третьих, Москву она не любит – шумно, грязно и бестолково. К тому же воруют! Иван посмеялся: «А в Ленинграде не воруют, ага!»

Но причины, конечно, были весомые. Правда, и у него был веский аргумент не переезжать – работа. Но это не принималось: «Работа есть и в Ленинграде, какая разница?»

Иван познакомился с Алениной матерью, Галиной Петровной, и она оказалась странной – молчаливой, сухой, нелюбезной. Смотрела на него недоверчиво, исподтишка, словно примериваясь: годится ли он ей в зятя?

Иван попросил руки ее дочери, и она усмехнулась:

– А не торопитесь, молодой человек? Что ж прямо так и сразу? Может, слегка обождать?

Он горячо заверил будущую тещу, что, конечно же, нет! Да и зачем ждать, когда люди любят друг друга? Что, собственно, тянуть? И эти мотания туда-сюда. «Тяжело и очень накладно», – пошутил он.

Галина Петровна, помолчав, сказала:

– Ну как знаете. Вы взрослые люди.

Алениному брату было пятнадцать – обычный бестолковый дворовый пацан. С сестрой дружны они не были, что объяснимо – совместное проживание в таком аду да плюс его подростковый возраст и ее, Аленин, характер. Про нее уже все было понятно. Но грустные мысли Иван от себя гнал – все мы, знаете ли, непростые люди.

Свадьбу сыграли скромную: ее небольшая родня, Велижанский с Никой и Сашенькой и чета Сеницыных – Петька и Олечка. Скромно и тихо посидели в кафе на Невском.

Свою первую брачную ночь они провели в закутке, увидев который впервые, Иван ужаснулся: как можно жить в таком склепе. Утром, обливаясь потом от духоты, он решительно сказал, что так продолжаться не может. Надо менять московскую квартиру на Ленинград. Правда, про себя еще лелеял надежду на возвращение в Москву после того, как Алена окончит консерваторию.

Но нет, здесь она была с ним честна – в Москву ни за что и никогда. «Город ваш ненавижу и жить там не буду».

Он этот выбор принял, потому что не представлял жизни без Алены. Любил. Много о ней понимал, но любил. А какая, по сути, разница, где быть счастливым? А он точно будет счастливым. Хватит уже трагедий.

И начались обменные мытарства – желающих переехать в столицу было крайне мало. Коренные петербуржцы относились к столице с

пренебрежением – где Северная столица, а где Москва? Да и что сравнивать? Рассчитывать Иван с Аленой могли только на случайность – например, пожилые родители перебираются к детям. Или в столице нашлась хорошая работа. Вариантов было мало, и все они казались не самыми удачными: то Алену не устраивал район, то не нравилась сама квартира. А Иван продолжал ездить из Москвы в Ленинград и страшно, нечеловечески уставал. Да и находиться с тещей и родственничком, как он называл Алениного братца, в одном помещении было непросто. А спать в закуте – так просто невыносимо.

Обмен нашелся только через полтора года, когда Иван уже не сдерживался и от усталости срывался на жену, и начинались перепалки и взаимные претензии, он умолял ее соглашаться на любой вариант. К тому же Алена была беременна. Тянуть было нечего – надо было обустраиваться и начинать нормальную жизнь.

Но суть да дело, вечная морока с оформлением, ожидание документов, наконец, сборы и предстоящий переезд. Да, переезд.

* * *

Иван сидел посреди комнаты на бабкином венском стуле и смотрел на свое «наследство» – бабкин комод, этажерка, дедово кресло, обеденный стол. Книжки, книжки. Шифоньер. Пышные, высокие подушки в кружевных наволочках. Бабкина перина, высокая, как сугроб. Люстра с синими плафонами. Немного выцветшая гобеленовая скатерть. Потертый коврик из Туркестана. Все эти старые, дряхлые вещи были и его жизнью, и жизнью его семьи. Его детством и юностью, его молодостью. Именно они, эти неодушевленные предметы, спасали его от одиночества. Он понимал, отчетливо понимал, что брать их с собой в новую жизнь... невозможно. «Тащить эту рухлядь?» Это были слова Алены, его жены, и в них звучала брезгливость.

Как объяснить ей, что это вся его жизнь? Нет, он далеко не тряпичник и не мещанин. Но как он расстанется с бабкиной этажеркой и дедовым креслом? Как снесет на помойку этот шкаф, эти стулья? Как поднимется рука?

Но и тащить за собой, перевозить в другой город, платить огромные деньги за перевозку? Смешно и глупо. И действительно нелепо. Это ему эти вещи дороги, ценны, но не ей. Она не знала ни его деда, ни его бабу. Кто они ей? Для нее это действительно рухлядь, клоповник, мусор.

Он обижался, понимая, что по сути Алена права и захламлять старьем новую квартиру неправильно. Надо ли из-за этой ерунды, из-за этого хлама нервировать беременную жену?

Повезло – кое-что свез к Велижанскому на дачу, а что-то выкинул на помойку. А что делать... Хорошо, что шифоньер взяла баба Валя. «Такое добро на помойку? – возмутилась она. – Да мы за таким шифоньером по году гонялись!»

Ну ладно, в конце концов, все это только вещи, неодушевленное тряпье. А память, она в сердце. Разве он когда-нибудь сможет забыть бабушку и деда? Все, все, решено. Алена хозяйка, и здесь ее придется послушать.

Но как же муторно было на сердце, как же противно! Как будто он предал их, своих дорогих.

Итак, обмен совершился. Но предстояло еще сделать ремонт – маленькая двухкомнатная квартирка в Купчине была страшно запущена. Решили, что ремонт будет минимальный – тогда останутся деньги на поддержанную машину. А о машине они мечтали – вернее, мечтала Алена. И здесь все срослось – сосед по Красной продавал старенький «москвичонок». Вполне, кстати, ухоженный и приличный. Правда, денег хватило в обрез. Но хватило же! И через полгода они рассекали по городу на своей собственной, представьте, машине! Вот было счастье!

Велижанский не отпустил Ивана сразу: «Доработай два месяца, пока найду замену. Совесть, Громов, имей! Такой заказ тебе выпал!»

С этим не поспоришь – Ленька выручал его не раз и не два. Да и заказ был правда хорошим. Ему, семейному человеку, деньги были крайне нужны.

Неделю он работал в Москве, ночуя на даче у Велижанского, а в пятницу ехал к жене. В субботу, сразу по приезде, начинался ремонт – Иван клеил обои, неумело белил потолки, красил двери и оконные рамы. Так продолжалось два дня. А в воскресенье вечером снова мчался на вокзал – утром надо быть на комбинате.

Уставал он кошмарно – так, что не мил был белый свет. Отощал, забывал побриться и поесть. Алену в квартиру не допускал – что ей дышать белилами и масляной краской? А она капризничала, жаловалась на мать и брата, упрекала его в «бездействии».

Он обижался:

– Ну как же так?

Начинались истерики и скандал, она швыряла трубку, а после Иван казнил себя: «Она-то беременна. А ты молодой и крепкий мужик».

Опытный Велижанский посмеивался и наставлял: «Все беременные

бабы слетают с катушек. Пропускай мимо ушей и не связывайся – дорожке встанет». Он соглашался, старался, терпел, но получалось плохо. И обида все равно оставалась – она же все видит, все знает. Она же жена! Человек, с которым он хочет прожить всю свою жизнь. Но тут же успокаивал себя, убеждал в том, что как только закончится ремонт и Алена родит, все вернется на круги своя. И они снова будут спокойны и счастливы.

Потом, много позже, Иван много размышлял, почему он так бездумно и скоропалительно женился. Ответ нашелся – влюбился. Ну и второе, самое главное, – он устал от своего одиночества. А Алена убегала от своей беды, спасалась. В общем, они оба спасались и свято верили, что это поможет.

А не спаслись.

«Странно, – думал много позже Иван. – Счастливые годы не бегут – пролетают. Пролетают стремительно быстро, как птицы. Не поймаешь, не остановишь. И не удержишь. А плохие, тягостные, несчастливые тянутся, как бесконечный товарный поезд – утомительно долго, со всеми остановками, шлагбаумами и переездами. Скрипят, лязгают, тормозят, откидывают назад».

Пять лет тянулась – именно тянулась – эта история, их непростая семейная жизнь. Ну и в какой-то момент забуксовала и окончательно встала.

Но пока до этого было еще далеко. В ночь на пятое августа он отвез Алenu в роддом. Шестого утром у него родился сын, и он задышался от счастья. Три дня, не покладая рук, забыв о сне, отдыхе и еде, доделывал этот дурацкий бесконечный ремонт. К двенадцати все закончилось – за окном была темная, почти черная, летняя ночь. Он распахнул окно и стал жадно вдыхать свежий после дождя воздух. Их стало трое. И это означало, что сын, их общий ребенок, их мальчик, сблизит их с Аленой, соединит навсегда, скрепит их отношения. «Все наладится», – повторял Иван и почти в это верил, отгоняя тревожные мысли. По-другому было невозможно.

Оглядев квартиру, он рухнул в кровать – завтра приберется, вынесет мусор, отмоев квартиру и послезавтра привезет свою семью. Домой. И конечно же, Алена обрадуется!

Но отоспаться не удалось. В три утра позвонила Маша Велижанская и мертвым, чужим голосом – он еле ее узнал – сказала, что Ленька скончался. – Что – Ленька? – он не понял спросонья. – Что? Повтори.

А когда до него дошло, он закричал. Нет, такого не может быть! Ленька, сибарит, ловелас, обожатель женщин и жизни? Его Велижанского, его Леньки – и нет? Невозможно. «Эй, Велижанский! Что ты придумал? – бормотал он, размазывая по лицу слезы. – Как же так, Ленька? Как же так,

Ленечка?»

Маша умоляла его приехать.

– Да конечно! Сейчас оденусь и выезжаю! Первым же рейсом, Машка! Ты только держись!

– Как? – всхлипнула Маша. – Как мне держаться? Ты не подскажешь?

Он глянул на часы – господи, почти два! Но позвонил теще и торопливо все объяснил. Теща удивилась:

– Вы уезжаете? А как же Алена и мальчик?

– Ничего, встретите без меня, как-то управитесь! Понимаете, это мой друг! Самый близкий, единственный. И там, в Москве, его вдова. Как я могу не поехать?

С билетом повезло, и к вечеру он был в Москве.

У двери Ленькиной квартиры замер, остановился, не решаясь нажать на кнопку звонка. Увидеть мертвого Велижанского было непостижимо и невозможно. Ленька был сама жизнь. А теперь он называется телом? Но звонить не пришлось – дверь в квартиру была приоткрыта. Осторожно, на цыпочках, словно боясь кого-то потревожить, Иван зашел.

В квартире было тихо – так тихо, что он услышал свое дыхание.

Где дети, где Маша?

Маша сидела на кухне – замершая, окаменевшая, неживая.

– Детей забрала мама, – одними губами сказала она. – А Леньку... Леньку забрали санитары. В морг. Он теперь в морге, Ванечка. Лежит там один. Как ты думаешь, ему холодно?

Маша подняла на него безжизненный взгляд, и он не выдержал, отвел глаза. Сел рядом и взял ее за руку – рука была неживой, ледяной.

– Машка, Машка! Держись, умоляю. У тебя дети, слышишь меня? Ради них, Маня! Ну и ради Леньки. Он так любил жить. Ты меня слышишь?

Она подняла на него глаза. Молча кивнула – как согласилась.

– Надо заняться делами, – сухо сказала она.

Иван обрадовался, что она заговорила:

– Умница Машка, взяла себя в руки. Маня есть Маня – сильная, умная, смелая.

– Кофе будешь? – монотонно спросила она.

– Да, да, конечно. Если не трудно.

Она стояла у плиты и следила, чтобы кофе не сбежал. Иван смотрел на ее красивую, стройную, напряженную спину и думал: «Да как же так? Как она теперь без Леньки? Как поднимет детей? Как вообще все будет? И он не помощник, он в Ленинграде. Машкина мать – тоже не вариант. Ленькина

теща женщина немолодая и нездоровая, куда ей».

Не оборачиваясь, металлическим, без эмоций голосом, как автомат четко, она произнесла:

– *Этой* на похоронах не будет. Точка. Ты меня слышишь? – И резко обернулась к нему.

Иван молчал. Понимал, что нельзя, нельзя Машке сейчас возражать! Она все равно не поймет. Нельзя, но придется.

– Мань, – от волнения он кашлянул, – ну это... неправильно. Неблагородно. А ты – человек благородный. И потом – извини. Ты же все знала. И даже... мирилась с этим. Вы же так... все вместе решили. Это был твой выбор, верно? Он очень любил тебя, Машка. Всю жизнь! – Иван через силу улыбнулся. – Не надо, Мань, ей-богу. Не мсти ей. Ей тоже... несладко.

– Ее там не будет, – упрямо повторила Маша. – Не будет, и все. Хватит с меня. Ты так не считаешь? Хотя бы сейчас, когда его уже нет! Нет, ее там не будет! – повторяла, как заклинание, Маша. – Знаешь, сколько я слез пролила? Сколько ночей у окна простояла? Ждала его... Ленинград этот ваш... ненавидела! Она же знала, что у нас дети! Знала ведь, правда?

Он беспомощно развел руками.

– А ты говоришь – быть благородной?

– Право твое, но...

– Без «но», Ваня! Без всяких там «но». Хватит с меня этих «но». Достаточно. Хоть провожу его по- человечески, раз жил по-свински. Имею право? Как считаешь?

– Имеешь. Кто спорит?

Иван метался по поликлиникам с их справками, договорился и оплатил агентские хлопоты, выбрал гроб и похоронные принадлежности, съездил в морг и отвез Ленькину одежду. Когда же наконец вернулся, в квартире Велижанских уже была уйма народу – друзья Маши, друзья Леньки, их общие друзья. Родственники, соседи, сослуживцы. Маша бродила как лунатик, натыкалась на углы и предметы, вяло отвечала на вопросы, не выпуская из рук стакан, не закусывая, пила водку и прикуривала сигарету от сигареты. Она не плакала – она улыбалась странной, чудной, дурашливой, слабой улыбкой. А в глазах ее читались такая мука и такая боль!

Через пару часов Иван всех разогнал. Выпроводив последнего сочувствующего, уложил Машу в кровать. И вот тут она дала волю слезам.

Конечно, он звонил домой, только Алена бросала трубку. Нет, он ее понимал – обидно. Как можно не встретить жену из роддома?

Понимал и не понимал – ведь там, в Москве, такая беда! Неужели она

не может понять?

Да, и еще! Нике он позвонил сам. Та все знала, вопросов не задавала и отвечала односложно. Он попытался все объяснить. К его удивлению, Ника согласилась не приезжать. Ответила коротко:

– Да, я все поняла. Скажи Маше, чтобы не волновалась.

Потом до Ивана дошло: это был шок. Ника еще не осознала, что случилось. Так бывает – люди по-разному воспринимают роковые известия. И часто, очень часто, понимание приходит не сразу.

На похоронах запомнил Ленькиного отца – все такого же важного, с барской выправкой и гордо закинутой головой. Рядом с ним стояла молодая и симпатичная женщина, поглядывая на окружающих с пренебрежительным превосходством.

Все видели, как Велижанский-старший подошел к вдове и пожал ей руку. Маша вздрогнула и с удивлением посмотрела на родственника. После кладбища Ленькин папаша с молодой супругой довольно быстро ушли. На поминках их не было.

Поминки по Леньке устроили в ресторане – оплатил Союз художников. Иван помнил длинный стол, плотно уставленный салатниками и блюдами, батарею бутылок и оживленно рассаживающихся людей.

После первой речи кого-то из чиновников бодро застучали ножи и вилки, какие-то незнакомые Ивану люди хорошо поставленными скорбными голосами произносили прощальные речи.

Маша, застывшая, глядя перед собой, казалось, ничего не слышала и не слушала – была в другом измерении. Она ни на что не реагировала. Ее здесь не было. Но вдруг неожиданно сквозь нарастающий гул голосов раздался ее страшный, нечеловеческий крик:

– Леня, Ленечка! Как же ты мог!

Наступила пугающая отчаянная тишина. Маша обратилась к сидящим, к выпивающим и жующим. Страшным, громким шепотом она произнесла:

– Он сегодня домой не придет? Он не придет, да?

Над столом повисла гробовая – вот уж подходящее слово – тишина, и только Машина мать подхватила крик дочери:

– Машенька, милая! Доченька моя!

Народ в смущении переглядывался, пополз шепоток, и Иван, подхватив рюмку, резко встал и, откашлявшись, начал говорить о Леньке. И тут Маша расплакалась. Он выдохнул:

– Ну слава богу! По крайней мере нормальная человеческая реакция.

Он сбежал из этого ресторана через пару часов – выпил две рюмки водки за упокой Ленькиной мятущейся души, закусил бутербродом с

селедкой и сбежал.

По счастью, урвал билет на ночной – повезло, выхватил из рук какого-то нетрезвого мужичка. Утром, перед самым приездом, глянул на себя в зеркало – кошмар! Заросший бродяга, серийный убийца. Ну да ладно, все дома. Душ, бритва, яичница с колбасой. Он почувствовал, что впервые за эти дни проголодался.

Дома – сын! Он впервые увидит своего сына, познакомится с ним. И увидит Алену! Как он соскучился по ней! Скорее бы обнять ее, уткнуться лицом в ее волосы. Обнять ее и все объяснить. И она, конечно, поймет. Поймет и простит. Потому что жена.

Алена открыла ему дверь и, кажется, задумалась: пускать его или нет. Со злостью, даже с ненавистью прошипела:

– Явился? Да неужели? Не ожидала. Ну и иди откуда пришел!

Дверь захлопнулась.

Иван жал на звонок, стучал ладонью. Ну не колотить же ногой, не звать же милицию, не показывать паспорт с пропиской! Стыдоба-то какая!

Он медленно спустился по лестнице, посидел на скамье у подъезда, все еще надеясь, что она одумается, успокоится и окликнет его. А минут через сорок поднялся и вышел из двора. Не позвала. Такая обида? А может, права?

На улице осенило: «Ника! Господи, Ника! Как он мог забыть про нее?»

Ника стояла на пороге и молчала. Узнать ее было сложно. Ее прекрасные волосы, золотистые, яркие, солнечные, куда-то исчезли. Вместо них вдоль исхудавшего, серого и мертвого лица висела вялая, грязная пакля. От Ники пахло спиртным.

Молча прошли на кухню. На столе стояла бутылка коньяка. Молча разлили по стаканам и молча выпили.

– Как ты? – спросил он.

– Что я, Ваня? Я-то живая. А вот Ленечки нет! Правда, и меня, кажется, нет. – И вдруг встrepенулась, оживилась, в глазах промелькнула жизнь: – Ваня! Скажи мне, как там все было? Как он выглядел, Ваня? Во что был одет? Подробно, Ванечка! Мне это важно!

Рассказал. Она молча слушала. Про кладбище рассказал, про поминки. Про Машу ни слова. А что говорить? И так все понятно – Маша вдова. Ника любовница.

Ника откинула со лба прядь:

– Отомстила мне. Как смогла, так и отомстила. Мелко, конечно. Но и ее можно понять.

Иван, не зная, что сказать, крутил в руках пустой стакан.

– Только с Ленкой я не простилась, – горько проговорила Ника. – А все остальное фигня.

Чтобы отвлечь ее, Иван рассказал про сына. Коротко и скупно – про ссору с женой. Она ойкала и осуждающе качала головой:

– Зачем она так? Тебе же и так тяжело.

Чувствуя, что валится с ног, Иван попросился поспать. Лег в большой комнате на узком и неудобном диване и вырубился в секунду, еле голову донес до подушки. Проснулся оттого, что почувствовал чье-то присутствие. Открыл глаза. Рядом, на краю дивана, сидела Ника и смотрела на него.

Увидев, что он проснулся, она улыбнулась:

– Дура я, Ваня. Ну какая же я дура. Судьбу свою профукала. И это еще мягко сказано. – Ника вздохнула и отвела взгляд. – Я же видела, что нравлюсь тебе. Я же тебе сразу понравилась, еще там, в Русском, правда? Ты так смотрел на меня!

– Конечно, Никуша! А как ты можешь не понравиться? Ты же красавица, Ник.

– При чем тут красавица? Дура я, – нараспев повторила она, – жуткая дура!

Она, кажется, не шутила. Иван понял, что она здорово пьяна.

– Тебя надо было, тебя! Ты чистый, хороший! Прозрачный. Ты как на ладони, Ваня! А Ленка... Он... Все для себя. Ну чтобы ему и только ему, понимаешь? Удобства, комфорт. И плюс к этому – чувства ему подавай! С Машей, понятное дело, все давно поутихло – дети, до него ли? А тут я, молодая, красивая, свежая. Я ведь почти сразу все про него поняла, веришь? А поделать уже ничего не могла. Толстый, пузатый и очень болтливый мужик. Я таких всегда ненавидела. Анекдоты его дурацкие, шуточки. Такой пофигизм – казалось, все ему легко. Это, наверное, и зацепило. Думала, он легкий, бесшабашный. Полная противоположность мне. Очень хотелось заразиться от него всем этим, понимаешь? Я непростая, все мне сложно, все неразрешимо. Это я делала вид, что такая вот я веселуха! А что было внутри... И как все это давалось! И верила, дура! Вот бросит ее – и ко мне! Ну и влюбилась. По уши, Вань! И чем так зацепил? А знаешь, чем еще он мне нравился? Честный он был. Болтун, свистун, а в серьезных вопросах честный. Ведь ни разу мне не сказал, что уйдет из семьи. Ни разу ничего не пообещал! А когда я залетела, честно все это подтвердил: люблю – тебя. Маша – друг, ближе ее нет. Детей не брошу, а ты – рожай. Помогу. А я все равно надеялась! Говорю тебе – дура! В самой-самой глубине души – а вдруг? Вдруг до него дойдет, что жить без любви плохо? И все ждала мальчишку! Думала – увидит, что парень, и

прибежит! – Ника замолчала и подошла к окну. Резко обернулась к Ивану: – А знаешь, почему он умер? Да сердце не выдержало! Это нам казалось, что у него все легко и просто. А я догадываюсь, как он страдал и мучился.

Иван молчал. Обсуждать лучшего друга на второй день после его похорон не хотелось.

– Да ты и сам это знаешь, – продолжила Ника. – Странно, да? Так любить жизнь и так мало прожить! А может, и правильно, а? Справедливо? Чтобы не мучить всех нас? Такая божья кара, как думаешь?

Иван не отвечал.

– А с тобой все бы у нас сложилось, Ваня. И была бы семья. Ты человек крепкий, надежный. И я бы была хорошей женой. Не то что твоя Аленушка, уж прости. На ней же написано все! Ты не увидел? Ну, значит, и ты, Ваня, дурак, как и я. Мне некого винить – сама виновата, мой выбор. Только знаешь, сколько я слез пролила за эти пять лет? А, не знаешь! Никто не знал. И Ленька в том числе. Я же ничем его жизнь не усложняла, ни одним вопросом, ни одной проблемой. И ничего мне не надо было, всем была довольна. Не женщина – мечта. И ничего не требует, заметь – все ее устраивает, эту дуру! А почему? А потому, что дура, Ваня. Ладно, что говорить... – Она вытерла ладонью слезы. – Себя не пожалеешь – никто не пожалеет.

– Почему? Я тебя жалею. Очень жалею. И очень люблю.

– Да? – Ника хрипло рассмеялась и наклонилась над ним. Ее волосы коснулись его лица. От нее пахло табаком, коньяком и чудовищным несчастьем. – Жалеешь, Ванечка? Любишь? Ну тогда пожалей еще крепче! И полюби.

Он замер, вытянулся в струну, хотел отпрянуть, оттолкнуть ее, тряхнуть за плечи, засунуть, наконец, под холодный душ. Но вместо этого осторожно обнял ее, провел рукой по ее безжизненным, тусклым волосам, прижал ее к себе. И понял, точнее – почувствовал, что оттолкнуть ее сейчас не может. Не может, потому что мужик. И потому, что ей нужны, просто необходимы, доказательства, чтобы выжить, дожить до утра. Доказательства, что она женщина и что ею не пренебрегают, что она желанна.

«Сволочь ты все-таки, Ленька! – подумал он. – Разве с ней так можно было? Но как я буду жить без тебя? Как все мы будем жить без тебя? Я-то что – а вот они, твои женщины! Зачем ты так, Ленька?»

Утром оба сделали вид, что ничего не произошло. В глаза друг другу старались не смотреть – обоим было неловко.

Уже в дверях, отводя взгляд, Ника тихо сказала:

– Ничего не было, Ваня.

Он нежно клюнул ее в затылок.

Забегая вперед. Маша Велижанская через полтора года после Ленкиной смерти вышла замуж за своего старого приятеля, бывшего сокурсника Диму Боброва. Дима этот неотлучно был при вдове, и неожиданно выяснилось, что он любил Машку всю жизнь. Впрочем, ничего удивительного – Маша была прекрасна. Прекрасные женщины любили Ленку, что говорить. Маша родила четвертого ребенка – и это снова оказалась девочка. Брак их удался, и Маша, кажется, была очень счастлива.

Ника замуж не вышла – Иван, еще живя в Ленинграде, нечасто, но виделся с ней. После той истории ему было как-то неловко. Пусть оба приказали себе об этом забыть, но неловкость осталась. Иногда перезванивались. Через четыре года Ника сказала, что уезжает в Петропавловск-Камчатский по личному приглашению академика Федотова, которому попала на глаза ее статья в журнале «Вулканология и сейсмология», который Федотов и возглавлял.

Из Петропавловска пришло несколько писем с фотографиями – Ника в желтом дождевике и таких же ярких, игрушечных резиновых сапогах стоит у подножия вулкана. Рядом с ней Сашка, Никина дочь. Разглядеть ее было непросто. Но, кажется, она была похожа на Ленку. Ника писала, что счастлива, работа ее увлекла и отвлекла, появился и друг, коллега, молодой ученый из Москвы. Ну а потом, как это часто бывает, переписка заглохла.

С Аленой Иван помирился. Обиды друг другу пришлось отпустить – в доме младенец, не до обид. Сына назвали Ильей, в честь ее отца. На его робкие просьбы назвать мальчика в память о деде ответила:

– Нет! Я твоего деда не знала. Мучилась при родах я, и мне называть – уж извини.

Иван поначалу обиделся, а потом ее, как всегда, оправдал. В конце концов, она права – ее отец ей куда ближе, чем его дед.

Через три недели после их бурного примирения Иван вышел на работу. Повезло – взяли переводом на Ленинградский комбинат с громким названием «Скульптура», что на проспекте Тореза. И благородно дали отпуск – новорожденное дитя. Директор комбината к его ситуации отнесся с пониманием – у самого месяц назад родилась внучка. Но предупредил – работы почти нет, увы. Своих, знаете ли, хватает.

Однако после двухнедельного отпуска работу все-таки дали. Правда, так, мелочь, ерунда – делали очередного неизвестного солдата для совхоза под Пермью. В их бригаде было четыре человека, и если разделить гонорар на всех, то получались копейки. Ну хоть так.

В обеденный перерыв Иван бежал в магазин и, если видел, что огромная очередь и ему не успеть, звонил теще. Та и достаивала петляющую «змею». Тоже помощь.

Илюшка рос беспокойным – ночами спал плохо, мучился животиком и не хотел брать грудь. Алена, конечно, измучилась. На помощь приезжала теща, неловко толкалась, хваталась то за одно, до за другое, но выходило все нелепо и бестолково. Алена тут же цеплялась к ней, и начинался скандал. Теща принималась рыдать, обижалась и уезжала. Он успокаивал ее у двери, умолял не обижаться – Алена издергана, нервы никуда, бессонные ночи и прочее. Теща всхлипывала и говорила, что дочь была такой всегда:

– Я же предупреждала вас, Иван! Характер у нее сложный. А я больше сюда ни ногой!

Но проходило два дня, и она снова приезжала:

– Скучаю по Илюшеньке, не могу без него! Какое счастье, Иван, что он похож на вас – такие же синие глаза, такая редкость!

Пеленки стирал Иван – Алена берегла руки. Придя с работы, бросался в ванную – за день набиралось два полных ведра. Наспех перекусив, брал сына и шел на улицу – жена ложилась спать.

Она рвалась в консерваторию – последний курс, академ на полгода. Нет, он ее понимал! Но как отдать годовалого сына в ясли? Это он представлял себе слабо. А ведь пришлось.

Ясли закончились через два месяца – за эти два месяца Илья был там раза четыре, не больше, а дальше заболел. Кончилось тем, что к ним переехала теща – вариантов не было.

Алена злилась, говорила, что ноги ее домой не несут – отпрашивалась к подругам, а он соглашался, жалел ее и старался понять. Отпускал на два, на три дня. А уж на выходные! Заниматься дома, при беспокойном ребенке, было почти невозможно.

Что ж, Иван был не против. В конце концов, с тещей он ладит, да и отдохнет: если Алена уедет, в доме уж точно не будет скандалов.

Видел, что теще дочкины отъезды не нравятся. Слышал, как она шепотом отчитывает ее в ванной. Но своенравная Алена слушать мать не собиралась:

– Отстань, не твое дело.

И все продолжалось по-прежнему.

К трем годам Илюша окреп и наконец пошел в садик, в младшую группу. Теща с облегчением и радостью уехала домой. «Кажется, жизнь налаживается», – думал Иван. Да и Алена успокоилась, стала помягче.

Основные трудности они пережили. Теперь надо выдохнуть и жить, просто жить, как живут их ровесники, друзья. Ходить в кино или в кафе, ездить за город на машине, собирать гостей. Но как-то не получалось.

Странно они жили, странно. Общих тем для разговоров почти не было – общались короткими деловыми фразами: «Заберешь сегодня Илюшу из сада?», «Купи хлеб и кефир», «Отнеси в прачечную белье». Иван смотрел на жену и не понимал зачем. Зачем, для чего существует их семья? Есть ли она вообще, эта семья? И тут же сам себе отвечал: «Ради Илюши». Сына он обожал. А Алена оказалась матерью прохладной. Нет, материнскими обязанностями она не пренебрегала, но, как ему казалось, делала это не от души, а по обязанности.

«А может, я ошибаюсь, – снова уговаривал себя Иван. – Просто она такой человек: хладнокровный, сухой, равнодушный». И вправду, любые события, любые неприятности она принимала спокойно, не впадая в панику. Любимая присказка: «Все пройдет, зачем нервы трепать?»

В общем, довольно быстро он понял, что его жена человек странный. Что ж, бывает. Грустно шутил: «Они сошлись – волна и камень, стихи и проза, лед и пламень».

А ее раздражала его суетливость, тревожность и вечное беспокойство за сына. Если что-то происходило с Илюшей, он впадал в дикую панику, почти в истерику.

Алена все так же уезжала на выходные – то заниматься к подруге Лере, то к подруге Наташе. Отпускал он ее спокойно – в доме наступала блаженная тишина! Не было склок и скандалов, ее вечных претензий и недовольства. Да и с Илюшей он прекрасно справлялся. Алена окончила консерваторию и устроилась в Ленконцерт аккомпанировать пожилому тенору Вишнякову. Иван был знаком с ним – невысокий, полный дядечка с тщательно зализанной лысиной. Они часто ездили на гастроли. С гастролей Алена приезжала усталая, хмурая и недовольная. И снова начинались претензии: не так вымыта посуда, грязный ковер, у Илюши заляпанная рубашка. «И вообще чем ты тут занимался?»

А он так старался...

Тогда еще он скучал по ней, ждал ее, на что-то надеялся.

Конечно, и Илья все чувствовал и к отцу привязан был больше, чем к матери. А что тут плохого? Иван помнил, как был привязан к деду. А Алена злилась, обвиняла его в том, что он настраивает Илью против нее.

Как бы Иван себя ни уговаривал, как бы ни успокаивал, жизнь их была не семейной, а полусемейной. И еще – хоть признаться себе в этом было не просто, он понимал, что эта полусемейная жизнь в общем была

несчастливой. Не о такой он мечтал и не так себе ее представлял.

На женщин Иван, конечно, смотрел. Но чтобы закрутить роман? Нет и еще раз нет. Во-первых, жену он по-прежнему любил, по крайней мере убеждал себя в этом. А во-вторых, некрасиво все это, нечестно. И если такое случится, ему будет паршиво.

Про давнюю историю с Никой он постарался забыть.

Так бы, наверное, все и тянулось. Но сколько веревочке ни виться...

Была суббота, и в очередной раз Алена уехала к подружке на дачу. Днем приехала теща, перегладила кучу пересохшего белья, сварила бульон – Алена хозяйство игнорировала, – напекла Илюше блинов и, уложив внука спать, села пить чай с Иваном. Теща казалась расстроенной, молчала, да и он разговоров не заводил, настроение было паршивое.

За окном барабанил дождь – октябрь выпал холодный и дождливый, а впереди была долгая, муторная и сырая питерская зима.

Теща смотрела на него странным и изучающим взглядом, как будто видела его в первый раз.

– Галина Петровна, – не выдержал Иван. – Что-то случилось?

Та осторожно, преувеличенно аккуратно поставила чашку на блюдце, так же аккуратно и осторожно положила на стол чайную ложечку. Поправила ее, словно она лежала неправильно, криво, и наконец сказала:

– Иван! Вот смотрю я на вас и диву даюсь! И честное слово, не понимаю!

– Вы о чем? – нахмурился он. Разговаривать совсем не хотелось.

– О чем? Да о вас с Аленой! Неужели вы сами себе безразличны? Неужели, – она огляделась по сторонам, – вас все это устраивает?

– Что именно? – сухо поинтересовался Иван.

– Да все это! – горько усмехнулась теща. – Вся эта ваша семейная жизнь!

– Странно, что вы заговорили об этом, – удивился он. – И что поменяется, если даже меня кое-что не устраивает?

– Кое-что? – повторила она. – Все это вы называете кое-чем?

– Объясните, – тихо и твердо потребовал Иван.

– Объяснить? – Галина Петровна саркастически рассмеялась. – Ну что ж! Если вы настаиваете!

– По-моему, настаиваете именно вы! – нахмурился он.

– Да. – Теща на минуту задумалась. – Наверное, я не права. Все-таки Алена моя дочь. Но я больше не могу смотреть вам в глаза и делать вид, что все хорошо. Не могу, Иван! Неужели вы так наивны? Неужели вы по-прежнему считаете, что она у подруг? Все ее отлучки по выходным,

поездки на дачи, походы в театры с дальнейшей ночевкой у девочек? Эти недельные поездки по пушкинским местам? Эти длинные и непонятные экскурсии? Вы искренне верите в эту чушь? В это откровенное вранье, в этот бред?

– Что вы такое, простите за грубость, несете?

– Несу? Господи, Иван! Ну как вы наивны! Или глупы! Какие подружки, какие экскурсии? Какие ночевки у девочек? Да неужели вы... – Галина Петровна всхлипнула. – Да неужели вам непонятно, что моя дочь вам изменяет?

Иван почувствовал, как у него перехватило дыхание и остановилось сердце – да, да, остановилось, – перестало биться, словно его вынули из его груди и положили рядом. Он стал манекеном, картонной куклой со звенящей пустотой внутри.

– Что вы такое... – задохнулся он. – О чем вы, о чем? Как вы... можете?

– А вы? Как вы можете? Или вам просто удобно?

– Удобно? – переспросил он. – Что именно мне удобно?

Иван не мог прикурить сигарету – руки ходили ходуном. Не мог встать – не слушались ноги. Он слышал голос Галины Петровны глухо и отдаленно, словно уши были набиты ватой. А она продолжала:

– История давняя, столетняя. Он Аленин преподаватель. Много старше ее, тридцать лет разницы. Конечно, семейный. Морочит ей голову тысячу лет. Два аборта – два аборта от него, слышите? После одного она еле выжила. Нет, когда вы познакомились, они расстались, это я знаю точно. Она и вправду хотела развязки – очень страдала. Но ненадолго. Когда Илюше был год, они снова сошлись. Этот мерзавец нашел ее, ну и пошло-поехало. Я, разумеется, пыталась это прекратить. Да сколько раз, не поверите. Даже ходила к его жене. И его умоляла: оставьте мою дочь в покое. Говорила, что у нее семья, прекрасный муж. Ребенок, в конце концов. Он молчал. Просто молчал, и все. Ничего не отвечал, ничего не обещал – как об стену горох! Все впустую, все напрасно. Зато Алена кричала, что любит его, что это судьба и что она никогда от него не уйдет добровольно. Никогда, невзирая на... – Теща замолчала и испуганно посмотрела на него. – Простите, Иван! Да, невзирая на вашу семью, на вас и на Илюшу! – Она подошла к окну и продолжила с прежним пылом: – Да какая разница, что она говорит? Важно другое, что вы думаете по этому поводу. Я долго терпела, долго молчала. Больше нет сил, не могу. Вы должны меня понять. Я хорошо к вам отношусь, я вас уважаю. Да и Илюша – я боюсь за него! Что будет, если вы разойдетесь? Я же предупреждала

вас, вы помните? Говорила, чтобы вы подумали, обождали, не торопились. Говорила, что у Алены сложный характер. Но вы меня не послушали. Да и кто слушает советы! А потом... потом я подумала и решила – выйдет она за вас и успокоится. Расстанется с этим гадом и будет счастлива. Все у нее образуется. Я мать, и мне не должно быть дела ни до кого, кроме собственной дочери. Главное, чтобы у нее все сложилось. Иван, я прошу вас! Не обижайтесь! Я не знаю, правильно ли поступила, когда все вам выложила. Но вот сегодня чаша терпения лопнула. Я презираю свою дочь. Это невозможно – не ценить такого прекрасного мужа, такого отца. Поверьте, я столько раз с ней говорила. Умоляла ее одуматься ради Илюши! Но нет, нет. Я стала врагом. Вы считаете, я зря это сделала?

Иван молчал. Язык разбух и, кажется, занял весь рот. Был тяжелым, каменным. Да и потом, что тут сказать, когда в одну минуту перевернулся весь мир? Когда закончилась жизнь?

Он вскочил со стула, бросился к входной двери, по дороге споткнулся о стул, упал, сильно ударил колено, схватил с тумбочки ключи от машины. Услышал голос тещи:

– Иван! Да куда же вы?

Ключ никак не попадал в зажигание. Наконец машина рванула с места. Погода словно рыдала вместе с ним. Дождь барабанил с таким отчаянием, что не справлялись дворники. Куда он едет? А, на дачу! На дачу к этой самой Лоре, подружке жены. Она же сказала, что едет к Лоре! Он приблизительно помнил этот поселок – однажды забирал оттуда Алену. Двадцать километров по Выборгской трассе, потом налево, и дальше по проселочной, до кособокого домика сельпо и направо. Или налево? Там сообразит. Небольшой поселок, конечно, без шлагбаума, но с сарайчиком в виде домика охраны. Ну а уж там все спросит – Лора, Лариса. Пианистка, незамужняя и бездетная, высокая блондинка с пышной грудью. Такую невозможно не знать. Город был пустым, и, несмотря на отвратительную погоду, Иван быстро оказался на шоссе и придавил газу.

Последнее, что он помнил, – слепящий, кошмарный свет. Он зажмурил глаза и резко вывернул руль. Сильный удар, скрежет металла, голова ударилась о подголовник, и обожгла резкая боль в шее, в груди и в ноге.

Все. Темнота. Яма.

* * *

Когда Иван открыл глаза, было светло. Яркое и пронзительно светло, и

он зажмурился. «Странно, – подумал он, – сейчас же ночь, часов двенадцать ночи, никак не меньше, непроглядная темень и страшный дождь. И почему светит солнце? Не просто светит – слепит в глаза! И день, белый день. Как странно, ей-богу».

Он шевельнулся, чтобы перевернуться набок, и тут же застонал – голову, руку и ногу пронзила дикая, нечеловеческая боль. Он закрыл глаза, а когда открыл их, то увидел сероватый высокий потолок с крупным желтым плафоном. В нос ударил знакомый едкий запах – тяжелые, резкие, острые запахи больницы: йод, хлорка, влажное белье. И еще – запах несчастья.

– Ой! – услышал он высокий, незнакомый голос. – Вы проснулись? Сейчас, сейчас! Вы только не волнуйтесь! Я позову врача! Нонна Сергеевна! Громов очнулся!

В палату из реанимации Ивана перевели на следующий день. Он познакомился с хирургом, которая его оперировала, с милейшей Нонной Сергеевной. Она и рассказала ему про аварию:

– То, что вы выжили, молодой человек, чудо из чудес, уж вы мне поверьте! Просто загадка для медицины, нонсенс, если хотите. Да и вообще вам повезло, что через час после всего вас обнаружили. Еще час – и я была бы лишена возможности приятного знакомства. Ваше последнее свидание с нашим братом-медиком произошло бы в морге. Ну и то, что госпиталь военный, – тоже удача. Здесь, знаете ли, с такими сочетанными травмами врачи знакомы отлично. Ну, вперед и с богом! Мы свое дело сделали, а там уж... Надежды не теряйте. В конце концов, вы остались на этом свете. Значит, для чего-то и для кого-то! Ну а со всем остальным можно жить.

– Для кого-то? – переспросил Иван. – Нет, это вряд ли. А для чего-то? Ей-богу, не знаю.

Он попытался улыбнуться, но потрескавшийся рот не позволил. И снова громко застонал, не сдержался.

Кроме Ивана в палате было три человека. Четвертая койка пустовала. Сосед, лейтенант Коля Власов, балагур и весельчак, уверенно сказал, что это ненадолго, максимум на пару дней:

– Опять подвезут, не сомневайся. Здесь простоев не бывает. – Он выругался.

У Коли Власова не было половины ноги – отпилили по голень.

– И кому я теперь нужен? – сокрушался он.

Коля кокетничал – никто его не бросал. Ни родня, ни невеста.

Второй сосед был чеченец Асламбек. Оперировали ему загноившуюся кисть – рубанул топором. По-русски Асламбек говорил плохо, да и вообще

был молчуном.

К Коле приходила невеста, юная белокурая Танечка. Она сидела на стуле и плакала, а балагур Коля ее веселил. Танечка приносила баулы с едой и пыталась подкормить и Ивана, и Асламбека. Ивану было неудобно, он отказался, а Асламбек объяснил, что свинину не ест. Танечка не поняла и обиделась. А Колька заржал.

Весь день, до глубокой ночи, возле кровати Асламбека сидела молодая женщина в черной одежде – жена Мадина. Мадина не говорила ни по-русски, ни по-чеченски – молчала.

Удивленный Колька поинтересовался у Асламбека, не немая ли у него жена. Асламбек хмуро ответил, что нет. Просто о чем говорить? Иван и Колька переглянулись.

Мадина не поднимала глаз ни на Ивана, ни на Колю. Не поднимала и на врачей. За мужем тоже ухаживала молча – молча кормила, молча брила его.

Наблюдая за ними, Колька строил рожи, делал большие глаза и крутил пальцем у виска – дескать, придурки! Шептал Ивану:

– Как думаешь, у них так всегда? А на фига тогда вообще?

Иван пожимал плечами.

К ночи Мадина уходила, но говорили, что ночует она в больнице, в подсобке у нянечек.

Родня к Асламбеку валила толпой – сестры, братья, снохи, дядьки и тетки. Все бурно и громко приветствовали друг друга, переглядывались и тут же испуганно замолкали, смущенно жались к стене и тихо переговаривались на своем гортанном, похожем на голубиный клекот языке. И почти сразу из сумок доставались судки и кастрюли с невозможно ароматной, незнакомой едой. Шумные кавказские люди всех пытались угостить – и пациентов, и врачей. Врачи, конечно, шарахались, а вот Коля ел и нахваливал. Иван отказывался – есть было больно, болели челюсть, оставшиеся зубы, губы, порванные в аварии. Да и аппетита совсем не было – с усилием и натугой осиливал жидкую манную кашу или пару ложек невкусного пресного супа.

Да при чем тут еда – видеть никого не хотелось. Слышать голоса было невыносимо. Терпеть – тоже невыносимо, как и думать о будущем. Да и вообще – жить было невыносимо. При чем тут аппетит?

Единственное, что спасало, был сон. Спать, спать, спать. И не просыпаться. Спал он почти весь день. А выспавшись за день, мучился ночью. Громко храпел веселый Коля. Тихо посапывал и постанывал во сне Асламбек. От ветра поскрипывал желтый фонарь за окном, отбрасывая на

потолок короткие, размытые тени. Стояла невыносимая тишина, от которой начинало стучать в висках. Казалось, спал весь город. Не спал только он – не давали заснуть боль, горе и страшное, нечеловеческое, непобедимое отчаяние.

Одиночество. Опять одиночество. Зачем они нашли его, зачем спасали? Зачем спасли?

Какой все оказалось пошлостью, вся его семейная жизнь! Какой банальной, непролазной, дремучей пошлостью! Да и вообще вся его жизнь!

Как он мог увязнуть в этой истории? Как мог ничего не замечать, где были его глаза? Как он мог оказаться таким непроходимо тупым кретином? Рогоносец, обычный рогоносец, типичный персонаж дурацкой комедии. Сколько лет Алена его обманывала, сколько лет подло врала! Врала и бегала к любовнику?

Господи, как с этим жить? Да и надо ли...

Он все чаще просил у сестер укол димедрола, два куба, один его давно не брал. А два вкатывала только сморщенная, пьющая ночная медсестра Райка, той все было по барабану.

Заходила и Нонна Сергеевна. Только спустя пару недель он заметил, что Нонна прихрамывает. Скосил глаза на ее ноги и увидел, что на правой, сухой и тонкой, надет грубый башмак с утолщенной подошвой.

Нонна садилась на край кровати и по-матерински клала ему на лоб ладонь. Ее рука была легкой и прохладной. Иван прикрывал глаза, и ему казалось, что боль отступала. Говорить ни о чем не хотелось.

– Ну, как ты, Громов? Полегче тебе?

Он отворачивался к стене – боялся при ней разреветься. Жаловаться не хотелось, а утешить ее было нечем – несмотря на сильнейшие обезболивающие, боли почти не проходили.

– Слушай, Иван! – в один из таких визитов сказала Нонна Сергеевна. – Ты ведь понял, для чего я зашла. Чтобы ты увидел, что люди живут по-разному. И так, как я, в том числе. А я ведь женщина, мальчик! И что ты думаешь? – она усмехнулась. – И институт окончила, и врачом, как ты заметил, стала. И даже заведующей! И замуж вышла, а, как тебе? И дочь умудрилась родить! Хорошую девку, кстати, умную и красивую. И еще, Ваня, – она помолчала, – я, между прочим, на здоровых ногах никогда не ходила. Нет, не так, вру – ходила до трех лет. А потом этот чертов полиомиелит. Вовремя не привили, и вот результат. Но жизнь, между прочим, идет! Пять лет в интернате, в гипсе, потом обычная школа. Мама меня забрала из интерната, видела, как там несладко. Интернат – это почти детский дом. Детский дом плюс больница, где все инвалиды, маленькие,

обозленные на судьбу старички. А в обычной школе началось – насмешки, издевательства: инвалидка, хромоножка, убогая. Да что говорить! Вот так, мальчик. Вот так. Нет, меня-то никто не бросал – родители у меня были чудесные! Мама, по счастью, жива по сей день. А ты, Ваня, не в худшей ситуации. – Она похлопала по его плечу. – Ноги есть, и, заметь, две! Да, одна не совсем целая. Подрезали тебе ногу, Иван. Но она все-таки есть, осталась. И вообще – вся жизнь впереди! Все еще образуется!

Он ничего не ответил. Понимал, что неправильно и невежливо. Но не ответил. Что отвечать? Согласиться с ней и радостно подтвердить, что все прекрасно, жизнь продолжается?

– Ваня, – продолжила Нонна. – А у тебя кто-нибудь есть из родни или друзей?

Он прохрипел:

– Нет. Жена... Нет у меня жены. Родители... Их, можно сказать, тоже нет. А лучший друг... И его уже нет. – И добавил: – Да и слава богу! Зачем такая обуза?

Его, конечно, жалели – и сестрички жалели, и буфетчица Гуля. Та украдкой приносила лишний кусочек сыра или кубик масла, подсовывала куски рафинада, печенье, карамельки или сладкие булочки. Навещала и Нонна – тоже с гостинцами, с домашним, котлетами или куриной ногой. Он отказывался, страшно стеснялся, краснел, стыдился своей ущербности и заброшенности, но она строго приказывала есть, и Иван с трудом, нехотя, сжевывал холодную котлету или кусок курицы.

На перевязки возили раз в два дня. В перевязочной, прохладной и белой до боли в глазах, он скрипел от боли зубами и, сдерживаясь изо всех сил, тихо стонал, когда отлепляли присохшие бинты.

Перевязочная сестра Наиля – лица ее он так и не увидел из-за марлевой маски, одни глаза, темные и суровые, – дала ему кличку Партизан. Уговаривала поплакать и покричать, так будет легче. Наилю все побаивались, а ему было все равно, кто злой, а кто добрый. Какая разница, когда ему вообще все равно?

Спустя три недели балагура Колю выписали. Приехали к нему полковые товарищи и белокурая Танечка. И Асламбека готовили к выписке. А Ивану ничего не говорили. Молча осматривали, молча перевязывали, молча делали уколы. Да и он ничего не спрашивал – какая разница? Все ему безразлично – что будет, то будет. А не будет – вообще хорошо. Лучший выход.

Однажды пришел следователь из милиции, молодой мужчина, примерно его ровесник. Смотрел сочувственно, вопросами не мучил,

объяснил, что вины его нет, все ясно как белый день: водила в фургоне был пьян и скончался сразу, еще до приезда бригады.

– Ну а ты, парень, – сказал на прощание следователь, – радуйся, блин! После таких историй не выживают. А ту сволочь не жалко – его выбор. Вот только нормальному человеку жизнь покорежил...

Про машину буркнул коротко:

– На списание. Восстановлению не подлежит.

Иван равнодушно кивнул. Странно, но про машину он ни разу не вспомнил.

Следователь сунул ему папку с документами, попросил подписать и распрощался, приговаривая, чтобы он ни о чем не беспокоился, все это чистая формальность и больше его дергать не будут. Пожали друг другу руки.

А спустя два дня появилась теща – откуда узнала? Наверное, сообщили из милиции. Вернее, сообщили Алене, по месту прописки, а та поделилась с матерью. Галина Петровна глаз на него не поднимала, присела на стул и стала деловито вытаскивать из большой хозяйственной сумки бесконечные баночки с едой.

Оба молчали.

– Как вы, Иван? – наконец спросила она.

– Нормально, – лаконично ответил он.

На этом разговор был окончен.

Теща тяжело поднялась со стула.

– Ну... Я пойду? – нерешительно спросила она. – Я вас и так утомила.

Сухо поблагодарив, Иван попросил больше не приходить:

– Без обид, мне просто так легче. Как Илюша?

С сыном, к его радости, все в порядке.

А теща все мялась, топталась, потом заплакала и, прикрывая ладонью искривленный рот, запричитала – умоляла о прощении, обвиняла во всем себя, а Иван, отвернувшись к стене и до боли сжав зубы, монотонно повторял:

– Не приходите, умоляю вас. Не приходите, пожалуйста. Я вас очень прошу.

На место лейтенанта Коли положили молодого пацана без обеих ног.

Медсестра шепнула:

– Несчастный случай в армии. – И прижала палец к губам: молчи!

Среди ночи мальчишка попросил пить, и Иван встал и, опираясь на два костыля, со стоном доковылял до него – всего-то метр, не больше! С этого дня он понемногу начал ходить.

Узнал про парня – детдомовский, сирота, из родни никого. Приходили к нему только солдатики-сослуживцы. Поддерживали как могли. Растерянные, потерянные – они-то все понимали. А инвалид, кажется, нет. Что-то бормотал про невесту, про дом в деревне у дальней родни, про скорую свадьбу. Невеста та, конечно, не появилась. А была ли она вообще или это плод больной, воспаленной фантазии? Парень то бредил, то подолгу молчал, то узнавал друзей, скорбно, словно на похоронах, сидевших напротив него, то смотрел на них пустыми, полубезумными глазами и, кажется, не понимал, где он и что с ним.

Соседствовали они с Иваном недолго. Однажды, вернувшись с перевязки, соседа своего он не застал.

Сестрички отмахивались:

– Перевели.

– Куда? – не отставал он.

Те, пряча глаза, не отвечали.

Он понял и спрашивать перестал.

Алена появилась спустя две недели после визита тещи. Была бледна, кажется смущена, в глаза не смотрела.

С удивлением он увидел, что она обрезала волосы. Надо же – так беречь свою роскошную косу – и вдруг?

– Прическу поменяла? – усмехнулся он.

– А что, не идет? – вспыхнула жена.

– Почему? Вполне себе ничего. Тебя трудно испортить.

– Я, Иван, жизнь поменяла. А ты про прическу... – с вызовом ответила она, словно в этом было геройством.

– Я заметил. Молодец. Смелая.

Замолчали. Потом она вытащила из сумки какие-то бумаги, отвела глаза и тихо сказала:

– Здесь документы на развод. И я очень и очень надеюсь, что ты их подпишешь.

Иван, словно видя впервые, внимательно посмотрел на нее. Изучал. Изумлялся. Напротив него сидела красивая незнакомая женщина. Совсем незнакомая. Чужая. «Как странно, – подумал он, – вот как бывает». Взял бумаги и ручку, черкнул там, где она указала, и протянул ей:

– Все? Больше вопросов нет?

Алена все же смутилась и торопливо закивала:

– Да, да, спасибо.

Он, пытаясь улыбнуться, ответил:

– Да не за что вроде!

У двери она обернулась:

– Простишь меня?

Иван удивился:

– А тебе это важно?

Она не ответила, опустила глаза и тихо сказала:

– Привет тебе от Илюшки.

И Иван поймал себя на мысли, что почти не думает о сыне. О сыне, которого он любил больше жизни. Неужели физическая боль затмевает все остальное? Неужели телесные страдания отодвигают и затеяют самое главное? Неужели так примитивно, так грубо, топорно устроен человек? Или его меняет болезнь? Выходит, это и есть борьба за свою жизнь – ты просто бережешь силы, инстинктивно, интуитивно, для того чтобы выжить, помочь себе, раз все остальное кажется неглавным, второстепенным? Значит, он, не признаваясь в этом даже самому себе, хочет жить? Он борется? Врет себе, но борется, держится за эту самую жизнь?

С этого дня Иван начал расхаживаться и заниматься гимнастикой. Пусть через силу, но начал есть. И чувствовал, как прибавляются силы.

Начал жить, в общем.

* * *

А теща все приходила. Что сделаешь, ее тоже можно понять – человек чувствует свою вину и хочет ее искупить или по крайней мере облегчить.

Спустя полтора месяца Ивану все-таки стало лучше – боли уменьшились, дозы обезболивающих тоже. Он ел – если не с аппетитом, то точно не с отвращением. И мучительно тосковал по сыну.

Настал день, когда лечащий врач объявил ему о скорой выписке. Иван растерялся. Обрадовался? Сам не понял. Ему стало страшно – куда он пойдет, к кому? Было ясно, что домой он не вернется. Тогда куда? Теща звала к себе, в закуток, где раньше жила Алена. Чушь. Пойти к ней? Туда, где начиналась его, как тогда казалось, счастливая семейная жизнь? Никогда. Пойти к теще, которая открыла ему глаза? Невозможно. Написать сестре Лене? Нет, не пойдет. У той двое детей, работа, семейное общежитие. Оставался отец. Написать ему? Кажется, больше выхода не было. И он написал.

* * *

Иван стоял у окна и смотрел на улицу. За окном был конец декабря – холодный, серый, промозглый, ветреный, с морозящим снежным дождем. Голые темные деревья клонились от ветра. Снег падал и тут же таял, медленно сползая по грязному стеклу. «Скоро Новый год, – подумал он. – Семейный праздник. Люди готовят друг другу подарки, выстаивают в очередях в поисках вкусностей, планируют гостей и праздничный стол. Наряжают елки, и скоро в квартирах запахнет мандаринами и пирогами. У всех, только не у меня. У меня больше нет дома и нет семьи».

Он думал, как ему хочется поскорее уехать из этого города. Из города, который так и не принял его и не стал ему домом. А он очень старался его полюбить – восхищался им и никак не мог налюбоваться. Замирал в восхищении, когда видел его узкие каналы, широкую и величественную Неву, просторные набережные, ровные как стрелы улицы, дворцы и парки.

Ну что ж, придется попрощаться. Значит, так и никак иначе. Этот прекрасный, величественный город обойдется без него и уж точно не заметит его исчезновения. И Иван тоже не будет по нему тосковать.

Но здесь, в этом городе, оставался его сын. Как он сможет жить без него?

Иван позвонил Алене и попросил привезти его вещи. Не отказала – уже хорошо. А могла бы и на помойку отнести. Если его на помойку смогла, то уж что говорить о вещах! Бывшая жена приехала на следующий день и привезла его пожитки, аккуратно уложенные в старый чемодан.

Он сухо сообщил, что уезжает из города. Куда, она не спросила. Он сказал, что хочет проститься с сыном.

Алена, немного помешкав, попросила оставить Илюшу в покое.

– Как? – изумился он. – В каком смысле – в покое?

Алена ответила монотонно, хорошо заученным текстом:

– У нас новая жизнь. У меня новый муж. А у Илюши новый отец. Уж прости, но это так! А что тебя удивляет? По-моему, замечательно, что мой муж относится к моему сыну как к родному! Да, он всячески старается стать Илюше хорошим отцом – это тебя задевает? Я думаю, ты должен этому только радоваться. Ребенок не будет обделен. К тому же.... – Она помолчала, словно собираясь с силами. – Зачем его травмировать? Зачем ему видеть тебя таким? – Она кивнула на костыль, прислоненный к спинке кровати. – И если ты не будешь мешать... Он, слава богу, еще маленький и быстро тебя забудет. Так будет проще всем, понимаешь?

– Кому – всем? – хрипло переспросил Иван.

– В первую очередь Илюше! – быстро ответила Алена. – Мы сейчас говорим про него!

Он перебил ее:

– Ты сейчас говоришь про себя. Так тебе будет легче! Ты хочешь упростить свою жизнь. Начать с начала, с белого листа, потому что я – черновик. И если вычеркнуть меня, тебе будет удобней и проще! А Илюша тут ни при чем!

Опустив голову, Алена молчала.

– Я прощаюсь с ним, – твердо сказал Иван. – А дальше... А дальше мы с ним будем видеться! И ты не сможешь, слышишь? Не сможешь этому помешать! – Он кричал.

Алена вздрогнула, побелела, но повторила:

– Ради него, поверь! Только ради него! Это же... психологическая травма, как ты не понимаешь!

– Только не строй из себя заботливую мать! До сих пор ты не очень часто думала о сыне! – Голос у Ивана сорвался. На его крик прибежала испуганная сестра.

Алена быстро вылетела из палаты.

Иван сел на кровать и заплакал. «Как же больно, господи! Невыносимо больно. За что ты меня? Что я сделал такого? Чтобы так – все и сразу? За что?»

В тот же день пришло письмо от отца. Он, конечно, звал его к себе. Писал, что Тоня и Мишка будут рады и что они уже все подготовили и его ждет отдельная комната – Мишка с радостью уступил свою и очень ждет старшего брата! Сетовал на то, что Иван сразу не сообщил ему о несчастье – конечно, они бы тут же приехали! Требовал, чтобы он сообщил точную дату выписки.

Иван ответил, что точную дату выписки не знает и что приезжать в Ленинград за ним уж точно не надо – он прилично окреп, да и вообще все в порядке. Благодарил за ответ и передавал сердечный привет Антонине и младшему брату.

Он попросил не выписывать его под самый Новый год – пусть отец с семьей встретят праздник нормально. А уж после заявится он. Так сказать, скрасить их жизнь.

В новогоднюю ночь дежурили одиночки – так называли бессемейных. Пожилая сестра Нина Ивановна позвала его в сестринскую:

– Иди, Вань! Хоть выпьем по рюмке!

В сестринской собрался весь коллектив одиночек – санитарка Тамарка, с красивым трагическим лицом, перерезанным грубым широким шрамом – по слухам, ее порезал любовник, уголовник. Сильно пьющий дежурный врач Коконин – закоренелый холостяк, живущий с мамой и потому

подвергающийся вечным насмешкам. И сама тетя Нина, Нина Ивановна, старая дева. На столе стояли плошка с салатом оливье, тарелка с пирожками и бутылка водки.

Раздался гром курантов, и все подняли стаканы.

– За счастье! – всхлипнула Нина.

Выпили разом. «За счастье, – подумал Иван. – просто смешно. Хорошая у нас компания: четверо покалеченных жизнью. Ну и один – калека физический, как говорится, до кучи».

* * *

В день выписки погода совсем расстроилась – теперь наступила настоящая питерская зима со всеми ее прелестями в виде слякоти, колкого дождя, пронзительного ветра и быстро тающего снега.

Иван вышел из двери отделения и растерянно встал посредине двора – куда ему податься? Прежде чем он уедет из этого невыносимого города, он должен увидеть сына.

Нащупав в кармане куртки двушку, он подошел к телефонному автомату. Трубку долго не брали. Наконец он услышал заспанный голос бывшей жены.

– А, это ты, – громко зевнув, разочарованно сказала она. – Уже на свободе?

Он пропустил ее слова мимо ушей и сухо сказал, что хочет увидеть Илюшу.

– Он болеет, – отрезала Алена. – Высокая температура, да и вообще, мы же договорились, что видеть тебя таким ему ни к чему! Ты совершенно не думаешь о психике ребенка! Да и к тому же ты из больницы, зачем ему лишняя инфекция? И еще ты же подписал, что...

– Что? – закричал он. – Что я подписал, говори!

Он, кажется, начинал понимать.

– Что ты разрешаешь усыновление и отказываешься от сына! – отбарабанила она и ехидно добавила: – Провал в памяти? Понимаю! И очень сочувствую!

– Ну ты и дрянь! – закричал он. – Какая же ты дрянь! Значит, подсунула... Видела, что я плохо соображаю! Нашла удобное время. Как ты могла, Алена? Что плохого я тебе сделал? – Он заплакал, громко всхлипывая, позабыв о мужской гордости, о достоинстве. – За что ты меня так? – повторил он. – А знаешь... Я докажу! И поверь, у меня найдутся

свидетели! Как ты это все прокрутила. Я докажу, слышишь? И я буду видаться с сыном!

– Попробуй! – Алена бросила трубку.

Иван почувствовал, как силы совсем покинули его, и сел на мокрую от снега скамейку. Стрельнул сигарету у стремительно пробежавшего доктора и решил: «Жить. Да, да! Жить! Жить за мальчишку с ампутированными ногами. Жить в благодарность Нонне Сергеевне, доктору Кругликовой, сохранившего ногу. В память деда и бабки. За Ленку Велижанского. Жить».

Он понимал, что бороться за сына сейчас невозможно по одной простой причине – у него просто нет сил. Вот только доехать до вокзала, взять билет и добраться до отца. Все. А там надо окрепнуть, прийти в себя. Снова стать человеком – хотя бы попытаться. Раз уж так получилось. Раз уж он остался на этом немилом свете.

Поезд в Г. уходил поздно вечером. Он взял билет, отбил отцу телеграмму, в вокзальном буфете съел шницель с лапшой, взял в дорогу пару бутербродов с сыром, выпил бутылку боржоми и стал ждать отправления поезда. Уснул, сидя в кресле, и чуть не проспал – не слышал ни пронзительно-резкого голоса диктора, ни привокзальной суеты. Ничего.

Полку взял верхнюю, так дешевле. Но попутчик, молодой парень, уговорил его поменяться:

– Куда ты наверх, инвалид?

Сказано это было добродушно, безо всякого желания оскорбить или унижить. Но это слово врезалось ему в голову так, что еле сдержал подступившие слезы. А что обижаться? Действительно, инвалид! А как назвать сильно хромого человека, опирающегося на костыль?

Ночью не спал, выспался днем на вокзале. А может, просто волновался, тревожился, как все сложится у отца. Понимал – он теперь всем нагрузка, обуза. И в первую очередь самому себе.

Рано утром вагон засуетился и заходил ходуном: хмурый народ шастал мимо – в тамбур на перекур, в туалет, в вагон-ресторан.

Проводница принесла мутный чай, и Иван нехотя сжевал свои подсохшие бутерброды. Он смотрел в окно, мимо проплывали поселки и полустанки, мелькали пустые переезды и серые, чуть прикрытые снегом поля. Пролетали мокрые и хмурые леса и размытые сельские дороги, уходящие в неведомую даль. Мимо проплывала жизнь, на которую он смотрел странным, отчужденным, отстраненным взглядом.

Поезд в Г. прибывал поздним вечером, почти ночью. За окном было беспросветно черно, и казалось, что это пустое, необжитое пространство

бесконечно. Но вскоре появились первые мутные огни деревень и поселков. Приехали.

Иван стоял в тамбуре – стоянка поезда была короткой, пятиминутной. Поезд фыркнул, бесцеремонно дернулся и резко остановился. Недовольная проводница со стуком открыла дверь вагона и сбросила ступеньки.

Он не сразу увидел отца – тот постарел. Иван помнил его высоченным белокурым и синеглазым красавцем, а сейчас перед ним стоял сутулый, даже сгорбленный человек в очках, по которым стекал мокрый снег. Отец был растерян, подслеповато оглядывался по сторонам, то и дело снимал очки, протирал их рукой, снова надевал и беспомощно вертел головой. Сжало горло. Иван громко сглотнул застрявший комок и выкрикнул:

– Отец! – Голос сорвался на фальцет.

Отец вздрогнул, замешкался и бросился к нему:

– Ванька!

Они обнялись и долго стояли так, слыша, как тяжело отходит поезд, громко и нутжно лязгая колесами. И еще – они боялись, стеснялись посмотреть друг на друга. Разомкнув руки, принялись смущенно разглядывать друг друга. Отец вытирал мокрой ладонью слезы, бормотал что-то оправдательное, смущался, стесняясь, отводил глаза и похлопывал сына по плечу:

– Ну как же так, сын? Как же так? За что же так, а?

Иван мотнул головой, вымученно улыбнулся:

– Ну что, батя? Двинули? Что-то погода не очень! Не очень располагает к прогулке!

Отец с усилием улыбнулся.

За крошечным зданием вокзала, точнее станции, их ждал «пазик» со спящим водителем. Полтора часа ехали по разбитой дороге, пару раз почти садились и почти застревали, но все-таки выбирались. Иван дремал на заднем сиденье и слышал, как отец просил сержанта ехать «плавнее». Он проснулся, когда «пазик» резко затормозил и отец цыкнул на водителя:

– Ну ты и болван, Семиренко!

Иван огляделся и понял, что они на месте, на территории военной части, в жилом массиве, среди трехэтажных домов-бараков для военнослужащих.

Выбрались из машины, отец подхватил его чемодан, и, толкнув скрипучую дверь, они зашли в подъезд. Это был не подъезд, а предбанник, почти сразу вход в их квартиру-берлогу.

– Не Версаль тут у нас, Ваня, уж извини. Мы-то привыкли, а вот ты, столичный житель, – извиняющимся тоном сказал отец.

Из маленького предбанника тут же пахнуло теплом, печкой и вареной картошкой – запахло домом. На пороге, кутаясь в серый пуховый платок, появилась Антонина.

– Ванечка! – радостно вскрикнула она. – Ну наконец-то! Как добрался? Голодный? – И, увидев его костыль, прослезилась.

Прошли на кухню, крошечную, метров в пять. Там было жарко – угол печки аккуратно приходился на кухонную стену. Тоня захлопотала, ставя на стол остывшие пироги, миску с картошкой, соленые грибы и огурцы с налипшими зернами укропа. Появилась и влажная бутылка «Столичной».

Выпили, закусили, и Иван понял, как невыносимо устал – как ни крепился, глаза закрывались, слипались.

Тоня проводила его в его комнату – тоже крохотную, семиметровую, жарко натопленную: узкая кровать, шкаф для одежды и письменный стол брата Мишки.

Иван разделся и бухнулся на кровать. Пружины протяжно запели, матрас попружинил, привыкая к незнакомому телу, а Иван уже спал, успев только уловить, как восхитительно, свежо и чуть горьковато пахнет хрустящее, накрахмаленное постельное белье.

Рано утром Тоня убегала на работу, в школу. Школа находилась на другом конце городка, который, кстати, оказался не так уж мал. Сонного Мишку долго уговаривала поторапливаться. Иван все слышал, лежа у себя в комнате. Отец уходил еще раньше, тихо, без завтрака, пока Иван еще спал. На кухне всегда лежал завтрак, оставленный Тоней: пирожки, хлеб, яйцо или укутанная в старый платок каша, овсяная или пшенная. Ни сыра, ни колбасы, ни масла в поселке не было – завозили под праздники, редко. В такие дни перед Военторгом – ни больше ни меньше – выстраивалась длинная очередь, на полпоселка, очередь. За продуктами ездили в районный центр, что был в пятнадцати километрах.

Жили скромно, даже скудно, но дружно и весело. Женщины вместе кроили и шили платья, вязали теплые свитера, ходили в лес по грибы и ягоды, вместе крутили банки с соленьями и варили варенье.

Они, эти сильные и храбрые женщины, поддерживали друг друга как могли: жалели не очень удачливых в браке, сидели с чужими детьми, выручали друг друга копейкой, угощали пирогами и делились последним.

Собирались часто, почти каждую субботу, по очереди. Летом ставили столы на улицах – квартирки были убогие, тесные. Пели песни под гитару, на которой прекрасно играл отец. Запевалой была Антонина – ах, какой у нее был звонкий голос!

И Ивану нравилась эта немудреная жизнь – здесь все было просто и

все понятно, кто друг, а кто враг, кто щедр, а кто скуп. Кто правдив, а кто лжец. Кто, не брезгуя ничем, выслуживается за лишнюю звездочку. А кто честен и справедлив – в маленьком городке ничего не утаишь и всё как на ладони. Но жизнь, при всей ее простоте и немудренности, была здесь тяжелой: убогий и трудный быт, паршивый климат, вечное выживание и наивные, детские мечты о санатории на море, о новом ковре, о хрустальной вазе и о сервизе с мадоннами.

С отцом отношения были странные – по душам они не говорили, и Ивану казалось, что отец стесняется своего уже давно взрослого сына, чувствуя перед ним большую вину. Иван видел, как тот уставал, какая непростая у него служба, и в душу тоже не лез.

А с мачехой, Тоней, все было прекрасно – чудесной женщиной оказалась жена отца, хоть тут повезло. Мишка... конечно, дружбы с братом не было да и быть не могло – росли они порознь, в разных условиях. Да и разница в возрасте была солидной. Но Иван видел, что младший, хоть и стесняется взрослого братца, восхищается им и даже гордится. Только вот чем – непонятно.

Он с ним разговаривал, пытался наладить мосты, что-то рассказывал ему из «семейного» – про Москву и Ленинград, про войну, революцию, деда и бабу. Мишка слушал внимательно, но у него были совсем другие интересы. И Иван, признаться, с облегчением уходил к себе – брал книгу или просто лежал, уткнувшись глазами в деревянный низкий потолок. Думал, вспоминал свою жизнь. Перелопачивал ее, перекручивал, вертел так и сяк. Искал свою вину. И задавал себе все тот же вопрос – почему? Но ответа по-прежнему не было.

Конечно, он понимал, что он отцовской семье в тягость. Трутень. Трутень, паразит, сидящий на шее. Было невыносимо стыдно, и он пытался хоть чем-то быть полезным – помочь по хозяйству, не отцу, так хотя бы Тоне. Да что там за помощь? Принести из сарая, что на заднем дворе, вязанку дров. Подтопить печь. Вымыть посуду, почистить картошку. Подмести или доползти до магазина за свежим хлебом.

Дела были нехитрые, а вот все давалось с трудом – нога «зудела» так, что он скрипел зубами и мысль была одна: лечь, лечь, лечь. Втихаря пил пачками анальгин, как-то держался. Жаловаться – последнее дело, у всех и так забот полон рот.

Летом, конечно, было повеселее – ходил на футбольное поле, где гоняли мяч срочники, присаживался на лавку и болел за ребят. Болел и думал с горечью, что сам теперь никогда не погоняет мяч по пыльному полю, никогда не подпрыгнет, чтобы забросить его в самодельную,

сделанную из ведра баскетбольную корзину. Никогда не пригласит на танец девушку. Не пойдет в лес за грибами. Не сможет водить машину. Как много набиралось этих «никогда»!

Странные чувства одолевали его тогда – то наступал странный зыбкий покой, то начинало колотить от тревоги и страха. То не давал спать стыд перед отцом и Тоней и возникала нежная привязанность к брату. Но чаще с головой накрывала обида и тоска по себе прежнему. Тоска по *той* жизни. Про себя разговаривал с дедом: «Как жить, дед? Ну, с того света я выкарабкался. Не без потерь, но все-таки. А вот на этом свете, куда я вернулся, я оказался как в глухом лесу – блуждаю, ищу выход и не нахожу, страшно устаю и меня душит отчаяние. Мне часто кажется, что я никогда не выберусь из этой дремучей, темной чащи. По ночам меня начинают пугать звуки и запахи, я задыхаюсь и жалею о том, что я вообще вернулся в этот глухой лес под названием жизнь. Потому что ни черта я в этой самой жизни не понимаю! Иногда немного взбадриваюсь, воодушевляюсь и начинаю на что-то надеяться. Но это быстро проходит, и я снова проваливаюсь в глухое, бездонное отчаяние. И снова меня грызет смертная тоска и видится одна безнадега.

Что делать, дед? Как спастись? Знаю, что ты мне ответишь! Поглядим – посмотрим, да? Не дрейфь, Ванька? В жизни всяко бывает – и плохо, и очень плохо. И тошно до рыка. И что? Все проходит. Бесследно, не бесследно, но точно проходит! Держись, парень! Прямая не вывезет – кривая поможет!»

Прошел год, и снова приближался Новый год. На праздник своими силами готовили концерт и стол – собирали деньги на шампанское и конфеты, устраивали конкурсы и шарады. Были, конечно, и призы для победителей. Возбужденные женщины бегали из подъезда в подъезд, шептались по кухням, шили праздничные платья и делились рецептами блюд. Возбуждение и оживление витали в воздухе, и Тоня, конечно, во всей этой суете принимала активное участие.

Пару раз Иван заходил в клуб – небольшой, слегка накренившийся домик со скрипучим полом – и видел, как женщины, стоя на стремянках, украшают серебристым дождем и гирляндами деревянные стены и потолок.

Робея и не надеясь на результат, смущенная Тоня предложила ему на концерте вместе с отцом спеть под гитару.

– Я помню, как ты пел, Ванечка!

Он даже разозлился: нет, ни за что! И вообще – на праздник он не пойдет, без него повеселятся. Танцы, шманцы – куда ему, калеке? Тоня немного обиделась, но больше не приставала – все поняла.

Концерт намечался на вечер тридцатого, и весь день хлопали входные двери, и из всех щелей и дверей доносились запахи пирогов – на пироги и торты устраивались конкурсы.

К семи вечера в квартире запахло сладкими Тониными духами и лаком для волос. Она постучалась к нему:

– Вань! А ну, глянь! Как я – нормально?

Тоня стояла на пороге комнаты, и он невольно залюбовался ею – вправду хороша!

Как юная девушка, она покрутилась перед ним, кокетливым жестом поправляя прическу, и, погрузнев, тихо спросила:

– Вань! Ну что, не передумал?

Он покачал головой.

В клуб он не пошел, но на улицу вышел – хотелось вдохнуть свежего морозного воздуха. Вот где зима была настоящей и сказочной – снежной, чистой, морозной. На улице было тихо, только из клуба доносилась музыка. Кто-то периодически выскакивал на крыльцо – покурить, освежиться. Он слышал смех, даже гогот, и сердце сжималось от тоски и обиды – теперь праздники не для него, хорош, отгулял.

Иван вернулся домой, нашел в кухонном шкафчике полбутылки сладкого дамского вина, выпил прямо из горлышка и пошел к себе. Сон не шел, во рту было омерзительно сладко, подташнивало, и кружилась голова. Он заплакал от жалости к себе.

А тридцать первого ждали гостей. Отец рано пришел со службы и бестолково толкался на кухне, пытаясь помочь жене. Тоня беззлобно покрикивала на него, а он возмущался и обижался, но это все было похоже на детскую игру, безобидную и привычную. Было понятно, что живут они складно, почти не ругаясь, а если и поругиваются, то по пустякам, и это было смешно и трогательно.

Он вспоминал свою жизнь с Аленой, ее вечное вранье и воровские побеги из дома, их бесконечные склоки, претензии и скандалы. Свое одиночество по выходным и их абсолютные несовпадения во всем, от мелочей и бытовой ерунды до крупного, значительного. Их полнейшее отчуждение – чужаки, соседи. Впрочем, чужими они были всегда.

* * *

Гости подтянулись к десяти вечера, когда был накрыт пышный стол с пирожками, соленьями и пловом в казане, который отца научил готовить

сослуживец-узбек. На белоснежной накрахмаленной скатерти стояла парадная посуда. Возбужденная Тоня охала и по-хозяйски тревожилась – вдруг что не так? Одергивала тесноватое платье и под приход гостей, морщась от неудобства, встала на неудобные каблуки – что поделаешь, красота требует жертв.

Большая комната не соответствовала своему названию, было тесно, сидели на стульях и придвинутой кровати, толкались плечами, но не грустили и оживленно шутили, шумели, перебивали друг друга, громко чокались. Хвалили хозяйкино угощение, принимались за воспоминания, грустные и веселые. Отец быстро захмелел и смотрел на жену с плохо скрываемыми восхищением и любовью. Мишка за столом скучал и потихоньку улизнул во двор, отпросившись у пьяненького отца – мать бы в ночь точно не выпустила.

Среди гостей была молчаливая, лет под сорок, женщина, хорошенькая, но печальная – раньше Иван ее не видел, она пришла с Романовскими, Милой и Володей, друзьями отца и Тони. Сидела с очень прямой спиной и встревоженными глазами осторожно рассматривала гостей. Иван разглядывал ее исподтишка – кто она Романовским? Незнакомка встала, чтобы помочь Тоне убрать со стола посуду, и он удивился, какая у нее узкая и прямая спина, и высокая шея, и стройные, чуть полноватые ноги. И как изящно смотрится высоко и туго затянутый пучок светлых волос.

Ивану нравились все эти люди – разные и похожие друг на друга, не роппущие, не капризные, не избалованные. Закаленные и привычные к трудностям. Как умеют они веселиться, как радуются мелочам! А за спиной у каждого много чего – жизнь по гарнизонам, это, знаете ли, точно не сахар. Вахтанг Барашивили, красавец грузин, известный балагур и хохмач, взял в руки старенькую отцовскую гитару и запел печальную, красивую грузинскую песню. Все притихли, погрузнели, вспоминая, наверное, свою родину, родные места и оставленных там родных и близких.

Женщина с высокой шеей слушала песню внимательно, на ее тонком и строгом лице застыла печаль. Глаз ее Иван не видел, имени не знал, но почему-то испугался, почувствовав частое биение сердца и давно позабытое волнение.

Значит, жив и способен чувствовать? Способен заметить женщину, хотеть дотронуться до ее тонкой руки, обнять ее, почувствовать запах ее волос. Жив, курилка? Он прислушивался к себе и не понимал, радоваться ему или отчаиваться.

По-тихому, не извинившись и не попрощавшись, он выскользнул в свою комнату, но так и не смог уснуть.

Думал с тоской: «Зачем все это? Я не готов ни к самой короткой, необременительной интрижке, ни к недолгому, приятному роману». А что говорить про все остальное? Да и не будет у него этого «остального»: во-первых, это не нужно ему самому – довольно так называемой любви. Во-вторых, вряд ли в таком состоянии кому будет нужен он. Ну а в-третьих, хватит страданий. Он так решил.

Иван встретил незнакомку через два дня, когда городок еще только только отходил от новогодних гулянок, обсуждая, конечно, все сплетни – кто из соседей напился и поскандалил, а кто и вовсе разбушевался и дело дошло до драки. У кого было самое красивое платье, а у кого прическа. Что было на столах и кто чем кого удивил. Ему, столичному жителю, было смешно: слухи и сплетни по городку разлетались мгновенно – деревня. Тоня с отцом, прихватив с собой Мишку, махнули в город выгулять заскучавшего юнца – сходить с ним в кино и кафе-мороженое. Дома стало непривычно тоскливо и тихо, и он отправился прогуляться. На улице он нос к носу неожиданно столкнулся с недавней знакомой и растерялся, мучительно стараясь припомнить ее имя – Лина? Или Лика? А может быть, Лиза?

Впрочем, смутились оба. И он снова удивился тому, что очень рад встретить ее, и тому, что на душе снова волнительно и тревожно.

Поговорили ни о чем: о погоде, о предстоящих сильных морозах, предсказанных метеорологами. О себе она рассказала коротко и скупно: Мила Романовская ее двоюродная сестра, дочь ее дядьки, который, собственно, растил ее, Лизу, – да, она оказалась Лизой! – с восьмилетнего возраста.

– А родители? – осторожно спросил Иван.

– Погибли в автокатастрофе, – коротко ответила она. – Оба.

Милочка была уже взрослой, училась в педтехникуме и собиралась замуж за Володю Романовского. Но сестру-сироту опекала как могла и даже задержалась со свадьбой, чтобы помочь родителям.

Иван ничего не спрашивал про Лизину взрослую жизнь, про мужа или детей, и не спросил, когда она уезжает. Какая ему разница?

Лиза поправляла шарф, притаптывала ногами, и он наконец сообразил, что она сильно замерзла.

– Может, пойдем к нам выпьем чаю? – предчувствуя насмешливый отказ и очень волнуясь, спросил он, почувствовав, как от волнения по спине пробежала дорожка холодного пота.

Но Лиза неожиданно быстро, почти мгновенно, согласилась, словно только и ждала этого приглашения.

Чай, кстати, они все же выпили, но значительно позже, спустя часа два или три: время пробежало не просто незаметно – улетучивалось, как газ из колбы. А пока ее голова лежала на его плече, и он вдыхал ее запах – сладковатый, с легкой, еле уловимой горчинкой. Упоительный и утробный, тонкий и ошеломляющий запах женщины.

Потом он все о ней узнал. Лиза жила в Одессе, была разведена и бездетна. Работала она в горно то ли инспектором, то ли куратором – он не запомнил, да и зачем? До конца ее короткого отпуска оставалось три дня. И эти три дня, как оголтелые или буйно помешанные, они искали любой угол, где можно было приткнуться, спрятаться от людей и наброситься друг на друга – залезть под кофту и рубашку, дотронуться до горячей груди, целовать шею и волосы, губы и руки, дышать в такт, жадно захлебываясь от восторга обладания, улавливая и перехватывая дыхание друг друга, вдох, выдох и снова вдох. Слышать стук сердца и не понимать, не разбирать – чье? Твое или ее?

Они не могли напиться друг другом, не могли расцепить рук. Умная Мила все быстро сообразила и из дома старалась уходить почаще – задерживалась на работе, засиживалась у подруг, бродила по улице, видя слабый свет ночника в своей квартире. Володя, ее муж, уехал в срочную трехдневную командировку – опять повезло!

Все способствовало их встречам. Но три дня! Всего-то три дня! А что будет дальше? Об этом они не говорили, ни Иван, ни Лиза. Она ни словом не обмолвилась, что будет скучать по нему, тосковать, и не обещала писать ему писем. Не спрашивала о следующей встрече.

И он молчал. Боялся? Чего? Да все просто – он снова боялся любви. Он чувствовал, что не готов к ней, совершенно. В душе по-прежнему была огромная черная дыра. Да и какая это любовь? Так, суррогат. А что до их страсти... Так это нормально – сто лет у него не было женщины. А точнее – долгих три года.

Так зачем обнадеживать человека? Зачем врать и придумывать? Неловко все так и закончить? Наверное. Но врать и вовсе подло.

В последний вечер они прощались, долго и молча. Он крепко обнимал ее, гладил по спине, плечам и лицу, чувствуя, как снова хочет ее. Лиза плакала. Так тихо, что сразу он и не понял. А понял только тогда, когда стал целовать ее холодное от мороза и мокрое от слез лицо.

Она оторвалась от него, вырвалась из его цепких железных рук и, не глядя ему в глаза, коротко и тихо, с невыносимым отчаянием, вытолкнула из себя:

– Все, все! Пока! – И быстро взбежала по ступенькам в подъезд.

Хлопнула входная дверь, заскрипели пружины, Иван услышал стук ее каблуков – Романовские жили на втором этаже. Он поднял голову и посмотрел на их окна. Свет в них не зажегся. Он выкурил сигарету, втоптал ее в снег и быстро, как только мог, пошел прочь.

Запыхавшись и чувствуя, как разболелась нога, он прислонился к заиндевевшей стене, закрыл глаза, пытаясь установить и наладить дыхание. Так он стоял долго, пока окончательно не заоченел и пока не задубела спина и он почти перестал чувствовать ноги.

В ту ночь Иван, как ни странно, спал крепко, как не спал давно, пожалуй, с больницы, когда находился в полубреду. А утром, проснувшись, неожиданно и внезапно, но очень отчетливо понял, что ему надо уехать. Да-да! И срочно! Дня два на сборы – и вперед!

Только... куда? В Ленинград, в Москву? Да разумеется, в Ленинград, к сыну. Вот теперь у него появились силы бороться, и теперь он его отобьет. Он, кажется, пришел в себя, ожил. Да, он живой и готов к борьбе.

«Что, дед? – усмехнулся он. – Поглядим – посмотрим? Кто кого, а?» Да, посмотрим, на что он годится.

Через три дня он обнимался с заплаканной Тоней, прижимал к себе смущенного и растерянного брата и снова трясся в «пазике» рядом с отцом. С ним предстояло проститься уже на вокзале, на финишной прямой.

Это было сложно – проститься с отцом. Но еще сложнее было уехать из почти привычной жизни. Из теплой квартиры, от ласковой Тониной заботы, от брата, к которому он уже привык и которого успел полюбить. Сложно и страшно было уехать. Сложно и страшно начать новую жизнь. Сложно и страшно сесть в поезд и снова куда-то поехать. Он снова транзитный пассажир. Такая судьба?

Но он попробует. Он готов. Он постарается.

Отец крепко обнял его:

– Ты не торопишься, Ванька? Зря ты так резко, зря. Пожил бы еще, оклемался! Может, вернемся?

– Нет, пап! Я должен жить своей жизнью. Ну, по крайней мере попробовать. А вам – спасибо. Тебе и Тоне. Вы... – Он замолчал, чтобы не разревется.

Отец громко всхлипнул:

– О чем ты, сын? Я и так столько должен тебе. И уже никогда не расплачусь.

С вокзала Иван сразу поехал в Купчино. Позвонил из автомата у своего бывшего дома: время было позднее и он надеялся, что Алена уже дома.

Трубку она взяла не сразу, голос был чужим, почти забытым.

– Ты? – удивилась она. – Ну вот, всегда от тебя ждешь чего-то внезапного. Просто как черт из табакерки, – расстроено посетовала она. Голос заиндевел, зазвучали оттенки металла, и Иван наконец узнал свою бывшую. – Ты хочешь видеть Илюшу?

Он усмехнулся и съерничал:

– Не правда ли, странное желание?

Она молчала. Он дунул в трубку:

– Алло! Ты меня слышишь?

– Иван, – устало проговорила Алена, – ну ты опять за свое. Как же ты не понимаешь? – В ее голосе было искреннее удивление. – У Илюши теперь другой отец. Он забыл тебя, действительно забыл. Он называет моего мужа папой, и он, представь, стал Илье настоящим отцом. Если ты захочешь ему все рассказать, поверь, это будет не лучшее для ребенка! Подумай о нем, Иван! Не о себе, слышишь? Не о своих амбициях и обидах – именно о нем, об Илье! Ты хочешь, чтобы у него была душевная травма? Как я могла такое сказать? Ты удивлен? Ну, хорошо, допустим, я постараюсь тебя понять. В конце концов, ладно, оставим эмоции. Ты объяснишь ему. Или я объясню. А что будет потом? Молчишь? Вот именно! А потом ты уедешь, Иван! На два года, на три. Или на десять. Ну или на всю оставшуюся жизнь – с вас, с мужиков, станется. А он? Как ему жить с тем, что его любимый папа ему не родной? Он начнет задавать вопросы – а где тот, родной отец? Где он? Почему не приезжает? Ну хорошо, ты будешь ему звонить, писать письма. А деньги, уж извини? Ты в состоянии его содержать?

Иван молчал.

Алена усмехнулась:

– Ну я так и думала. А мой муж, между прочим, заботится о нем, как не заботятся о кровных детях. У Илюши есть все, понимаешь? Все лучшее! И мой муж может ему это дать. А что можешь ты? Снова молчишь? Нет, я все понимаю: ты инвалид, тебе сложно. Ну и занимайся своей жизнью, устраивайся. А Илюшу не трогай. И нас больше не беспокой, очень тебя прошу! Поверь, так будет лучше для всех, а для Ильи в первую очередь. Если это тебя, конечно, волнует.

«Надо что-то ответить, – лихорадочно думал он. – Что-то веское, правильное, убедительное, чтобы она поняла. Что-то резкое, жесткое. Человек же она, в конце-то концов! Но... Она же права. По большому счету

– права! Как бы все это ни было ужасно».

– Хорошо, – прохрипел он. – Я тебя понял. Я смогу его увидеть? Хотя бы издали?

Алена раздумывала. Ему эти секунды показались часами. Наконец он услышал ответ:

– Ладно. Согласна. Завтра в пять в Летнем. По выходным мы там гуляем. Посмотришь, так и быть. Но, Иван, если только ты...

– Я понял! – выкрикнул он. – Завтра в пять.

Ночевал Иван на вокзале, а на следующий день бродил по Невскому, пару раз зашел в кафе, съел пару любимых когда-то пышек, выпил сладкого кофе из граненого стакана, заглянул в книжный, там, как всегда, ничего не было, но урвал Солоухина, чему очень обрадовался. Время тянулось немыслимо медленно, стекало как густой мед с ложки. В сад он пришел почти за час и, чтобы быть незаметным, сел на отдаленную скамейку и стал ждать сына.

Они появились вовремя, его бывшая жена и сын.

Иван привстал, чтобы получше разглядеть Илюшу, но расстояние между ними было немыслимо огромным, а ближе подойти он не решился.

Он видел Илюшину кудрявую светлую челку, торчащую из-под вязаной шапки, совсем такую, как у него в детстве. Тонкое узкое лицо, темные брови. Глаза? Он не мог разглядеть цвет глаз – остались ли они такими же синими, громовскими? Но какая, в сущности, разница? Илюша был довольно высоким – или Ивану так казалось? Что он понимал в росте семилетних детей? Нет, кажется, все-таки парень он крупный, высокий. Да и есть в кого. Коричневая куртка на меху, валенки. Пестрые рукавицы.

Илья и Алена сели на скамейку почти напротив, и он поймал настороженный взгляд жены. В благодарность осторожно кивнул. Она не ответила на его приветствие, отвернулась и поправила на мальчике шапку. Тот что-то говорил ей, похоже, торопил уйти, тянул за руку – в саду ему было скучно. Но Алена смотрела на часы и благородно тянула время. Илюша капризничал, и Алена все-таки поднялась со скамьи и, взяв его за руку, не глядя на Ивана, быстро пошла к выходу.

Он резко встал, готовый бежать вслед за ними, но, сделав шаг, остановился. Зачем? Он не может догнать их, схватить в охапку сына, уткнуться ему в волосы, вдохнуть его запах, почувствовать его тонкую спину, ощутить под рукой острые мальчишеские лопатки.

Не может – он обещал.

Иван снова сел на скамейку, опустил голову, закрыл лицо руками и завыл. Ему было абсолютно все равно, что подумают о нем проходящие

мимо люди – аккуратные, чистенькие старушки с палочками, истинные петербурженки, гуляющие поблизости бабушки с внуками, пара алкашей, притулившихся на дальних скамейках и осторожно, даже стыдливо, разливающих свою чекушку по граненым стаканам. Ему было все равно. И еще ему было очень горько.

Спустя полчаса он шел по Невскому, не замечая внезапно повалившего густого снега. Шел долго, пока не замерз и не почувствовал, что сильно промокли ноги. «Не хватает еще заболеть, – подумал он, – и куда я тогда?» Он зашел в булочную и встал за дверью у выхода – через стекло было видно, что метель расходится и усиливается и змеящаяся поземка стелется по тротуару.

Он прислонился к стене, прикрыл глаза и почувствовал, что сильно дрожит.

Вдруг он услышал:

– Ваня? Иван?

Он вздрогнул, открыл глаза и оглянулся – кто может его окликнуть, кто может узнать? Да мало ли Иванов в городе?

Но именно к нему торопилась невысокая, полноватая прихрамывающая женщина. Она резво и настойчиво, даже нахально, пробиралась сквозь густо набежавшую, прячущуюся от внезапной стихии толпу – время было послерабочее и народу в булочной собралось полно. И только когда она почти вплотную подошла к нему и тихо повторила:

– Иван, ты?

Он понял:

– Нонна Сергеевна! Вы?

– Вот так встреча! – не веря своим глазам, качала головой Нонна. – Нет, ну ты подумай, а? Ты здесь, в Ленинграде? Вернулся? И правильно! А где живешь? Ой, извини, бестактная я все-таки баба! Но как ты, что, Ваня? – повторяла она. – Прости бога ради. Не хочешь – не говори!

– Я не здесь, – объяснил он. – В смысле – не в Ленинграде. Приехал на пару дней по делам.

– А где ты теперь живешь? – удивилась она. – Снова в Москве?

– Да нигде я, Нонна Сергеевна, нигде не живу, если честно. Был у отца с мачехой. Уехал – сколько можно обременять хороших людей? В общем, транзитный пассажир – то там, то здесь. Ну, это пока, я надеюсь. В смысле – сейчас, сегодня.

– Значит... Ну так я и думала. Я вообще думала о тебе, вспоминала – как ты и что. У отца не прижился?

– Да нет, там все было нормально. Но это чужая жизнь. А мне нужна

моя, понимаете?

– Понимаю, как не понять? – отозвалась Нонна и решительно заявила: – Ну а сейчас ко мне! И без разговоров, слышишь? Ты же знаешь – это со мной не проходит! – засмеялась она. – К тому же высушить тебя надо, кому ты такой, – она окинула его взглядом и повторила: – Кому ты такой, Ваня, нужен? Дрожишь, как пес подзаборный.

– Да я никакой никому не нужен, Нонна Сергеевна. Вот в чем проблема, – усмехнулся он.

Она решительно взяла его за руку и потащила на улицу.

Метель не унималась – мело так, что ничего не было видно на расстоянии в пару метров. Нонна не обращала на это внимания – остановилась у кромки поребрика и подняла руку, чтобы поймать такси.

Опомнился Иван только в машине и стал сопротивляться, требовать, чтобы таксист остановил. Тот сильно разнервничался, но бурный монолог «захваченного в плен» был решительно прерван Нонной. Таксист, увидев в ней главную, успокоился и перестал испуганно поглядывать на Ивана в зеркало заднего вида.

«Зачем? Зачем я к ней еду? Обсохнуть? Смешно. У нее семья, своя жизнь. В конце концов, мы чужие, случайные люди. И зачем ей эти лишние хлопоты? Жалость! Опять эта дурацкая жалость! Всем меня жалко – ясное дело, калека! И я опять в тягость и опять утруждаю хороших людей. Ладно, сбегу. На вокзал, а там... А что, собственно, там? А там все решу, что-нибудь да придумаю. Может, в Москву. Да, в Москву. Только зачем? И к кому?»

Машина остановилась у типовой девятиэтажки, которыми плотно был усеян окраинный район. Он медлил, и Нонна, заподозрив неладное, первой вышла из машины и открыла заднюю дверцу:

– Ну что застыл? Давай вылезай! И, кстати! Не вздумай сбежать, все равно догоню! Забыл, какая я шустрая?

Иван выдавил из себя улыбку:

– Припоминаю. – И медленно вылез, а куда деваться?

Словно мальчика-детсадовца, Нонна крепко схватила его под локоть и потащила к подъезду. Рука хирурга, не вырваться. Да и не хотелось, если по-честному, потому что было зябко. «Нет, все-таки заболеваю, – подумал Иван. – Вот ведь влип». И еще было страшно. Страшно снова остаться наедине с собой.

В квартире пахло грибным супом – с наслаждением и тоской Иван втянул в себя давно позабытый запах. Из кухни выкатилась маленькая, кругленькая, похожая на колобка старушка в круглых очках.

– Нонка? – обрадовалась она. – Так рано? – Увидев непрошеного гостя, кажется, не удивилась. – Иван? – переспросила она. – Ну давайте обедать! Ты небось опять ничего не ела, – она укоризненно и с любовью посмотрела на дочь. – Опять бегала как сумасшедшая. И чаю не попила, знаю я тебя!

Нонна оправдывалась, словно девочка:

– Пила и даже ела. Как что? Бутерброд! Кажется, с сыром, не помню.

Старушка безнадежно отмахнулась:

– Давай уж! Будешь тут сказки рассказывать.

Нонна по-девчачьи подмигнула Ивану: дескать, что поделаешь? Здесь я, как видишь, всего лишь дочь, а не заведующая отделением.

Вручив большое полосатое полотенце, его отправили в душ, и он, запрокинув голову и постепенно согреваясь и чувствуя, как на него накатывает покой и блаженство, долго стоял под горячей струей.

Потом обедали. Густой грибной суп с перламутровой перловкой, точно такой же варила бабка. Румяные котлеты с пюре, тоже из детства. Старушка что-то болтала, поругивала дочь, но было видно, какие между ними великая любовь и доверие. После чая с малиновым вареньем – «Пей, Ванечка, пей! Не ровен час заболеешь!» – его наконец отправили спать.

Уснул он моментально, уронив голову на подушку, от которой пахло горячим утюгом. А перед тем как провалиться в глубокий сон усталого, вымотанного и вконец опустошенного человека, с тревогой подумал: «Зачем я согласился, зачем? Но как же хорошо-то! Как же спокойно!»

Ему казалось, что суровая Нонна живет по-другому – как же, ведущий хирург, заведованием, доктор наук. Он был уверен, что у нее прекрасная квартира с красивой мебелью, с мужем и дочкой и все у них хорошо. А оказалось, что все совсем не так – мужа у Нонны Сергеевны не было, и по обрывкам разговора он понял, что поженились они, будучи студентами, и после рождения дочери он некрасиво слинял к молоденькой медсестре. А Нонна осталась одна с маленькой дочкой и мамой. Денег в семье, видимо, не хватало. Дочка-студентка подмогой матери не была, жили на Ноннину зарплату и крошечную пенсию Анны Stanisлавовны, ее мамы. Выкручивались как могли. Быт и хозяйство были на старушке, и Нонна могла хотя бы об этом не думать. На работе она пропадала целыми днями – такова участь оперирующего врача и заведующей. Но несчастной себя не чувствовала – работа, отнимающая все силы, была для нее смыслом жизни.

Крошечная трешка – комната общая, проходная, гостиная, плюс две малюсенькие спальни, в одной из которых жила Ноннина дочка Марина, а во второй, такой же маленькой и куцей, обитали Нонна Сергеевна и Анна Stanisлавовна.

В гостиной – пятнадцатиметровой! – которую величали большой комнатой, собирались по вечерам: беседовали, делились новостями, пили чай, смотрели телевизор – общались. Друг друга любили горячо и искренне, и очень была заметна их зависимость друг от друга. Нонна, несмотря на страшную занятость, находила время позвонить матери с работы, Марина, внучка, звонила бабушке на перемене и, влетая в квартиру, тут же кричала:

– Бабуля! Ты где?

И если старушка замешкается, она, не снимая ботинок, бледная от испуга, тут же бросалась в комнату. Марина оканчивала медицинский.

– Династия, – говорила Нонна. – Выбрала дочка профессию! А как я ее отговаривала! Нет, конечно, со стороны все красиво: белый халат, почет, уважение и все прочее. Но жизнь, Ваня! Какая там личная жизнь, какая семья? Думаешь, нет моей вины в том, что муж ушел? Есть, ты мне поверь! Я была на работе всегда, каждый день, в выходные и в проходные. А дом, Ваня, надо стеречь. Оберегать от врагов, быть на страже. А где была я?

Иван осознал, что, поселившись в этой квартирке, нарушил спокойный и привычный женский мир, тихую обитель, «женский монастырь», как шутила Нонна.

Ее дочь, Марина, Ивана стеснялась, старалась не сталкиваться с ним. Но совместные воскресные обеды все же случались. Стараясь поскорее закончить трапезу и сбежать, глаз на него не поднимала, матери и бабке отвечала коротко и невпопад. Все понимали, что Иван ей нравится.

Была она высокой, немного сутулой, словно стыдилась своего роста. Но лицо ее, тонкое и нежное, было прекрасным. При взгляде на нее вспоминались женщины Средневековья – бледные, рыжеватые, с чистым и высоким лбом и печальным, смущенным взглядом.

В Марининой комнате стояла точно такая же этажерка, какая была у его бабки, – темного дерева, с фигурными балясинками, шаткая и кривоватая. На этажерке стояли Маринины книги. Ему стало любопытно, что читает Марина, и он попросил разрешения что-нибудь выбрать себе.

Она покраснела, опустила глаза и пробормотала:

– Да, да, конечно. Но вряд ли вы найдете что-то интересное для себя. Там женская литература.

Иван усмехнулся – кажется, таких девушек уже не осталось. Но книги были знакомые – Гюго, Мопассан, Мериме, Чехов, Бунин, Куприн. Какая там женская литература?

Он вытащил коричневый томик Бунина. И принялся листать любимые «Темные аллеи». Марина увидела, что он выбрал, и покраснела еще

сильнее.

Иван не собирался задерживаться в этом чудесном и теплом доме, злоупотреблять гостеприимством Нонны и ее родных – ждал ответа от Машки Велижанской, которой позвонил по приезду в Ленинград. Машка охала с полчаса, сокрушалась и непременно обещала помочь с работой – подключить «влиятельного», по ее словам, нового мужа.

А как быть с жильем, Иван не волновался. Будет работа – будет зарплата. А будет зарплата – он снимет комнату. Пусть на окраине, на большее наверняка не хватит, пусть за городом, все равно. Только бы срослось с работой. А там поглядим – посмотрим!

Но Машка не звонила, и тогда позвонил он сам. Она тянула и, казалось, уже пожалела, что что-то пообещала – объясняла причины, и эти причины, надо сказать, были весьма уважительны. Однако время шло, и Иван все больше тяготился своим пребыванием в Ноннинном доме.

Умница Нонна сделала еще одно огромное дело – помогла с оформлением инвалидности. Пенсия ему полагалась совсем небольшая, но лучше так, чем никак.

Он, разумеется, старался быть хоть чем-то полезным – ездил с Анной Станиславовной на Кировский рынок, законопатил на зиму дырявые рамы, подклеил отвалившуюся плитку в ванной, починил вечно текущий кран.

– Вот она, жизнь при мужике! – говорила Нонна. – Как мы отвыкли!

Марина краснела, бледнела и вылетала из комнаты, бросив на мать укоризненный взгляд. А он тоже смущался от этих слов, ища в них второй, тайный, смысл.

Ну и понял все окончательно, когда Нонна принесла билеты в Мариинку:

– Сходите с Маринкой!

– А вы? – спросил он.

– Ваня! Я так устаю! Какой мне театр? Да еще после работы! Будний же день, о чем ты? Я мечтаю об одном – прийти домой и вытянуть ноги.

Все так, все чистая правда, с работы она возвращалась замученная и почти надорванная. Но... «Сватает, – подумал Иван. – Вот и корысть. Нет, Нонна чудесный человек, человек высшей пробы. И скорее всего, приютила бы меня и без этого. Или нет? Или этот план возник потом? Кто его знает». Но было понятно, что парня у Марины нет – слишком скромна, слишком замкнута, слишком стеснительна. Но Иван? Зачем он им? Безработный инвалид, без жилья и работы? Хорош женишок! Или на безрыбье и рак рыба?

Конечно, он Нонне не отказал. Как откажешь, невежливо. В конце

концов, он ей был обязан не только приютом, но и жизнью.

В театре он исподтишка поглядывал на Марину. А ведь хороша! Пушистые, с золотистым отливом волосы. Белая кожа с нежным румянцем, длинные темные ресницы. Прелестная женщина – тонкая, нежная, чувствительная – из тех, кого не отметишь и не заметишь сразу, незаметная, неброская, но, когда обратишь внимание, глаз не отведешь, так хороша.

В тот вечер Иван впервые посмотрел на Марину другим взглядом – заинтересованным, мужским. Нет, она не волновала его как мужчину, но ему было приятно находиться возле нее, слышать ее тихий, успокаивающий голос, тонкий запах ее духов и волос и чувствовать ее волнение и смущение.

Чистая девочка. Прозрачная и понятная. Такая не способна на подлости и предательство. Такая будет вечно любить. Но дело не в ней, с ней все понятно. Он. Дело тут в нем и только в нем.

Стоял апрель, и на улице было неожиданно для Ленинграда тепло. В воздухе отчетливо пахло весной. Они молча шли по улице, разговаривать ни о чем не хотелось.

Наверное, ему надо было пригласить ее в кафе, но, увы, не было денег. Можно посидеть в парке – погода располагала. Так и сделали – в Катькином саду сели на скамейку.

Обсудили спектакль, поговорили о какой-то ерунде вроде неожиданно ранней весны и предположительно жаркого лета. Иван сказал, что мечтает поехать в Репино, соскучился по воде:

– Я же рак, стихия водная, и без воды не могу. Да просто искупаться и походить по лесу, полежать под соснами, вдыхая их смолистый горьковатый запах.

Она обрадовалась:

– А я – рыба!

И оказалось, что и ее любимым временем препровождения были лесные прогулки и купание. Удивились совпадению и, смущенные, замолчали. Рядом с ним, в десяти сантиметрах, не больше, сидела прекрасная молодая женщина. А он медлил, не решаясь взять ее руку. «Как пацан, ей-богу, и чего я робею?»

Рука ее оказалась легкой, почти невесомой, прохладной и гладкой. И чуть-чуть напряженной. Иван посмотрел ей в глаза, осторожно дотронулся до ее волос, удивившись их пышной легкости, и наконец поцеловал. Что он испытал? Это были странные чувства. Она нравилась ему, но той бешеной страсти, которая накрыла его с Лизой, точно не было. Не было и обычного нетерпеливого возбуждения. Нежность, умиление, теплота – странное

чувство, будто он целует ребенка, сестру.

Они снова гуляли по улицам, и он пытался быть веселым, легким и остроумным кавалером и собеседником. Впрочем, говорил один он – Марина молчала, смущение и напряженность никуда не исчезли ни у него, ни у нее.

Домой вернулись поздно, почти в час ночи, и их, к счастью, никто не встречал – домашние спали. Иван захотел чаю, и Марина, не поднимая на него глаз, быстро и ловко накрыла на стол и села напротив. Он взял ее за руку и полушепотом стал говорить, что она прекрасна и ей давно надо перестать смущаться и принимать это как данность. Она залилась нежным румянцем, смутилась еще больше и молча кивнула, пытаясь согласиться со сказанным.

На следующий вечер ее дома не было, зато была Нонна, смотревшая на него как-то странно – с ожиданием, что ли? Или ему так казалось?

– Какие планы на выходные? – осторожно спросила она.

Он разозлился на этот невинный вопрос и едко спросил:

– А что, билетов в театр больше не предвидится? Ну или хотя бы в кино?

– Ваня! – Нонна посмотрела ему прямо в глаза. – Я ведь не плету интриг, ты знаешь, это не про меня. И ничего не делаю специально. А то, что я хорошо к тебе отношусь, так ты и сам знаешь. А Маринка... Да, я была бы рада, даже больше скажу – счастлива, если бы у вас все получилось. Ну уж прости за мою откровенность. Повлиять на это я не могу. Получится – хорошо. Не получится – никто не виноват. Я права? А вот осуждать меня... Это зря, Ваня. Она моя дочь, и я за нее беспокоюсь, потому что все про нее понимаю. Ты мне как сын – слишком дорого дался. – Нонна улыбнулась. – Так в чем же мое преступление?

Иван сделал усилие, чтобы заговорить:

– Нонна Сергеевна, все так. Я все понимаю, поверьте! Осуждать вас? Нет, никогда! Да я вам жизнью обязан! – Он задохнулся от волнения, подошел к окну. – Я материал отработанный, вот в чем проблема. И там, внутри, – он постучал себя по груди, – ничего нет, понимаете? Пустота. Пустыня. Ничего не осталось. Все выжжено и загажено, как на мусорной свалке. И сильно смердит. Зачем я Марине, такой юной, чистой, чудесной? Зачем? Что я могу ей дать? Только измучаю, только заставлю страдать. Чем могу отплатить, чем ответить? Нет, я не готов, извините. И я считаю, что должен был вам это сказать. И дело не в ней, лучше Марины я не видел и не встречал. Дело во мне, и только во мне. Я инвалид, калека, и не только физический, но и моральный, вы понимаете? Простите. – И вышел из

кухни.

Он собирал свои вещи. Да что там собирать, ерунда. Все, что он скопил, помещалось в небольшой чемодан. Вышел в коридор. Нонна по-прежнему сидела на кухне. Услышав его шаги, повернулась:

– Уходишь?

Ивану показалось, что она не удивилась.

– Ухожу. Спасибо вам. За все. Низкий поклон. И еще раз простите.

– Счастливо. И очень надеюсь, что у тебя все получится, Ваня. Все сложится и образуется. Удачи тебе.

В горле застрял колючий комок. Ничего не ответив, он вышел. Он не имеет права врать этим людям, давать им ложную надежду, вторгаться в их жизнь.

«На вокзал, – решил Иван, – в Москву. На могилу к деду и бабке. К Леньке. А там... Разберемся. Да, разберемся!»

Было тоскливо и горько, но он понимал, что сделал все правильно. Прощай, Питер! Прощай. Прощевай, как говаривал дед.

В Москву? На родину, говоришь? А кто тебя там, на родине, ждет? Кто обрадуется тебе? Кто приютит и обогреет тебя? Разве там, на твоей родине, в твоём родном городе, есть такое место и такие люди? Есть те, кто поможет тебе?

В Москве было прохладно – хорошая погода как всегда «застряла» в Ленинграде. Бабка, когда слушала метеосводки, всегда говорила:

– Ну, раз в Ленинграде тепло, значит, скоро придет и к нам. Ну, раз в Ленинграде похолодание – жди у нас!

С вокзала Иван позвонил Нинке. Та обрадовалась ему – он и не ожидал.

– Конечно, приезжай, Ванечка! О чем ты? Я тебя жду! Ох, как я соскучилась, Вань! Но ты сволочь, конечно, хорошая!

На вокзале он купил цветы и большую коробку конфет «Ассорти» – немыслимая удача.

Нинка открыла дверь, и оба замерли на пороге. Нинка по-деревенски охнула, зажала ладонью рот и молча, словно не веря глазам, полным ужаса и испуга, долго крутила головой.

Да и Иван удивился, что уж там – Нинка здорово постарела, да и просто сдала. Исчез любимый пергидрольный, «до потолка», начес, и не было боевого раскраса – ни перламутровых жирных синих теней, ни густой, свалившейся тяжелыми комьями туши, ни яркой морковной губной помады, по мнению Нинки, молодящей и освежающей.

Перед Иваном стояла пожилая, измученная женщина с небрежно

забранным на затылке хвостом пегих волос, с помятым серым лицом и сморщенным и полупустым, без зубов, ртом.

Нинка очнулась, поправила распахнувшийся на груди халат и стала робко оправдываться:

– Ой, Вань! Извини! Жрать готовила – ты ж, наверное, с дороги! А себя прибрать не успела.

Прошли на нищую и неопрятную кухоньку – бардак там стоял неимоверный. Нинка есть Нинка, и он вспомнил, как бабка ругала нерадивую соседку – и неряха она, и неумеха, и все остальное.

Нинка быстро накрыла на стол – отварная картошка, небрежно почищенная тощая селедка и крупно нарезанная вареная колбаса – было видно, что из дешевых. Бабка называла такую «собачья радость». Конечно, из холодильника была вытащена и поллитровка, и он увидел, как Нинка порозовела и оживилась.

«Все понятно, бухает, – понял Иван. – Хотя что удивительного? Одна на целом свете, никого нет, ни родных, ни близких. Родственная душа», – усмехнулся он.

После первой же рюмки Нинку развезло и потянуло на воспоминания – их квартира в Староконюшенном, бабка и дед, он, маленький, скандалы с бабкой и горячие примирения. Попытки устроить личную жизнь, безответная любовь к Митрофанычу и, наконец, переезд. Вспоминая о Митрофаныче, Нинка с гордостью повторяла заветное слово «муж»: «у моего мужа», «мой муж», «мы с мужем». Он понял, почувствовал, что больно ей до сих пор. А ведь со смерти Митрофаныча прошло уже очень много времени.

Нинка рассказала, что работает уборщицей в овощном.

– Работа тяжелая, но знакомая, – хихикнула она. – Да и с прибытком. Девки то того наложут, то этого накидают! Вот и борщик, вот и картошечка жареная! Яблочек там подбросят, апельсинчиков помятых. Вот так и живу, Вань! Ты ж меня знаешь, мне много не надо.

– А квартира, Нин? Ну, Митрофаныча, его однокомнатная? Ее же можно сдавать?

Нинка удивилась вопросу:

– Какая квартира, Вань, и при чем тут я? У меня ж есть квартира. – И Нинка обвела гордым взглядом свою затрапезную комнатушку. – А та, Вань, в смысле, квартира, дочке его досталась. Слава богу, успели ее прописать!

Он покачал головой: а что тут скажешь? Нинка по-прежнему честная и бескорыстная. Нинка-дуреха.

Он видел, что она косится на его ногу и палку, но молчит.

При всей Нинкиной безалаберности и простоте хуже воровства, по словам все той же бабки, были в ней какой-то внутренний такт, деликатность, душевная тонкость и очевидная способность сопереживать.

Оборвав саму себя и кивнув на его ногу, тихо и осторожно она все же спросила:

– Вань, это чё?

Он рассказал. Тоже скупое, стараясь обойтись без подробностей, с прибаутками и смешками, пытаясь смягчить и не выдать своего состояния.

Нинка охала, вскрикивала, качала головой, приговаривая:

– Ну как же так, Ванечка? Как же так, а? И за что тебе, миленький? Такой молодой, а уже инвалид! А пенсия, Вань? Ну что это за пенсия? Плевок от нашей советской, блин, Родины! Вот сволочи, а? А про эту твою... – Нинка нахмурилась. – А про эту твою... сволочь, уж извини, просто молчу! Таких сук вообще отстреливать надо!

Он остановил ее:

– Не надо, Нин. Она мать моего сына.

– Которого она у тебя и отняла, – не сдержалась Нинка и, увидев его лицо, испуганно забормотала: – Все, все, Вань! Больше не буду! Молчу.

Нинка опьянела быстро – сломалась. А раньше выпивку держала. Все так, жизнь меняется, все стареют, и все проходит. Да и досталось ей! Не приведи господи.

Он отвел Нинку в комнату и бережно уложил на диван. Да и самому невыносимо спать хотелось. Вышел покурить на балкон и увидел старую пыльную раскладушку с поржавевшим остовом.

Вытащил, протер ее и, бросив на нее одеяло и подложив под голову свой свитер, осторожно, чтобы не разбудить Нинку, улегся. Конечно, ржавые пружины заскрипели, заныли, но гостеприимной хозяйке было уже все равно – она громко, по-мужичьи, храпела, широко открыв беззубый, старушечий рот.

Рано утром собрался на кладбище – Нинка еще крепко спала. Оставил ей записку и вышел на улицу.

Было хмуро и пасмурно, и он вспомнил о ленинградской ранней весне, о долгой последней прогулке с Мариной по Невскому. Вспомнил Катькин сад, Маринины холодные руки и прохладные твердые губы, ее запах – невыносимо яркий запах женщины – и подумал: «А может, зря? Зря так резко рванул, зря испугался? Ведь никого лучше, чище и благороднее не встречал. Да и Нонна – ах, какой бы сказочной тещей оказалась Нонна Сергеевна! И бабушка Анна Stanisлавовна, милейшая и умнейшая. Нет,

все-таки я дурак. И чего так струхнул? А ведь мог появиться свой дом. Дом, где меня ждут и всегда мне рады».

Откинув дурацкие мысли, он быстро пошел к метро.

Не замечая ничего вокруг, хмурый народ, опустив головы и подняв воротники, спасаясь от колючего ветра, спешил по делам – день был рабочим.

У кладбища Иван купил букет красных гвоздик – спасибо и на этом, цветы по-прежнему были в большом дефиците. Быстро, не смотря по сторонам, дошел до своих. Там все было так же, да и что могло измениться? Хотя нет, не так – цветник неопрятно зарос густым сорняком, а прошлогодние листья мокрой темной гнилой кучей закрывали плиту. Чуть накренился и памятник в разводах от дождя и пыли. А на него смотрели дед и бабка. Бабка, как всегда, с легкой иронией:

– Ну что, блудный внук? Заявился? А мы и не чаяли! Забыл ты нас, Ваня.

А дед... В углу губ обычная ухмылочка:

– А, Ванька! Привет! Как ты там, внук? Опять небось напортачил?

Иван оглянулся, увидел полуразвалившийся фанерный ящик и осторожно присел на него. Ящик качнулся, скрипнул, но устоял. Вынув из кармана пачку сигарет и отсыревшие спички, попробовал прикурить, но не получалось – влажные спички ломались. Чертыхнувшись, он прикурил с пятой попытки и, глядя на фотографию, сказал:

– Ну, ребята, привет. Как вы там? У меня, если по-честному, как-то не очень складно. Да, напортачил, ты, дед, прав. Буду стараться поправить, что ли... А уж получится ли? Да бог его знает! Но живой, уже хорошо.

Ему казалось, что он слышит поскрипывание деда: «Ну как же так, внук? Как же тебя угораздило? Эх, был бы я рядом!» И причитание бабки: «Ваня, сынок! Да как же так, милый? Чтоб все так сразу? И мы тебе не помощники...»

Он успокаивал их, убеждал, что теперь все хорошо. Про развод и Илюшу – коротко, почти ничего. Про Нинку подробнее. Ну и про аварию и про больницу. Про отца, Тоню и Мишку – чтобы их слегка успокоить.

Потом спохватился, отругал себя, что не взял ни тряпку, ни воду, ни веник. Да и есть ли у Нинки веник? Навряд ли – Нинка и веник несовместимы. Из кармана достал носовой платок и, извинившись за неуважение и несообразительность, стал тщательно протирать фотографии, с которых еще нестарые и бодрые дед с бабкой с печалью и укором смотрели на внука.

Кое-как оттерев грязь, положил у подножия памятника гвоздики.

Вспомнил, что бабка их ненавидела, называя «цветами революции». Бабка любила пионы.

– Прости, баб! Ну уж что было. – Попрощался: – Пока, мои дорогие! Вы уж простите меня, дурака. – Сглотнув комок, застрявший в горле, пошел к выходу.

Припустил дождь; поевшись, Иван поднял воротник куртки и прибавил шаг – нога разболелась прилично, на сырость она всегда начинала болеть. Вот ведь зараза.

На Кунцевское приехал через час, могилу Велижанского нашел не сразу – вокруг как грибы выросли новые памятники. Памятник у Леньки, конечно, был – Машка поставила, догадался он. Или Ника... Кто их разберет? Не уверен, что с уходом Леньки они его поделили.

Вместо фотографии на камне был портрет – называлось это ручной гравировкой. Недавнее веяние. Но похож – на портрете Ленька был как живой. Вечная ирония в глазах, усмешка: «Ну как, братья и сестры? Разобрались? Разобрались во всем? Ох, нет, не уверен! А я вот свободен! От всего – в том числе и от вас, и от ваших разборок – вот кайф!»

Ленькина могила была чистой и ухоженной, не то что могила его стариков. Иван почувствовал острый укол совести. Впрочем, у него есть оправдание. А здесь – две вдовы. Есть, как говорится, кому последить. Молодцы, девки!

«Ну что, брат? – Он взгляделся в знакомое лицо. – Вот такие дела... Плохо мне без тебя, Ленька. Очень плохо. Нет, жалеющие есть! И сочувствующие присутствуют. А вот обсмеять некому. Некому принизить ситуацию, сделать ее незначительной, смешной и комичной: ой, инвалид! Хроменький мой, колченогий! Крепись, брат! Главное, чтобы на потенцию не влияло! А все остальное ерунда! Все правильно, Ленька. Все правильно! Не про потенцию, уж конечно! А про то, что я на двух, как ни крути, ногах. И при руках. И при башке своей глупой. И еще – живой. Я жив, а вот ты, Ленька, нет... Прости, брат, что разнюнился. Кретин я, согласен. Ну все, все! Беру себя в руки. И в ноги – ха-ха! И еще – скучаю я по тебе, Ленька. Сильно скучаю, Велижанский. Веришь?»

Провел ладонью по портрету в технике ручной гравировки, и ему показалось, что Ленька ему подмигнул.

Вышел из ворот кладбища, посмотрел в уже почти чистое голубое небо, закурил и снова пообещал Леньке и своим, что постарается – и за них в том числе. А то некрасиво как-то, неловко, ей-богу.

Долго раздумывал, звонить ли Машке. Позвонил. Она удивилась, вроде обрадовалась, но по ее голосу он почувствовал, понял, что

подробностей она не хочет и его жизнь ей неинтересна. Когда это была та жизнь? Триста лет тому назад – он, Велижанский, их компания и ее, в общем, несчастье. Машка старалась побыстрее разговор и воспоминания окончить. К тому же ее дергали, и Иван слышал плач ребенка – ей было действительно некогда.

– Вань, прости ради бога! Дочь орет как подорванная, отит! Три ночи кричит – сил уже нет. Сейчас повезем в Семашко, в платную. Эти, которые из районки, ну просто кретины, веришь?

Он смутился и торопливо ответил:

– Да, да, конечно, беги!

Про обещанную ею работу – ни слова. Ну да ладно. Маша не попросила перезвонить, а уж заехать – тем более. Нет, все понятно, у нее новая жизнь. И кажется, в этот раз ей повезло. Ну и дай бог, настрадалась. Подросших Ленькиных девок посмотреть, конечно, хотелось. Но, видно, не судьба.

Он не удержался и поехал на Арбат. Этого, конечно, делать не стоило – проходя по знакомым переулкам и улочкам, еле сдерживал слезы. Вот где осталось его счастливая жизнь, счастливая и беззаботная.

Постепенно Ивана стали утомлять ежедневные выпивоны с Нинкой и бесконечные тягомотные разговоры про «несчастную и дурацкую жизнь». Да и не выход это был – отсиживаться у Нинки. Конечно, не выход! Нет, она была искренне счастлива – отстаивала дикие очереди за мясом: «А как же, у меня в доме мужик!» Варила несъедобные щи и рассольники, пыталась навести чистоту и порядок. А однажды он случайно услышал, как бедная Нинка хвастается перед соседкой: «Племянник мой, Ванечка! Умница мой! А талантливый! Скульптор. Правда, не повезло – на машине разбился, такая беда... И жена оказалась сволочью – бросила и выперла из квартиры, ну ты понимаешь! Все они, эти молодые, – не то что мы. Другое поколение, – важно добавляла она, – суки, короче».

Ему стало и смешно, и грустно. И окончательно понятно, что от гостеприимной Нинки надо съезжать. Только куда? Куда?

И он позвонил сестре, Лене. Домашнего телефона у нее, конечно, не было. Дозвонился на работу, в больницу, аккуратно в ее дежурство. Долго ждал – Лену искали по отделению, и наконец он услышал запыхавшийся голос сестры:

– Ванька! Ты? Ох, молодец! Тыщу лет ведь не слышались!

Рассусоливать долго не стал, как не стал и намекать – не тот человек Ленка, его «так сказать, сестра». Спросил напрямик, правда с небольшой заминкой:

– Лен! А можно... К тебе приехать? Ну, в смысле к вам?

Ни минуты не раздумывая, Ленка громко и радостно заверещала:

– О чем ты, братик? Ты вообще в своем уме? Как это «можно»? Да нужно, Вань! Необходимо! Я так соскучилась по тебе! – И тут же деловым и строгим, начальственным голосом: – Билет бери сегодня же, не тяни! Понял? – Чуть замялась: – Бери мягкий, купе! Я доплачу! Может, денег выслать? Телеграфом, срочным?

Иван, конечно, отказался. Не скрывая радости, ответил, что поедет за билетом сейчас же, прямо с вещами. Тысячу раз повторил «спасибо», Ленка на него орала и одновременно орала на кого-то из коллег, на какую-то «бестолковую и ленивую» Свету, потом на какую-то Римму Семеновну: «С непрофессионализмом я буду жестко бороться!» – и, извинившись, снова переключалась на него. И опять указания:

– С вокзала, как возьмешь билет, позвони. Бери на сегодня, не тяни! И тут же радостно: – Ванька! Не верю, неужели увидимся? – И тут, словно что-то припомнив, извиняющимся тоном добавила: – Вань, я должна, нет, обязана тебе сказать! Мама... в общем, она у меня. Я ее забрала, Ваня. Батя до белки допился. Лупил ее, ну и все такое... Говорить не хочу – стыдно. Другого выхода не было. Его тоже жалко, только ему не помочь. Вань, ты думаешь, я не должна была этого говорить?

Мать... Конечно, по ней Иван не скучал. Даже не так – он ее ни разу не вспомнил. А сейчас получалось, что он будет с ней жить в непосредственной близости – куда уж ближе! Квартирка у Ленки маленькая, дочери и муж. Ну и в придачу – больная мать. И тут еще он! Он замешкался – получалось, что его поездка была под угрозой.

Но тут вступила Ленка:

– Знаешь, братец, все дело прошлое. Я понимаю, такие обиды забыть тяжело, даже невозможно. И боль не проходит, все так. Но совесть имей, – засмеялась Ленка, – совесть, Ваня! – И тут же серьезно, без шуток, добавила: – Тяжело мне, Ваня, если по-честному. Работа, дом, дети, муж. Ну и мать теперь. Помощь твоя мне, если хочешь, необходима!

Ну что ответишь? Ленка, умница, как всегда нашла к нему подход. Взрослый мужик – да бог с ними, с обидами! Но как же Ленка умна и хитра! Он быстро собрал чемодан и стал дожидаться Нинку. Вышел на улицу – эх, достать бы Нинке цветов или большую коробку шоколадного набора. Да где там – магазинные полки были девственно пусты. Но в булочной ухватил огромный бисквитный торт, украшенный разноцветными кремовыми розами – уже повезло! И Нинка, конечно, обрадуется.

Узнав о его планах, она заплакала:

– Как же так, Ванечка? Значит, бросаешь старуху? Оставляешь одну, без всякой помощи?

– Какая помощь, Нин? О чем ты? Я тебе только в тягость. Сложно ведь – однокомнатная квартирка, а тут я. К тому же лишние хлопоты – что-то достать, приготовить. Я обуза, Нинок! Обуза, а никак не поддержка. Думаешь, я этого не понимаю?

Нинка плакала и убеждала его в обратном.

Конечно, он все понимал – одиночество. Страшное одиночество, безбрежное, дикое. Представлял, как Нинка приходит с работы и открывает пустую, темную квартиру. Всю жизнь одна, без семьи. Короткое счастье с Митрофанычем. Да и счастье ли? И все-таки было для кого жить. За кем ухаживать. Нет, теперь он знал точно: любые хлопоты, любые проблемы и даже беды – ничто рядом с одиночеством.

И все-таки у него своя жизнь. Ему было жаль несчастную Нинку, но это никак не могло отменить его решения. В конце концов, может, у него появился шанс что-то изменить?

В пять вечера он был на вокзале, легко купил билет – не так много людей стремилось уехать в Мурманскую область. Взял плацкарт, какой там мягкий? Не барин, доедет и так, не привыкать. Позвонил Ленке и услышал, как обрадовалась сестра.

Денег было катастрофически мало, хватило на две книжки девчонкам, довольно страшноватого и лысого пупса в коляске, килограмм московских конфет и бутылку дагестанского коньяка для Петровича, зятя.

А вот с сестрой было сложнее. Но снова повезло – у входа на вокзал заметил тетку, у которой из сумки торчало что-то снежно-белое, кружевное. Понял, что она торгует. Та, увидев его, заговорщицки кивнула. Оказалось, что белое и кружевное – ночная рубашка.

– ГДР, – приговаривала тетка, – достала по случаю! Такой красоты тебе вовек не найти.

– Да спасибо, я понял! Только размер, наверное, не подойдет – сестра у меня женщина крупная, корпулентная.

– А я? – обиделась тетка. – Я мелкая, что ли?

Она и вправду была крупной, высокой и полной.

– На себя брала, на себя, – испуганно озираясь по сторонам, пришептывала торговка. – Но не повезло, мала оказалась, зараза.

Зашли в близлежащий подъезд, и, как фокусник достает из коробки белого кролика, она извлекла из сумки «белое и кружевное».

Рубашка была и вправду сказочно красивой, из другой, незнакомой, неземной и нездешней жизни. И самое главное, тетка не обманула: она

оказалась действительно большой.

Но цена! Иван выскреб последние двенадцать рублей. Испытывая небывалую радость, засунул ее в чемодан. Наверняка сестра обрадуется подарку.

Про мать он не подумал, точнее, даже не вспомнил – ни на вокзале, ни в поезде.

На оставшиеся деньги купил в дорогу в буфете еды – колесико краковской колбасы, батон белого, три отварных яйца, пару бутылок пива – гулять так гулять. И вперед, к новой жизни!

Настроение у него было приподнятое, давно такого не помнил.

В поезде, как бывает в плацкарте, было шумно и суетно. Пахло чесноком, потом, пивом и детскими пеленками – обычные поездные запахи. Но, как ни странно, они успокаивали Ивана и даже обнадеживали: поездка – это всегда начало чего-то.

Иван смотрел в окно, читал купленные на вокзале газеты, подолгу спал, курил в тамбуре, предвкушая встречу с сестрой. Сто лет они не виделись с Ленкой. Да не сто – двести!

Про мать он старался не думать, так было легче.

Ехали больше суток – ночь, день, и к поздней ночи приехали. Он вышел на перрон и поежился – холодный и резкий ветер негостеприимно плеснул в лицо. Оглянулся – сестры на перроне не было. Но к нему торопился, приветливо и обрадованно маша рукой, высокий полный мужчина – зять, догадался он, Ленкин муж.

Это действительно оказался Петрович, как называла мужа сестра, и это ему вполне подходило – у него было полное, немного рыхлое, но приветливое лицо. За толстыми стеклами очков радостно блестели уменьшенные диоптриями добрые глаза.

Петрович яростно смял его в своих объятиях, приговаривая, какое это счастье – шурин приехал. И как счастлива Леночка! А уж как ждут племянницы!

Иван успокоился – кажется, этот Петрович ему искренне рад.

Сели в автобус, и зять посетовал, что жена на работе – срочно вызвали, сложный случай, справиться может только Елена Павловна – лучший специалист.

– Да, работы у Леночки... – посетовал он. – Устает страшно. Но счастлива, веришь?

Иван кивал. А зять с воодушевлением продолжал:

– Леночка гений! Врач от бога, и работа для нее – жизнь. Это я – так. Ну лечу, да. Но отними у меня работу – проживу, не сомневайся. Я

неплохой врач, и только. А Ленка гениальный! Да, да, фанатик и гений. Вот она без работы точно не сможет. И все успевает, ты представляешь? Нет, я, конечно, помогаю – уроки Светочки на мне и Томочку из садика забираю. Уборка, опять же. Ну и готовка – повар из меня неплохой. Матушка моя была поварихой, ну и меня научила. Царствие ей небесное – год назад умерла. – Петрович всхлипнул, снял очки и вытер покотившиеся слезы. – Такие женщины мне достались: матушка, жена! Девчонки мои! Вся жизнь в них, поверь! – И он снова всхлипнул.

«Кажется, мне достался очень восторженный родственник», – с теплотой подумал Иван и с неприкрытой иронией осведомился:

– А теща? И с ней тебе повезло?

– Что поделаешь, Ваня. Человек она... да, что уж там говорить, нелегкий. – Но тут же хитро прищурился: – Не все коту масленица, а?

– Понял, – улыбнулся Иван.

Подумал, что хороший мужик этот Петрович, с юморком. Жаловаться на тещу не стал. А ведь можно представить. Немножко смешной, чувствительный слишком, но Ленке, кажется, с ним повезло.

Ехали почти два часа – за окном была непроглядная темень.

– Завтра рассмотришь наши красоты, – засмеялся Петрович. – Налюбуешься. Правда, чем тут любоваться, даже не знаю, – честно признался он.

Наконец приехали, вылезли из дребезжащего, хлипкого автобусика и пошли к дому – все так, как Иван и представлял: трехэтажный блочный с двумя подъездами, холодной лестницей, пахнувшей котами и супом. И вот наконец квартира сестры. Две комнаты, небольшая кухня и крошечная, словно для лилипутов, прихожка – скинуть сапоги, сбросить куртку и упасть на кровать. Все на расстоянии вытянутой руки.

И как они будут здесь жить? Зачем он приехал... Дурак. Конечно, дурак. Снова свалился людям на голову. Хорошим, надо сказать, людям, живущим своей непростой жизнью. «Ну ничего, – успокоил себя, – поживу пару недель и уеду. Конечно, уеду, уже все понятно. Все, все. Хватит хандрить, в конце концов я приехал к любимой сестре – к своей «так сказать, сестре», – он улыбнулся, почувствовав, как соскучился по Ленке. Скорее бы она вернулась с работы.

Он разулся, снял куртку. Тщательно, оттягивая время, мыл в ванной руки и наконец услышал скрипучий, глуховатый голос:

– Приехали уже? И он приехал? – Мать обращалась к Петровичу.

Услышал, как яростно зашипел Петрович, затыкая тещу. Но сердце упало. Рухнуло. Стало невыносимо тошно. Какой же он идиот. Знал ведь, а

приперся! На что рассчитывал? На любовь и ласку? Схватить чемодан и... бежать!

Нет, нельзя. Надо дожидаться сестру. А то совсем дико выйдет: взрослый мужик, а сбежал. Он с сочувствием глянул на себя в зеркало, увидел постную рожу и вышел из ванной. Почти готовый.

К чему? К нелюбви.

Иван замер в узком коридорчике. В двух шагах от него стояла женщина. Нет, не так – перед ним стояла старуха. Тощая, сгорбленная, с маленьким, морщинистым, чужим лицом. Его мать.

Старуха смотрела на него с интересом, как на нового знакомого, но интерес ее был скорее любопытством, обычным рядовым любопытством, с которым, например, наблюдают старушки на лавочке случайных прохожих – так, от нечего делать.

Она оглядела его всего, с головы до ног, еле заметно сморщилась, когда ее взгляд упал на его палку. Вздохнула – не горько, нет. Так люди вздыхают от доуки, от внезапно возникших, лишних и ненужных хлопот.

– Явился? – осведомилась она. – Ну заходи.

Он кивнул:

– Явился. – И добавил: – А может быть, здравствуй?

Слово «мама» по-прежнему застывало в горле – не проглотить и не выплюнуть.

– Здравствуй, – медленно произнесла она и добавила: – Коли не шутишь.

Он не услышал ни слова «сын», ни своего имени.

«Три, максимум пять дней – и распрощаемся. Наболтаемся с Ленкой, повидая племяшек – и дальше, дальше, туда, где «оскорбленному есть сердцу уголок».

Петрович кормил Ивана ужином. Или завтраком – на часах было три ночи. Нажарил блинов, соорудил невозможно пышный омлет, сварил кофе: «Извини, хорошего у нас нет. Да и вообще никакого нет, если честно. Товарищ был в Риге у родни, вот и захватил килограмм. Теперь вот балдеем!» «Эх! – расстроился Иван. – Вот я бестолочь! Не подумал – здесь же ничего нет! Если в столице проблемы, то здесь? Надо было поехать на Кировскую, в китайский дом-пагоду, отстоять пару часов, но уж точно урвать пару кило ароматных бразильских зерен. Вот и вправду – лучший подарок!»

На тесной кухоньке с трудом умещалось три табурета. «Едим по очереди, – улыбнулся Петрович, уплетая за обе щеки и блины, и омлет, – иначе никак».

Оказалось, что работает Петрович сутки через трое, чтобы ухаживать за тещей. Лена – каждый день, она заведением и оперирующий хирург. Иногда вызывают и по ночам. Петровичу, конечно, проще, чем ей: отработает сутки и свободен. Душа не болит – в его терапии лежат в основном старики, дедки и бабки. Лежат себе и лежат, как правило, никаких эксцессов. В те дни, когда он на сутках, Лена прибегает покормить девчонок и маму. Дети сами пока не справляются. Газовую колонку включать им не разрешают, родители побаиваются – все старое и ветхое.

– Вот так и живем, – вздохнул зять. – Короче, приспосабливаемся. Ну, как и все, – грустно улыбнулся Петрович.

– А... – Иван запнулся и кивнул головой на дверь. – Ну, в смысле...

– Теща? – помог ему Петрович. – Так она уже! Спит, в смысле. Режим у нее, о чем ты? Встает рано, завтракает и снова ложится – почти до обеда.

«Надо же! – подумал Иван. – Даже сегодня, после стольких лет разлуки, она не изменила своему режиму, не села рядом со мной, не поговорила даже».

После обильной еды разморило и потянуло в сон. Петрович уложил его в зале – так он назвал небольшую, метров в тринадцать, гостиную – два кресла, журнальный столик на хлипких ногах, книжные полки одна над другой и телевизор – цветной «Рубин», надо же, даже в Москве дефицит. Там же притулился раскладной диван для хозяев.

Иван лег и подумал: «А как они здесь размещаются? Как вообще... все это будет? Нет, не на пять дней он приехал, максимум на три, не больше. Бедная Ленка!»

И тут же уснул.

Ленка, сестричка, вернулась наутро после суток:

– Да сбежала! Просто сбежала – и все! Повод серьезный – любимый братишка приехал!

Иван смотрел на нее во все глаза. Ленка, разумеется, постарела – а кого это миновало? – и еще больше поправилась. А что тут сделаешь, гены есть гены.

Сама посетовала:

– Бегаю, кручусь как белка, мотаюсь. Нервы, все время сплошные нервы, а все равно ползу! И ем вроде немного, а все равно набираю! Вот ты, например, – сестра улыбнулась. – Тебе повезло! Мамкины гены взял – тощий! И ничего тебе не грозит. А я – в своего папашу, чтоб ему...

– Мамкины? Ну да, наверное... Хотя мне б не хотелось. Нет, не ее – я в деда пошел! Тот тоже был жилистый.

– Ну и ладно, – миролюбиво согласилась сестра и тихо спросила: – Ну

как ты, Ванечка? Как все получилось, как вышло?

Говорил он долго, мучая сестру подробностями, порой ненужными. Но коротко не получилось – слишком ему хотелось выговориться, пожаловаться. Ведь живой человек. Да как столько носить в себе горе и боль!

Ленка не перебивала, только хмурилась. Потом попросила показать ногу. Посмотрев и пощупав, сказала:

– Вань, а ведь он гений, твой хирург! Ногу-то тебе спас. Я бы так не смогла. Это такое мастерство, такой профессионализм и даже талант. Молись на него, Ваня!

– На нее, – коротко бросил он и отвел глаза. – На нее, Лен. Я все понимаю. Только я... Поступил с ней как сволочь. Как конченная сволочь, понимаешь? А она ведь не только ногу сохранила, Лен, она меня к жизни вернула. Приютила. Дала кров и хлеб. А я...

Ленка вопросов не задавала. Нелюбопытной была его сестра. Спасибо за это.

– Ладно, закончили на сегодня, – улыбнулась она. – Времени у нас вагон, еще наговоримся. А сейчас пойдем в кухню, познакомлю тебя с девчонками. Ну и обед – семейный обед! Петрович там, кажется, расстарался. – И она потянула носом. Из кухни и вправду неслись замечательные запахи.

Накрыли в зале: белая, накрахмаленная до жесткости скатерть, нарядные гостевые тарелки – скромные, дешевые, но явно береженные.

Племянницы, Светлана и Томочка, смущенные и даже слегка испуганные, сидели в нарядных парадных платьицах, с большими капроновыми бантами в волосах. Обе были белобрысые, белокожие, с редкими бледными веснушками на забавных курносых носах – одним словом, дети севера. Голубоглазые – вылитая Ленка! Впрочем, и с отцом было сходство. Ничего удивительного – Петрович и Ленка были между собой похожи.

Иван удивлялся способностям зятя – вот уж сестре повезло! А сколько баб тянут и работу, и дом, и детей? Было видно невооруженным глазом – между сестрой и ее мужем полное взаимопонимание, любовь и уважение. А в глазах Петровича еще и восхищение любимой женой.

Но то, что живут они трудно, тоже было очевидно.

Впрочем, так жила вся страна.

Мать сидела молча, смотрела в тарелку и в семейных разговорах участия не принимала. Пару раз сделала замечание девочкам, и они, смущенные и перепуганные, ища поддержки, посмотрели на мать. Ленка не

среагировала.

Петрович смущался, старался на него не смотреть, пытался развлекать разговорами, но после старухиных резких одергиваний все скомкалось, съехало с наезженной колеи. Все пригорюнились.

Петрович принялся убирать со стола, от Лениной и Ивана помощи отказывался, гнал их на кухню:

– Идите, болтайте! Я тут сам разберусь.

Ушли. Сели напротив друг друга, и снова потек разговор.

Ленка рассказывала о работе – да, сложно, порой просто невыносимо, ничего нет, никаких расходных материалов, не хватает не только лекарств, но и перевязочных материалов.

– Кручусь, верчусь, веришь? Езжу в центр, добиваюсь, стучу кулаком по столу, призываю к совести. Вывожу, короче. Выбила кое-что, – она рассмеялась. – Новые кровати, например – аж восемь штук! А что, победа! И рентген-аппарат, представляешь? Да и народ тут... разный – сам знаешь: эки, старатели. Ну и вообще непросто, Вань. Хотя кому сейчас просто, верно? Ну и климат, конечно. Холодно, Ваня. Север, понятно. Самое сложное – полярная ночь. Сорок два дня, представляешь? Сорок два дня без солнца вообще. Правда, отвыкли мы от него, от этого солнца... Зато девчонки радуют – такие умнички, правда! Светланка отличница, и Томочка – явный талант! Представляешь, танцует! И в кого такая? Изящная, тонкая. Пластичная, не то что я – корова на льду. Только бы ее не разнесло, гены-то, а? И я, и Петрович.

– А мать, Лен? Ну, как вы... с ней? Уживаетесь? – осторожно спросил Иван.

Сестра нахмурилась.

– Да нормально, Вань. А куда денешься? Мать. Ну и она для меня... ну, ты понимаешь. Была другой. Не такой, как для тебя, извини. Да, характер, конечно, не сахар. Но что поделать? Трудновато, что говорить. И тесновато. Но разве это главное? Да и Петрович у меня – сам видишь! Он ведь такая стена! Не стена – стенища! Не выдюжила бы без него, веришь?

– Конечно, о чем ты? Все вижу, – улыбнулся Иван. – Ты врач от бога! И тебе надо в город, в столицу, в нормальную клинику. Петрович твой мне рассказал, извини, про твои достижения. А здесь это никогда не оценится! Это я и про палки в колеса, да и про все остальное! Про поселок этот, прости. Про жилплощадь – служебную, Лена, заметь! Щедро выданную временно! Про народ, что здесь живет. Лен, здесь все сложнее, чем в столице. Здесь провинция, прошлый век. Ты же сама сказала: все с боем, все с преградами. И здесь твой талант пропадет.

– Оставь ради бога! – устало отмахнулась она. – Там, здесь – какая разница? Да и не от места зависит успех, а от человека. Да и кто нас ждет в ваших столицах? Кто скучает по нам? Не смейся, Ваня! Там и своих шустрых хватает. Нет, мы уж тут как-нибудь. – Лена с трудом подавила зевоту и извинилась: – Пойду посплю, Вань, завтра снова рано вставать. А послезавтра суббота, поедem в лес, шашлычков пожарим! Так хочется! – Ленка мечтательно улыбнулась. – Ведь уже почти весна, а там и лето! Короткое очень, правда. Бывает двенадцать градусов, а мы и этому рады. Знаешь, здесь шутят: зиму перезимовали, перезимуем и лето!

– Летом двенадцать? – удивился Иван. – А тогда как весной?

Нет, знал, конечно, погодка здесь, в Печенге, та еще! Честно говоря, не приведи господи. И ничего, живут люди. Люди везде живут. Находят свой дом, свое место и приживаются. И всегда мечтают туда вернуться – в это место, в свой дом, в самый далекий медвежий угол. Скучают по тому, чего у него нет.

От Москвы Иван давно отвык. Да и там, в Москве, в городе, где он родился и вырос, у него нет дома. Ленинград? И там дома нет. У него нигде нет дома. Даже здесь, у сестры, он в гостях. «Временник, – подумал он, – мотаюсь, как дерьмо в проруби. Живу вахтовым методом. Все ищу, ищу. А что, спрашивается, ищу? Свое место? Да бросьте! Все дело не в месте – в тебе и только в тебе, Ленка права – не от места зависит судьба человека, а от него самого. Он сам должен врасти корнями, как дерево, и привыкнуть, и полюбить. Сжиться, сродниться. Удержаться. Создать или построить. Обрести близких, родных. Укрепиться корнями. А вот тогда у него будет дом».

И не надо искать себе оправдание. Ленинград был ему плох? Да оставьте. Прекрасно бы прижился, было бы желание. Как приживаются тысячи. От Нонны сбежал, от Марины? Ах, какой честный, какой совестливый, какой справедливый! А мог бы остаться. Стать необходимым и близким этим прекрасным женщинам, помогать им во всем, полюбить их всем сердцем. Но что вы, это же не о нем! Он же у нас ангел с крыльями, не иначе. Чище слезы, прозрачной воды. Он не смог.

Москва. Что там не остался? А, нет жилья? Что ж, причина. Но как же приезжие, они как? Да так – устраиваются на работу, получают койку в общежитие. Дальше комнату. Правда, общежития и комнаты таким, как он, не дают – кому нужны неудачливые художники? Да и гении не нужны, только если после смерти, и то если повезет. Нюня он, не мужик, тряпка. Жалеет себя – ах, инвалид! Ах, хромый! Ах, с палочкой! Да жив, и это главное – с двумя ногами, с руками и с головой. Да, с профессией оказалось

непросто – кому нужен скульптор? И все-таки был бы покрепче духом, был бы мужиком, разве бы слонялся из угла в угол, разве жалел бы себя? Разве был бы в тягость хорошим людям? Явился вот теперь к сестре. А у нее-то забот – куда там ему! У Ленки семья, это он ни за кого не отвечает. Выходит, что он захребетник, примак. Ищет тех, кто пожалеет. Господи, стыд-то какой! Только что делать, за что зацепиться? Вот это и есть самое страшное – не за что.

Иван видел, как старается сестра. Как лезет из кожи вон добрый и сердобольный Петрович. Как, кажется, немного смягчается мать. Как тянутся к нему девочки.

Ладно, оставим все муки совести, оставим. Надо приживаться, надо цепляться за жизнь. Искать смысл. Работать. Приносить пользу, в конце концов. Хотя бы близким, родным.

А это, как оказалось, самые родные – роднее и ближе никого нет. Сестра, зять, племянницы. Мать, наконец. Его семья. Другой у него нет.

* * *

Постепенно все наладилось. Он не уехал ни через три дня, как собирался, ни даже через три месяца. С Томочкой, младшей, Иван начал заниматься, готовить ее к школе. Девочка быстро схватывала, была способной. Читал девчонкам, рассказывал про Ленинград, про Москву. Они слушали, открыв рот, – умненькие, любознательные, толковые. Одно удовольствие. Кое-как ухаживал и за матерью – Лене теперь не приходилось прибегать с работы, чтобы накормить девчонок и мать. Помогал по хозяйству Петровичу. Обучился гладить, варить щи, тушить мясо. Стирал постельное белье – прачечная в поселке закрылась.

Ленка помогла с работой – конечно, учителем черчения и рисования, кем еще? Все-таки работа и хоть какие-то деньги.

Он видел и чувствовал, что оба, и сестра и зять, были искренне ему рады. Чудаки, святые люди. Разве он упростил их жизнь? Вряд ли. Лишний человек в доме, лишние хлопоты.

Иван часто думал об Илюше, смертельно по нему тосковал. Мечтал о том, что сын вырастет и они встретятся. Конечно, встретятся, как иначе? Только до этого целая жизнь.

Он понемногу прижился, пообвык. Но к климату так и не приспособился. А климат, надо сказать, был ужасным, без всяких

преувеличений. Кошмарным. Хотелось тепла. Ох, как хотелось! Солнца, которому можно подставить лицо. Теплого, легкого, ласкающего ветерка. И моря. Моря, моря. Моря. Синего, искрящегося на солнце днем. Переливающегося, как антрацит, ночью. И утреннего, голубовато-серого, в легкой туманной дымке. И серо-зеркального на закате – с оранжевыми всполохами от медленно уходящего солнца. Морского запаха, неповторимого, острого, свежего. Горячего, обжигающего, колкого песка. Скользких камней, поросших бархатными водорослями. И голубого, яркого неба.

Он устал от пронзительного ветра, от яростного мороза, от низких и черных туч. От полярной зимы.

Но жизнь диктовала свое.

На каждый шаг надо решиться, созреть для него. Переломить себя, вытащить из привычного и зыбкого призрачного покоя. Но не сейчас. Пока еще рано. Он не готов. А пока он привыкал и старался полюбить этот холодный, суровый и далеко не самый гостеприимный край. Но мысли о теплых местах не покидали. Иван стал подробно изучать карты – Черное, Азовское, Каспийское. Маленькие городки, поселки, селения. Закрывал глаза и представлял, мечтая о крошечном домике на берегу. О винограднике, закрывающем от солнца окна. О вечерней прохладе, пахнувшей морем. О дневной жаре и о солнце.

Он верил, что все это будет в его жизни, только надо немножко подождать, подсобрать денег. А это непросто – зарплата была копеечной, и большую часть денег он отдавал на хозяйство – Петровичу. Ленка к хозяйству отношения не имела – ей хватало хлопот на работе.

Иван откладывал по рублю, по трешке. Иногда по пятерке, пересчитывал мелочь, но получалась полная ерундистика. Ни на какой дом он не накопит, только на билет и на съем угла. Но хоть так. А там разберемся, как говорится, не впервой. Поглядим – посмотрим, да, дед?

Уехать решил летом, в июле. И денег подкопит, и время хорошее, самый сезон, самое тепло.

Но было уже веселее. У него появилась не только мечта, но и цель. А цель важнее мечты.

И тут у матери случился инсульт. Ленка ее еле вытащила, но после инсульта мать слегла. Сестра сказала, что без надежды, но «как сможем, будем тянуть».

Теперь в доме появился лежащий больной, и стало совсем тяжело. Как ни старались, все равно в квартире стоял тяжелый, невыветриваемый запах. Пахло старостью, болезнью, бедой. А этот запах не выветрить и не

выгнать.

Иван понимал, что он не имеет права уехать сейчас – должен остаться, чтобы помочь сестре. Мать... Да, это и его мать в том числе, какая ни есть. Но он останется только ради сестры – это ей он обязан помочь, это ее он не может оставить. Ее, а не мать. Матери он ничего не должен.

Или не так? Кажется, он впервые засомневался.

Нет, никаких чувств к ней у Ивана по-прежнему не было, да и откуда им взяться? Всегда вспоминал бабкины слова: сначала нужно вложить, а потом ждать и требовать. Все так. Мать получала по заслугам. То есть – не получала по заслугам. Но ведь и оставлять человека без помощи неправильно, не по-людски.

Он кормил ее с ложки, вытирал испачканный рот, из которого подтекала струйка слюны, чистой тряпицей, менял ей пеленки. Брезговал? Конечно. Он вообще был брезглив по натуре. Но делал все это, а вот в глаза ей не смотрел. Но замечал, что она разглядывала его. Изучающе, внимательно, и кажется, вполне осознанно.

Да какая ему разница? Он выполняет свой долг. Пусть не сыновий, а человеческий.

Спросил у сестры:

– А она и вправду не может говорить?

Лена вздохнула:

– Не хочет. Не хочет она, Ваня, с нами разговаривать.

Иван удивился:

– Странно! Значит, может?

Через полтора года после того, как мать слегка, произошло важное событие – Лену пригласили в Ленинград. Пригласил однокурсник по Ижевскому мединституту, тоже хирург, работающий в Александровской больнице замом главврача по хирургии – величина.

Оказалось, звал он сестру давно, письмо это было не первым, а третьим или даже четвертым. Златых гор не сулил – для начала дадут комнату, а спустя пару лет и квартиру. И не служебную, кстати, свою. Ленка в растерянности крутила конверт.

– И ты еще думаешь? – возмутился Иван. – Да ты обалдела! Питер, большая современная больница! Перспектива, наконец! Культурная столица, огромный город, образование девочкам! Как тут вообще можно раздумывать? Оставаться здесь, в этой глуши, в этом постоянном холоде? В этой убогости, уж извини! – И он обвел глазами «залу».

Уставившись в стену, сестра молчала.

– Лена! Очнись! Приди наконец в себя! – кричал Иван, обращаясь

за поддержкой к Петровичу.

Тот горестно развел руками – дескать, что с ней поделать?

Иван продолжал уговаривать.

Наконец Лена внимательно на него посмотрела.

– Ваня, это ты очнись! Это ты приди в себя. Да как я уеду? – Сестра кивнула на дверь, за которой лежала их мать. – Как я оставлю ее? Нет и нет! – твердо повторила она. – И не упрашивай.

Он все понял. Понял и обрадовался.

– Так дело только в этом? Ну, ты даешь, сестрица! А я? На что я, Ленка? Бездельник и захребетник? Ну хоть какая-то польза от меня быть должна? Ну хоть какая-то, а?

– Какая-то? – возмутилась Лена. – Значит, ты думаешь, что я вот так, запросто, оставлю вас одних? Тебя и ее?

– Конечно, оставишь! Ради девчонок оставишь. Ради семьи. Ради себя, в конце концов. Мало ты здесь настрадалась?

Вечер был шумным и бурным. До ночи спорили, кричали, ругались, доказывая друг другу свою правду, обижались друг на друга, бросались друг к другу в объятия и, вымотавшись окончательно, наконец замолчали.

Ленка плакала. А чтобы плакала Ленка...

Иван подошел, обнял ее и тихо, но твердо сказал:

– Все, Лен. Решили. И это единственно правильно. Все, все! Пиши светиле своему, пиши и собирайтесь! В дорогу, ребята!

На сборы был дан месяц и ни дня больше. Ставку заведующего хирургическим отделением долго держать было невозможно.

Да и тут, в Печенге, надо было закончить дела в больнице, сдать документы, дожждаться замены, собраться, в конце концов. Вот с этим было несложно – барахла Лена с Петровичем не накопили, не те люди.

Петрович тяжело вздыхал, паковал свои книги и нехитрый домашний скарб. Девочки тихо радовались, глаза у них горели счастливым предвкушением перемен. А Ленка ходила потерянная – как там все сложится? Приживутся ли?

Со служебной квартирой, кстати, все быстро решилось – остаться им разрешили, сказалось прекрасное отношение к Лене.

Провожать их Иван не поехал, остался с матерью. Простились в дверях. Ну и ладно, долгие проводы – лишние слезы.

А когда за ними закрылась дверь, сел в прихожей на табуретку и закрыл лицо руками.

Снова один. Мать не в счет.

Ленка писала часто, по два письма в неделю. У них все складывалось отлично, да он и не сомневался. Дали чудесную комнату, в самом центре, на Таврической. Комната огромная, тридцать два метра. Перегородили, и образовалась почти квартира.

Целая квартира, ты представляешь? Комната девочек, наша с Петровичем спальня и гостиная. В смысле, столовая. Обеденный стол со стульями и огромный, в два метра, доставшийся от прежних хозяев фикус. Так что обедаем и завтракаем в саду, Ванечка! Девчонки пошли в английскую спецшколу, Петрович устроился участковым в поликлинику возле дома, чему очень рад – вызовы на дом предполагают прогулки по городу. Ходит, глазееет и балдеет – Питер же!

А своей работой сестра была не просто довольна – счастлива.

Иван радовался за них, но его письма выходили короткими и похожими друг на друга – с матерью все по-прежнему, ухудшений нет. Ленка беспокоилась, тревожилась, переживала и причитала, что зря поддалась на его уговоры.

В каждом письме он ее горячо убеждал, что решение они приняли правильное. Единственно правильное.

А по вечерам накатывала на Ивана черная тоска. Нет, он совсем не жалел, что остался. Да и куда бы он уехал? Смешно. Все планы о переезде к морю были несбыточными – куда он собрался, на какое такое море?

Утешало одно – что он хоть как-то, пусть немного, но смог повлиять на судьбу сестры. От этого становилось чуть легче.

В одном из своих писем Ленка осторожно и, как всегда, крайне тактично спросила у него разрешения на встречу с Илюшей. «Глупо и странно было бы не попробовать, а, Ваня? Я ведь ему родная тетка, живу в Ленинграде и пытаюсь встретиться с племянником».

Он ответил коротко: «Попробуй. Только вряд ли это мероприятие увенчается успехом, про мою бывшую ты все знаешь!»

Пока ждал результата, чуть не рехнулся – надежда-то была! Знал сестрицу – уж если Ленка что-то задумает! Хотя и бывшая кремень. Во всех, так сказать, смыслах.

Письмо вскрывал трясущимися руками: встретились, не встретились?

А когда из письма выпала фотография, понял, что встретились.

Жадно вглядывался в фотографию, всматривался до рези в глазах.

Илюша. Высокий, худой, голенастый, как все мальчишки. Его Илюша, его сын. Фотография была неважная, но умница Ленка старалась как могла. Все-таки он разглядел, что Илюшка точно их породы! Чудеса – одно лицо с дедом! Нет, надо же как бывает – вылитый прадед!

Иван расчувствовался так, что зачем-то сунул фотографию матери – та посмотрела мельком, чиркнула равнодушным взглядом и отвернулась.

А чего он, идиот, ждал? С ней все давно понятно, даже к Ленкиным девчонкам она была равнодушна.

Встречу сестра описала подробно, как и разговор с Аленой: мила не была, но Лена другого и не ждала. Но все-таки та ее выслушала, трубку не бросила. Отвечала скупко: все нормально, Илья учится прилично, послушный мальчик. Ходит в спортивную секцию, на фехтование. Хорошо успевает по точным наукам – тут снова Иван подумал о деде: у него самого-то с точными науками было не очень. В общем и целом все хорошо. На Ленину просьбу увидеть племянника Алена долго не отвечала. Лена взывала если не к совести, то к милосердию. Через два дня получила ответ – так уж и быть, но коротко, безо всяких там разговоров, не дай бог что там придет в голову.

Встретились они на Моховой, Лена принесла Илюше конструктор, единственное, что удалось достать. Уговорила Алену посидеть в кафе-мороженом, та скривилась, но не отказала. Посидели коротко. Илюша явно тяготился незнакомой теткой, мороженое съел равнодушно. «Не сластена, – улыбнулся Иван, – в меня!»

Ну и распрощались. Да, фотографию удалось сделать без Алены – та удалилась, простите, в сортир.

«Но, думаю, не позволила бы, – писала Лена. – Кстати, выглядит она усталой и постаревшей – от красоты, о которой ты рассказывал, ничего не осталось. Но это я так, вредничаю по-бабски. Да и вообще не мне судить о женской красоте».

Иван поставил фотографию сына на тумбочку у кровати, смотрел на нее и никак не мог насмотреться.

Он был счастлив и несчастен одновременно – оказывается, бывает и так.

* * *

Ленка приехала в Печенгу на следующее лето, вырвалась в отпуск.

Приехала одна – Петрович с девочками отправился на юг. Сестра изменилась и похудела – заботы! Похорошела – возраст ей, как ни странно, пошел на пользу. Да и одета Ленка была по-другому, по-столичному. Исчезла затурканная и замученная провинциальная тетка – перед Иваном стояла молодая, интересная женщина.

Мать Ленку узнала, это было очевидно, но, увидев, отвернулась – обиделась.

Иван уговаривал ее присоединиться к дочерям и Петровичу:

– Хватит здесь торчать, что от тебя толку? Да я уже привык, освоился.

Разговаривали по вечерам и до глубокой ночи. Ленка с восторгом рассказывала про Питер, про больницу, про девочек. А он радовался за сестру.

Ленка оставила деньги.

– Хотя бы так, Ваня! А вообще я перед тобой в неоплатном долгу, не расплачусь никогда! Заточила тебя, молодого мужика, в эту темницу, – сетовала сестра, – никакой личной жизни! Сволочь я, Ваня!

Он спорил, успокаивал ее, объяснял, что это не так, сердился и умолял не страдать.

От денег отказывался:

– Нам хватает! Зарплата, моя пенсия по инвалидности, пенсия матери. Да и куда нам тратить, Лена? На что?

Да, и самое главное! Ленка, чудо-Ленка, нашла Нонну! Ох, сестрица!

Нонна здравствует и по-прежнему оперирует. Анна Станиславовна скончалась пять лет назад. Марина вышла замуж, родила дочку и счастлива в браке. В общем, ура!

Ленка благодарила Нонну за брата и восхищалась ее виртуозной работой. Словом, коллеги подружились.

Через три месяца после Ленкиного отъезда матери стало гораздо хуже. Беспокоить сестру Иван не стал, да и зачем? Спал теперь в комнате матери, вскакивал, как только слышал ее тревожное бормотание. Понимал, что она уходит. В последнюю ночь сидел на табуретке возле ее кровати, но не выдержал и задремал. Сквозь неглубокий сон услышал ее слабый голос:

– Ваня, сынок!

Вздрыгнул – почудилось во сне, приснилось?

Мать смотрела на него, и по ее сухой, пергаментной желтой щеке ползла тяжелая, мутноватая слеза.

Он взял ее высохшую, словно отломанная ветка, руку и зашептал:

– Я здесь, мама. Я здесь.

Получилось невнятно, хрипло, натужно, как будто насильно вырвано

из глотки.

Но получилось. Слово, которое он не говорил никогда, – «мама». Он страшно удивился, смутился и испугался. Мама. Как ему всегда хотелось произнести это слово! Но не мог ни пацаном, ни юнцом. Ни зрелым, побитым жизнью мужиком. А сейчас получилось.

Мать смотрела на него и плакала. Он держал ее руку и чувствовал, как из нее уходит тепло, жизнь уходит.

– Прости меня, – пытаюсь пожать его ладонь, просипела она еле слышно.

– «Скорую», мама! – вдруг спохватился он. – Сейчас вызову.

Чуть дрогнули губы, почти незаметно она повернула к нему голову:

– Нет, не надо.

Иван вскочил, чтобы бежать к соседям и от них позвонить, но понял, что поздно. Остановился, наклонился, вглядываясь в ее замершее и уже неживое лицо.

Телеграмму Ленке, конечно, отправил.

Она приехала одна – Петрович остался с дочерями.

Похоронили. Ленка плакала, а он... Нет. Слез не было. Но, что куда важнее, он простил ее. А значит, теперь будет легче жить.

Через неделю после Ленкиного отъезда он освободил ведомственную квартиру и уехал.

Теперь начиналась новая жизнь, и она должна быть определенно лучше предыдущей – иначе зачем? Плохое имеет свойство заканчиваться. А за плохим, как известно, наступает хорошее. Все примитивно и просто, закон природы. Черное, белое. Зебра.

Городок у моря

Иван открыл глаза и с удивлением огляделся – господи, вот же меня занесло!

В домике, который он назвал хижинкой дяди Тома, было сумрачно, сыро, прохладно, как, собственно, и должно быть в сарае.

Он потянулся, и тут же радостно загудели, запрыгали пружины кровати. Он встал, подошел к полуслепому окошку, за которым почти ничего не было видно, кроме густой зелени кустарника, обхватившего сараюшку в свои крепкие объятия. На ветках густо висели темные, почти черные ягоды. Он протянул руку, сорвал одну, и пальцы тут же окрасились в сочный темно-бордовый цвет. Запах ягод был восхитительно свежим, а на вкус они оказались островатыми, вяжущими язык, терпкими и горьковатыми.

«Что я делаю, – испугался Иван. – А если они несъедобные, ядовитые? Какой-нибудь вороний глаз? Смешно бы получилось – доехал, добрался и помер. Впрочем, вороний глаз, он тут же вспомнил, низкий кустарничек с раскинутыми в сторону листьями и с темно-фиолетовыми, соблазнительно-зазывными, блестящими ягодами.

Он вытер пальцы и усмехнулся: «Зря струхнул. Жить будешь!»

Втянул носом новые запахи – пахло свежей зеленью, раздавленной ягодой, сырой травой, землей и чем-то съедобным, кажется – пригорелой картошкой.

Почувствовав, что страшно голоден, пару минут простоял в раздумье. Идти в магазин? Да, пожалуй. Хлеб, молоко – самые простые продукты должны же здесь быть? Да, кстати, еще спросить у хозяйки про холодильник.

Быстро одевшись, вышел во двор.

Над столом, покрытым липкой, стертой клеенкой, роились стайки ос, создавая стройный хор маленьких и вредных вертолетилов. Да и на самой клеенке им было раздолье – сбившись в кучки, они копошились в чем-то разлитом и, видимо, сладком.

Хозяйка стояла к нему спиной, что-то делая на плите, установленной в пяти шагах от стола. От плиты шел жар, и тот самый съедобный запах, который он уловил.

Он пробежал взглядом по ее спине, бедрам и ногам. Вспомнил, как называется этот тип фигуры – гитара. И вправду, стан ее был похож на

гитару – верхняя дека, нижняя дека. Узкая спина, тонкая талия, широкие бедра, переходящие в полноватые ноги.

На длинной, крепкой шее, под высоко забранными смоляными волосами, он увидел крупную, темную, почти черную родинку, которую запросто можно было принять за осу или жука.

– Доброе утро, – кашлянул он. – И с хорошей погодкой!

Она обернулась, нахмурилась.

– С погодкой? Ага, как же! Это сейчас еще ничего, терпимо. А через пару часов начнется. Вот тогда запоешь! – И снова отвернулась к плите.

На его приветствие она не ответила. Да, воспитаннице! Впрочем, все было понятно при первой встрече.

– Любовь, – простите, не знаю вашего отчества, – а как тут у вас насчет магазинов? Ну, молочный какой-нибудь? Гастроном, например? И булочная? Очень хочется есть, – смущаясь, добавил он.

Она снова повернулась к нему, и он увидел ее удивленные глаза.

– По отчеству? – медленно проговорила она. – Ну, рассмешил! Меня отродясь по отчеству не называли! А тут ты. – И она повторила: – Ну, рассмешил! – И тут же строго посмотрела на него, словно удивляясь его наивности: – Продукты, говоришь? Да какие там продукты? Ранним утром надо, к открытию. Или перед закрытием. Тогда, может, и повезет. С мясом совсем плохо, куры бывают, но тощие и волосатые. Летом на рыбе перебиваемся, а зимой уж как получится. Нет, хлеб-то ты, конечно, достанешь! И молоко. А вот все остальное вряд ли. Это ж не Москва ваша. Какое у нас тут «купить»? У нас можно только достать, да и то если по благу.

– Да и у нас по благу, – улыбнулся Иван. – Но мне по благу не нужно, я не капризный, от деликатесов отвык. Мне бы яиц, хлеба, молока, картошки да крупы. Ну и отлично.

Люба присела на лавку, что-то прикидывая. И наконец приняла решение:

– Значит, так. К деликатесам мы тоже не привычные. Едим скромно. Хозяйка из меня еще та! Да и не люблю я все это, – она кивнула в сторону плиты. – Щи да каша, – усмехнулась она. – Если устроит – милости просим! В смысле, кушайте с нами. Дорого с вас не возьму, ну еще пятерка в месяц, не больше. Устраивает – пожалуйста. Нет – в магазин. – Люба показала в сторону улицы. – Гастроном через три дома, не заплутаете.

– Конечно, устроит! – Иван, страшно обрадованный, поспешил с ответом. Ну вот, кажется, одна из проблем решена! По крайней мере, ему не придется стоять в очередях и думать о пропитании. Щи да каша – а что

еще надо? Да и отвык он от кулинарных изысков – в последний раз баловала его чудесная Анна Stanisлавовна, Ноннина матушка.

Вспомнив ее пирожки и запеканки, Иван громко сглотнул слюну. Ладно, не до хорошего, быть бы живым, как говорится. Краем глаза отметил, что и плита, как и стол, были грязными донельзя. Хозяйка явно была не из аккуратисток. Бабка таких называла чумичками. Нерях она презирала больше, чем врушек и хвастунов.

Люба шмякнула на стол сковородку с горячей картошкой, крупно нарезала огромный темно-розовый помидор, так же крупно, без затей, небрежно накромсала кирпич серого хлеба и с громким стуком, словно презирая все это, поставила на стол простые щербатые тарелки и алюминиевые вилки.

Иван присел на лавку и осторожно, смущаясь, спросил:

– А может быть, вытереть стол – осы?

Люба усмехнулась, окинув его презрительным взглядом, и недобро бросила:

– А вытирайте! Только все равно налетят. Юг у нас, понимаете? Юг и жара. Ну и это еще, – и она кивнула на плетистые заросли винограда.

Иван поднял голову и увидел крупные, темно-зеленые, почти зрелые кисти.

– Ух ты, – удивился он, – надо же! Прямо над головой!

– Тоже мне, редкость! – усмехнулась Люба. – Вырубает, а он снова ползет! Прет, как сорняк, не отвяжешься. Ешьте сколько хотите, здесь его завались. Мне он – вот где! – И она резанула ладонью по горлу. – А мать наливку из него делает. Сладкую, ужас. А я сладкое ненавижу! – Сказано это было так горячо, будто она в это «ненавижу» вложила всю душу, и ему стало смешно.

– А что любите? – усмехнулся он. – Селедку, наверное, и соленые огурцы?

Люба посмотрела ему в глаза.

– А я, мил человек, ничего не люблю. И еще никого, ясно?

Он смутился, не выдержал ее взгляда и тихо пробормотал:

– Это я так... к слову. Вы уж простите.

– А ты кем будешь? – Она резко сменила тему. – И откуда ты?

– По рождению я москвич. Несколько лет жил в Ленинграде. По роду занятий я скульптор, художник.

– А сюда чего занесло, в наши края? – с недоверием поинтересовалась Люба.

– На море мечтал жить, в тепле. В последнее время жил в Печенге, в

Мурманской области. Намерзся до конца жизни. Семьи у меня нет. Есть сын, но он в Ленинграде.

Больше вопросов она не задавала.

Ели молча, напротив друг друга.

Вдруг дверь ее домика распахнулась, и оттуда, из-за серой, пыльной марли, висящей в дверном проеме, вышла – нет, вылетела – девочка с густыми, смоляными спутанными кудрявыми волосами, с огромными, в пол-лица, густо-черными глазами. Увидев незнакомца, она вздрогнула и испуганно посмотрела на мать.

– Иди ешь! – хмуро сказала Любка. – Сколько можно валяться?

– Кто это? – изумился Иван и, не удержавшись, добавил: – Ну и красавица!

– Дочь, – еще больше нахмурилась Люба. – Красавица, как же!

Девочка, по-прежнему смущаясь, робко подошла к столу.

– Руки помыла? – рявкнула мать.

Девочка вздрогнула, бросилась к умывальнику, висящему на кривой алыче, и принялась поспешно, оглядываясь на мать, мыть руки.

– И морду! – прикрикнула та. – Морду-то не забудь! А то не поймешь – где грязь, а где... – Перехватив Иванов изумленный взгляд, смутилась: – Грязнуля она! Прямо сил моих нет!

Он кашлянул, но тактично промолчал – мать девочки тоже была не из аккуратисток.

Не вытерев лицо и руки полотенцем – да и где оно? – девочка присела на край скамьи и ожидающе посмотрела на Любку.

– Ешь! – снова прикрикнула она. – Чё палишься? Чай, не в гостях.

Девочка покраснела и стала торопливо выуживать из сковородки картошку. Ее прекрасное смуглое лицо блестело от капель воды. И на ресницах, невероятно густых, смоляных, круто загнутых кверху, как россыпь алмазов, тоже блестела вода.

«Какая красавица!» – изумленно подумал Иван и осторожно спросил:

– А как тебя звать?

Девочка покраснела, снова глянула на мать, словно ища поддержки, и выронила гнутую вилку из рук.

Мать усмехнулась:

– Да дикая она у меня. Шуганая. А звать Аська. – И, тяжело поднявшись со скамейки, Любка стала собирать грязную посуду, не забыв еще раз рявкнуть на дочь: – Доедай давай! А то знаю тебя – до обеда будешь сидеть. Едок паршивый. Та еще штучка. – Это уже Ивану, чтобы не сомневался.

Девочка вжала голову в плечи и суетливо и поспешно стала крошить уже остывшую картофелину. Чтобы не смущать, он разглядывал ее осторожно, исподтишка – какое притягательное, необычное, какое-то нездешнее в своем изяществе и нестандартности лицо! Такую яркую, экзотическую красоту в наших широтах встретишь нечасто. Итальянская донна или испанская донья. И где? Здесь, в маленьком поселке? В этой убогости и почти нищете? Да что там «почти» – именно в нищете, в неприкрытом убожестве бедности.

Какая утонченность черт, какое изящество, какое благородство и красота. Невозможно оторвать глаз, невозможно! А вырастет? Даже жалко ее. Кто здесь оценит, кто поймет? Рано выскочит замуж за местного работягу, согнетя от тяжелой работы, выцветет от забот и хлопот, сгорбится от бессонных ночей, одуреет от подсчета копеек. Ей бы во дворец. На шелковое белье. Под балдахин и опахало.

Иван не мог отвести от нее взгляда. Похожа на мать, очень похожа. Но мать грубее, стерпее, шершавее – жизнь постаралась. А девочка эта! «Надо писать ее, – крутилось в мозгу. – Испанская инфанта, бархатное платье, буфы, жемчуга, золотая парча. Как хороша... Интересно, сколько ей лет?»

Он решился задать этот вопрос Асе. Та съежилась, вжала голову в плечи и тихо, почти неслышно, сказала:

– Шесть. Через год в школу пойду.

– Хочешь в школу? – подхватил он.

Девочка мотнула головой:

– Не хочу – надо.

Он рассмеялся:

– Честно!

Доев нехитрый завтрак, Ася вскочила из-за стола и шустро, как мышка, юркнула в дверь, под серую марлю.

В тот день эта странная, диковатая и красивая девочка вошла в его жизнь навсегда.

Любина мать, которую Иван прозвал Изергиль, во дворе появлялась к вечеру. Что она делала днями в хилой покосившейся избушке – загадка. Наверное, спала. Но к вечеру, когда воздух, и без того влажный, тяжелый и душный, накалялся, все, вся семья, собирались во дворе: бабка сидела за столом, Люба копошилась у жаркой плиты, а Ася вертелась поблизости, чем раздражала и мать, и бабуку. На девочку прикрикивали, а иногда и громко орали, совсем не стесняясь жильца. Впрочем, дамы эти были не из тех, кто стесняется.

На резкие окрики матери и бабки девочка внимания не обращала и

суровым родственницам не отвечала, продолжая заниматься своими нехитрыми делами – закапывала в ямки, вырытые ловкими пальцами, трупки ос и мух, из прутиков, веточек, остатков старой пряжи и тряпок сооружала домики-шалашики для кукол. Кукол было две – пластмассовый пупс Леля, ободранный, с паклевидными волосами и без каких-либо половых признаков, и до блеска вытертый серо-бурий одноглазый медведик Кроша, вот, собственно, все.

– Кроша – это от крошки? – догадался Иван.

Ася покраснела, угукнула в знак подтверждения и бросилась в дом. «Господи, какая же дикая, – расстроился Иван. – А ведь ей скоро в школу!»

На улицу девочка почти не выходила, казалось, что она боится людей. Понимала, что отличается от шумных, крикливых и нахальных детей, чувствовала себя среди них чужой, стеснялась своей бедности, неухоженности, грязного платья, спутанных волос. Да и дети считали ее чужаком, странной и непонятной дикаркой. Ну и, конечно, дразнили – чумичка, цыганка, головешка, таборная, подбросыш. А защитить ее было некому – матери было на это наплевать, бабке тем более, а отца у девочки не было.

Да и мать ее, и бабушку соседи не любили и презирали – эта странная семья негласно считалась изгоями.

Иван видел, как Асе хочется на улицу: она часто стояла, жадно вглядываясь в заборную щель – улица манила ее, дразнила шумным детским весельем и завораживала. Иногда она все же решалась и осторожно, с оглядкой, просачивалась за ворота.

Только кончалось все одинаково: ее принимались дразнить, насмехались над ней, тыкали пальцем, обзывали, в игры не принимали, то есть всяко давали понять – ты не своя и нам тебя точно не надо. Несколько раз она вбегала во двор с поцарапанным лицом или фингалом. С глазами, бешеными и горящими от несправедливости и злости, с трясущимися губами.

Но никогда не ревела, ни слезинки! И никогда никому не жаловалась. Хотя кому? Ивана она по-прежнему сторонилась, матери с бабушкой боялась, стараясь с ними не сталкиваться.

Как-то Иван услышал, как Люба ругает дочку:

– А чего туда выперлась? Чего ждала? Не примут они тебя, не надейся! Иди в дом! Огрехала? Так тебе и надо! В следующий раз будешь умнее.

Он не выдержал, заступился:

– Ну зачем же вы так! Не вступились, не разобрались? А может, девочка не виновата? Может, обидели ее несправедливо? Мир

несправедлив, дети существа жестокие.

Люба усмехнулась:

– Учить меня вздумал?

– Да нет. Просто девочку жалко.

– Жалко? – Люба зло сузила глаза. – Вот именно – жалко! Сегодня пожалеете, а завтра тью-тью! Тоже мне, защитник нашелся! Нечего, пусть сама! Да и вообще хорош шлаться туда, к этим... Что от них хорошего?

– От кого? – не понял Иван. – От детей? Так это же нормально – общаться с ровесниками! Тем более что...

Но Любка его перебила:

– От людей! От людей ничего хорошего. А ты что, не заметил?

«Интересно, – размышлял он, – кто ее так обидел? Кто так сломал эту яркую, красивую, совсем молодую женщину? Откуда такая ненависть? Ладно к чужим, но к собственной дочери? К матери, к самой себе? Откуда такая ненависть к людям?» Вслух вопросов не задавал, ни к чему. Да и ему не задавали вопросов – от чего убежал, от кого сбежал, почему хромым и так далее.

Но равнодушие, царившее в этой семье, было, кажется, не показушным, а настоящим.

Как только старуха появлялась во дворе, начинались скандалы. Любимое слово – «брехать»: «хватит брехать», «не бреши», «твоя брехня у меня вот где».

Ну а ему надо было налаживать жизнь – что ему до них, до этой семейки?

В школу его не взяли, учитель рисования у них был. Зато взяли в кинотеатр, да не в один, а сразу в два! Их и было всего два – один, в котором по выходным, перед танцами, гоняли старые фильмы, назывался клубом. Второй был действительно кинотеатром, правда, летним, без крыши. А это означало, что в октябре, как только холодало, работу свою он заканчивал.

Но пока было начало августа, и на улицах сладко и пряно пахло перезрелыми, раздавленными фруктами, валяющимися под ногами, и на них, чертыхаясь и матерясь, понося дворников, поскальзывались прохожие. К фруктам здесь относились пренебрежительно. Гнили оранжевые абрикосы, не собранные от лени – своих хватает, с ними бы справиться, а тут еще уличные! Опадала и гнила темная, почти черная, лопнувшая от невыносимой тяжести, перезрелая, крупная слива. Осыпался тутовник, окрашивая треснувший старый асфальт в темно-бордовую кровь. Со стуком падали яблоки и чуть мягче мелкие, желтобокие груши, сладкие до

невероятности.

Городок погрузился в тягучую ароматную сладость, в воздухе назойливо звенело постоянное, непрекращающееся жужжание ос. Казалось, поселок притих, затаился в сладкой истоме, липкой влажности, готовясь впасть в долгую зимнюю спячку.

Афишки свои Иван рисовал рьяно, соскучился по работе. Но его старания оценены не были – грудастая, пышная, густо размалеванная, с высокой башней на голове директриса недовольно приговаривала:

– Вот тут вы точно перестарались, любезный! Проще надо бы, проще, а то не поймут! Народ у нас, знаете ли, обычный, провинциальный. А тут... – Она с неодобрением и даже возмущением разглядывала его творение. – Разве это Софи Лорен? Вот лично я бы никогда ее не признала! А это карлик? Луи де Фюнес? Ну знаете ли! Гротеск, это, кажется, так называется? Не надо шаржировать, мой дорогой, не надо выпендриваться! Вот этого точно не надо. – И она с недовольной миной царственно выплывала из его каморки.

– Так комедия же! – растерянно бормотал ей вслед Иван. – Почему бы не... И де Фюнес действительно не из гигантов!

Но по коридору раздавались чеканные шаги начальницы – его мнение ее совсем не интересовало.

Как ему хотелось послать подальше эту чопорную и важную дуру! Только нельзя. Зарплата, конечно, была копеечной, но и без денег оставаться нельзя. Вместе с инвалидной пенсией ему почти хватало.

В день первой зарплаты он принес в дом бутылку белого, большой торт с богатым декором и куклу Таню – как было заявлено на картонной коробке: большую, пучеглазую золотистую блондинку в красивом васильковом кружевном платье, к сожалению, похожую на вредную директрису.

Цепкими руками старуха тут же ухватила бутылку. Любка подивилась торту:

– Дорогой ведь, зачем?

А Ася смотрела на куклу такими глазами, что он чуть не заплакал. Боялась к ней подойти, взять ее в руки, и на ее лице застыла робкая и восхищенная улыбка.

Чтобы ее не смущать, Иван положил куклу на скамейку и ушел к себе.

Вечером пили чай с тортом. Девочка ела жадно и никак не могла наесться, смотрела умоляющими глазами на мать, робея попросить еще. Он, видя это, отрезал большой кусок и положил девочке на тарелку – в

конце концов, он был хозяин этого торта!

И тут же перехватил ее смущенный, растерянный и перепуганный взгляд. Мать усмехнулась, бабка, увлеченная едой, все пропустила, а девочка впервые посмотрела на него по-другому – с благодарностью щенка, которого пожалели и не отпихнули.

У него сжалось сердце.

С этого дня они начали разговаривать.

В поселке, совсем неожиданно для него, имелась библиотека, и, что удивительно, вполне неплохая! Книги он брал стопками, пачками, радуясь и предвкушая читательское счастье.

Как-то сообразил взять Асе детские книги, понимая, что до того она в руках их и не держала. Читать она, конечно же, не умела. Иван садился на скамейку под виноградом, а Ася робко пристраивалась рядом, на маленькой ножной табуреточке, покрашенной желтой облупившейся краской.

И он начинал читать вслух.

Андерсен ее поразил – и «Снежная королева», и «Русалочка», и «Дюймовочка», и «Гадкий утенок». Над последней девочка горько плакала. Он понял почему: несмотря на свою красоту, она сама была гадким утенком.

Слушала Ася молча, вопросов не задавала, уставившись на него своими черными, бездонными глазищами. В них читались и испуг, и восхищение, и восторг, и удивление.

Сидела она с идеально ровной, вытянутой в струну спиной и ладошками, домиком сложенными на острых коленках.

Он видел, что она страдает вместе с Дюймовочкой, жалеет замерзшую Герду, переживает за заколдованного Кая и насмехается над Принцессой на горошине. Ася хмурилась при несправедливости и краснела при слове «любовь», скорее всего, не понимая значения этого слова.

Ивану было жаль ее, глядя на эту девочку, он думал о сыне, который был старше ее на несколько лет. Какой он сейчас, его Илюшка? Наверняка здорово вытянулся. Гоняет в футбол и нехотя, как все мальчишки, ходит в школу. Какие читает книги, что ему интересно?

Сын. Его вечная, непреходящая боль. Боль и любовь. Ничего у него не осталось, только любовь к сыну, которого у него, если разобраться, и нет.

Он удивился и испугался, почувствовав, как в его душе зарождается любовь к этой странной, пугливой, не очень понятной девочке. Любовь или жалость? А разве это бывает поодиночке?

Иван почти привык к новой жизни. Привык и к местным людям, с их наивным юморком, абсолютной беззлобностью, примитивными желаниями. Он уже узнавал соседей, останавливался поболтать с худым, высохшим от старости и солнца рыбаком Филькой – так пренебрежительно местные называли старого пьяницу и мелкого бузотера, вечно торчавшего вечерами у гастронома в надежде, что позовут выпить третьим.

С апреля по ноябрь, до первых холодов, Филька жил на берегу, между расколотыми и выброшенными рыбацкими шаландами. Варил уху в котелке, когда везло, сбывал улов на базаре – в общем, кое-как пробивался. На зиму он исчезал – бродяжничал. Где и как, никто не знал, и вряд ли о нем беспокоились. Но в апреле Фильку ждали и начинали тревожиться – жив ли? Филька был неотъемлемой частью поселка.

Была еще баба Света, торгующая у самого пляжа вареной кукурузой, – огромная, как вытекшая квашня, с красным, отечным, болезненным лицом старого гипертоника. Баба Света сплетницей не была и наводящих вопросов не задавала, протягивала ему обжигающий початок, предварительно мокнув его в банку со слипшейся от влажности, крупной серой солью, и всегда приглашала его присесть и «маленько потрекать».

Ей было скучно.

Трекали ни о чем и обо всем – цены, погода, капризные отдыхающие. Лишь однажды спросила, кивнув в сторону Любкиного дома:

– Как тебе там? У них?

– Нормально, – ответил он. – Прижился.

Баба Света удивилась, но ничего комментировать не стала. С ней было хорошо помолчать. С Филькой можно было поспорить о политике. Этот пропитый старый черт был большим поклонником Сталина и очень жаждал «крепкой руки». Идиот.

Подружился Иван с участковым Семеном Удальцом – такая вот фамилия, – молодым, безусым, беловолосым, как лунь, конопатым лейтенантиком. Поначалу он относился к Ивану с большим недоверием. Но потом, разобравшись, перечитав его справки и пролистав временные прописки, пожалел его:

– А, понял! Жена! Выперла, сука? – И Семен грязно выругался.

У него была своя непростая история. Много лет он сватался к пышной красавице Нельке, торгующей пивом у пирса. Невестой Нелька была довольно сомнительной, хотя и не бедной – крепкий дом с огородом,

высокий кованный забор. А еще – двое детей, Нелька была разведенкой. Но Семена Нелька держала на коротком поводке – ночевать пускала, а идти замуж не соглашалась, короче, морочила голову.

Ему многое здесь нравилось. В сентябре разъезжались редкие отдыхающие, жадно нахватав на рынке ящики с персиками и виноградом, пляж пустел, и очереди в магазинах становились поменьше. На улицах было тихо, городок засыпал до следующего мая, до начала июня, когда начинался сезон и, собственно, жизнь.

Местные упрямо считали поселок курортным, и слово «сезон» было словом священным, хотя, конечно, никаким курортом этот поселок не был. Отдыхающих было мало, да и те далеко не столичные жители – приезжали сюда люди скромные, из далеких провинций, которым только это и было по силам. Здесь мало что было приспособлено для отдыха: два хлипких кафе и одна рабочая столовка, единственная баня, да и та еле живая. Крошечный базар, где торговали излишками из своего сада, куда их девать? Зато пляж был хорош – широкий, с чистым мелким песком. Да и море не подводило: теплое, спокойное, мелкое у берега – детишкам раздолье! Сам поселок был зеленым, тенистым, с разросшимися кустами душистой акации, с пирамидальными тополями, каштанами и островерхими кипарисами.

Иваном, конечно, интересовались, он это видел и понимал. Одинокие женщины, а их, как везде, было много, разглядывали его с интересом и скрытой надеждой. Старухи – с подозрением и недоверием. Старики – с усмешкой и уверенностью в своих тайных знаниях: ясное дело, сбежал от проблем с законом. А вот женщины уверенно считали, что сбежал он от несчастной любви – да и кому, простите, нужен инвалид? А уж там, там, в ихних столицах? Знаем мы этих столичных цац, навидались.

Но в целом местный народ был тактичен и Ивану не докучал.

Однажды, правда, остолбенел – баба Света, сильно смущаясь, все же спросила:

– Как у тебя там с Любкой этой? Ну, в смысле, того?

Он рассмеялся:

– В каком смысле, о чем вы? Да нет у нас ничего с Любовью Петровной! Ровным счетом ни-че-го. И откуда, простите, эти невероятные слухи?

Та смущенно отмахнулась:

– И чего тебе непонятного? Оба молодые, и ты, и Любка. Оба красивые.

Он успокоил ее:

– Нет, нет и нет. Я квартирант, она хозяйка. И больше, поверьте, нет

ничего.

– Ну и правильно, Вань! – отозвалась баба Света. – И не надо тебе этого. Ты уж поверь старому человеку, плохого я тебе не скажу.

Он удивился, но кивнул:

– Спасибо, знаю.

Их с Любкиной семьей совместный быт был простым и неприхотливым: щи да каша, как честно предупреждала Любка. Огород давно зарос сорняками, землю Любка не любила, была к ней равнодушна. Впрочем, она ко всему была равнодушна, эта молодая и красивая женщина, и это Ивана по-прежнему удивляло.

Хижину свою он почти полюбил – и ее сырую прохладу, и влажные отштукатуренные беленые стены, маленькое окошко, глядевшее в сад, и запах персиков, тянувшийся из окна. И тишину, тишину. Тишину.

Но главным все-таки было море. Каждый вечер, ни разу не пропустив, он отправлялся на берег – дождь, ветер, какая разница? На берегу он усаживался на любимый валун, скользкий от бархатных водорослей, и принимался смотреть на море. Синее в хорошую и солнечную погоду, свинцовое в дождливую и пасмурную, со стылым ветром, беспощадно трепавшим волосы и обжигавшим щеки, с прибоем, штилем, с волнами, оно всегда было прекрасным, таким, о котором Иван мечтал.

Море спасало его. Ему было наплевать на жару, духоту, холодные ветры – на все то, от чего притворно стонали местные жители. Притворно, потому что как только заходил разговор о переезде в другие места, например в Центральную Россию или куда-то еще, они моментально отмахивались от подобных советов: «Да что вы! Там же холод – брррр! Там же снег и мороз!»

И Ивану становилось весело – он-то сбежал! Сбежал от промозглого питерского дождя, от московских сугробов, от вечного ожидания тепла и весны, от невыносимо затяжных осеней, от коротких, не оправдывающих надежд летних месяцев.

Ему удалось переломить судьбу. Наверное, впервые в жизни.

Работы было немного, зато он много читал. Новинки, конечно, в библиотеке не было – разрозненные тома старых подписных, русская классика, классика французская. А что еще человеку надо для успокоения души? В клубе, в своем кабинетике, а скорее каморке, зная, когда начинаются концерты классической музыки, он включал радио.

Он жил. Впервые за многие годы он жил.

Одиночество совсем не тяготило его – наоборот, успокаивало и утешало.

Ася, дочка его хозяйки, странная и нелюдимая девочка, неожиданно для него самого стала единственным родным ему человеком. Человеком, в котором он сам остро нуждался.

Каждый вечер Ася ждала его у забора. И, завидев его, тут же отворяла кривую скрипучую калитку. Иван видел, как вспыхивают и загораются ее глаза, непостижимые, черные, как самая черная летняя южная ночь.

Она все еще стеснялась его, но провожала, как собачонка, и шла за ним по пятам – к рукомойнику, где он мыл руки, к хижине, где он переодевался. Беспокойно искала глазами мать и радостно выдыхала, если той еще не было. Тогда она сама принималась накрывать на стол – две тарелки, ему и себе, две ложки, два граненых стакана для компота. Вытаскивала из вечно гудящего, прыгающего и постоянно грозящего умереть холодильника кастрюльку с борщом или сковороду с застывшими от жира макаронами, ставила их разогревать, резала хлеб и овощи. И осторожно, боясь расплескать тарелку с горячим супом, мелко семеняла от плиты до стола, скорчив смешную гримаску от напряжения и ответственности. Ожидая от него похвалы, важная и довольная, бросала на него косые взгляды и, ерзая на табуретке, наконец усаживалась напротив него.

После позднего обеда или раннего ужина – он тоже был счастлив, если за столом они сидели вдвоем и ни Изергиль, ни Любки не было дома, он ловил ее ожидающий взгляд.

– Читать?

– Конечно, читать! – улыбался он. – Давай тащи! Что у нас там сегодня?

Книги она готова была слушать часами, затаив дыхание, не отрываясь, не отводя от него изумленных, растерянных и счастливых глаз.

Мать она боялась, но все же, кажется, любила. А вот бабушку еле терпела. Ни та ни другая, по сути, не были ни матерью, ни бабушкой – мать жила своей жизнью, ненавидя весь мир и обвиняя его в своих бедах и неустроенности, а бабушка жила своей злобой и ненавистью к дочери и равнодушию к внучке.

Скоро Иван понял причины их отношений – бабушка была человеком от природы злобным, не способным на сердечные привязанности и жалость. А Любка... Любка просто была несчастной и одинокой. А больше на тот момент он знать ничего не хотел.

Иногда он уставал и сильно болела нога, да просто не было настроения и очень хотелось улизнуть в свою келью, лечь под одеяло, закрыть глаза и побыть одному. Как-то в такой вечер осторожно предложил

девочке погулять, выйти за калитку. И сразу же увидел ее перепуганный взгляд и услышал твердое: «Нет, не пойду. Я их всех ненавижу». И тогда, вздохнув и переборов себя, он взял книжку, и они начинали читать. Больше он не предлагал Асе погулять.

Странно, но на море Любка с дочкой не ходили. Да и вообще местные на море ходили мало и неохотно – дескать, куда оно денется? Не пересохнет. К тому же все уставали после работы, торопились домой, там ждали дела.

Но Любка ненавидела море по-особому, с непонятной яростью:

– Вот еще! В эту вонючую лужу! Да что б оно! – И, сверкая глазами, яростно махала рукой.

Тогда Иван начал брать Асю с собой на берег, и она вспыхивала от радости:

– Сегодня пойдем?

Она шла рядом с ним, победно оглядываясь по сторонам – гордая, независимая. Вот, посмотрите!

На берегу в хорошую погоду смотрела на Ивана, молча прося разрешения, и, в секунду скинув ободранные сандалии и заношенный, давно потерявший цвет сарафан, бежала к воде. У самой кромки, едва замочив ноги, снова оглядывалась:

– Можно?

Дождавшись, пока он кивнет, пулей влетала в волну.

Выбиралась на берег озябшая, с синими губами, и он, поругивая и приговаривая:

– Ох, Аська! Ну меры у тебя нет, ей-богу! А ну как простынешь? Мать же нам голову оторвет! – принимался растирать ее полотенцем.

– Не, не заругает! Ей все равно! – И Ася счастливо улыбалась, мелко дрожала и как собачонка яростно крутила головой, так что вокруг разлетались холодные брызги.

После купания она усаживалась рядом с ним, и они оба молча смотрели на море.

На обратной дороге он покупал Асе мороженое.

О том, что Любка пьет, Иван узнал спустя год после их совместного проживания. В тот день увидел до смерти перепуганную Асю – глаз на него она не поднимала, почитать и на море не просилась.

На вопрос, что случилось, опустила глаза и прошептала:

– Мамка... она... болеть начала.

– Может, врача? – предложил он.

– Не, не поможет. Теперь... пока сама не справится.

И до него наконец дошло.

– Что делать, Ася? – спросил он. – Ты же знаешь, как это бывает? Ну, в смысле как проходит – прости. Может, все-таки врача? – с сомнением повторил он.

– Не надо врача, – твердо повторила она. – Мамка сама...

Иван слышал, как Любка стонет и кричит, требуя выпивки. Как беснуется Изергиль, понося дочь последними словами, такими, что ему, взрослому, повидавшему виды, битому жизнью мужику, захотелось закрыть уши. Слышал, как отвечает, словно отплевывается, Любка – тоже с жестокими оскорблениями и обвинениями, от которых кровь стыла в жилах. Видел насмерть перепуганную, мечущуюся девочку, трясущимися руками пытающуюся приготовить матери горячий суп.

А однажды поутру увидел, как Ася тащит авоську, в которой позвякивали зеленые бутылки с серебряной «бескозыркой». В ужасе, забыв о своей палке, он бросился к девочке и вырвал из ее рук авоську. Впервые вбежав в хозяйский дом, он увидел Любку.

Полуголая, в одних трусах, с опухшим и незнакомым лицом, она лежала на полу и громко стонала.

– Люба! – отчаянно закричал он. – Как же так, Люба? Что же ты делаешь?

Она медленно повернулась к нему, открыла заплывшие глаза и, разомкнув губы, обметанные белой пылью, выдавила из себя:

– Уйди. Не твое дело, моя жизнь. – И, скривившись, заплакала: – Плохо мне, Ваня. Помираю. Ну и хорошо, и слава богу.

Он беспомощно огляделся, сел на шаткий стул и, не понимая, что делать, в бессилии спросил:

– Может, все-таки в больницу, а, Люба? Ну, хоть как-то...

Она отчаянно замахала руками.

В те дни, отправив Асю в хижину, он ночевал в хозяйском доме.

Любка пила десять дней. На одиннадцатый, когда он открыл очередную поллитровку, сказала:

– Все, Ваня. Не надо. Теперь я... сама.

Он помог ей подняться, дотащил до дощатой будочки с душем, откуда она вышла спустя полчаса, налил тарелку густых горячих щей:

– Ешь, Люба. Ешь. Стразу станет полегче.

Он смотрел на нее, все еще опухшую, с отеками веками, с мокрыми, раскиданными по плечам роскошными, блестящими волосами, смотрел на ее пухлые, гладкие, смуглые плечи и снова ничего не понимал. Откуда у этой красивой и ладной женщины такая невыносимая, нечеловеческая боль

и тоска?

Он видел, с какой болью, страданием и надеждой смотрит на нее Ася:
– Все? Все закончилось? Ну наконец-то!

Через два дня Любка, свежая и красивая, с гордо поднятой головой, прошла мимо него, коротко бросив:

– Я на работу.

Она пришла к нему через три дня. Ночью, когда он беспробудно спал, с трудом приходя в себя от усталости и кошмара последних дней. Он услышал ее шаги, уловил ее запах: мыла и каких-то дешевых, невыносимо сладких духов. И давно позабытый запах женщины.

Он вздрогнул, не решаясь открыть глаза и обнаружить себя, мучительно думая, что ему делать. Сердце стучало как бешеное.

– Не прогоняй меня, – хрипло сказала она. – Прошу тебя, не прогоняй.

Иван чуть отодвинулся к стене, и Любка легла рядом – дрожащая, горячая, гладкая. Чужая. И – своя.

Утром ее рядом не было. Он услышал тянущиеся со двора знакомые запахи – пригорелой каши и сбежавшего молока.

И знакомые окрики:

– Аська! Где ты, зараза? Иди накрывай! Что я тебе, служанка?

Он долго не выходил из хижины, и мысли бестолково толкались и бились, как мухи о стекло. «Наверное, надо искать комнату, – подумал он, – потому что мне это точно не нужно. Но как лениво и как не хочется! И Ася... Не хочется с ней расставаться. Но, наверное, по-другому никак не получится, жизнь снова расставляла ловушку».

За завтраком было все по-прежнему, никаких изменений.

Любка ворчала, покрикивала на мать и на дочь, заваривала чай, ругалась на плиту:

– Опять все горит, зараза!

Гнала Асю за хлебом:

– Куда смотришь? Твоя обязанность. Я все должна помнить и напоминать?

Тыкала матери на гору нестираного белья:

– Живешь тут на халяву, совсем совесть потеряла.

Бабка шамкала черствой горбушкой и лениво отбреживалась:

– Ага, сама шибко устала водку хлебать! Вот сама и стирай.

Любка присела на край стола и, поплеывая в коробочку с тушью, принялась жирно красить ресницы – собиралась на работу. Но на Ивана не

смотрела – спасибо и на этом.

Жизнь снова вошла в свое русло. Все было как всегда, как обычно и буднично. И главное, как привычно.

Ася переглядывалась с Иваном, сверяясь глазами и подтверждая совместные планы – книги, прогулка, мороженое. И, поймав его легкий и почти незаметный кивок, успокаивалась: ну тогда все хорошо.

Бабка с грохотом принималась за мытье посуды, в который раз за день понося и проклиная дочь и внучку.

И он вдруг подумал, что это – его семья. Какая ни есть, а семья.

И еще что от Аси, от этой девочки, он никогда не уйдет. По крайней мере, в ближайшее время.

Асю надо было подготовить к школе. А кроме него это сделать некому.

Любка не смотрела на него, словно его и не было. «Ну и слава богу, – подумал он. – Баба с возу, как говорится».

Первые дни он с ужасом ждал ее прихода, не спал, прислушиваясь к шагам. Но Любка не приходила. Пришла к нему она на четвертый день, точнее, в четвертую ночь, когда он почти успокоился и перестал опасаться ее визита. Села на край кровати и провела рукой по его плечу.

– Не надо, Люба, – взмолился он, – пожалуйста, не надо! Не нужно все это ни тебе, ни мне. Никому это не принесет радости, поверь. Только проблемы. Иди, Люба. Иди, умоляю. Я же живой человек!

– Не гони меня, – как и в первый раз, хрипло прошептала она. – Не гони, прошу тебя! Мне и так хреново. – Часто задышав, она замолчала.

– Люба, – он привстал на локте, – сейчас хреново, а дальше будет еще хуже!

Любка порывисто встала и быстро вышла из комнатки.

– Ну как знаешь. Хозяин – барин! – со злой усмешкой бросила она.

Иван с облегчением выдохнул.

Пришло письмо от сестры. У нее все хорошо, только вот с квартирой сложности – наступили новые времена, и бесплатной квартиры не будет. Жить в центре культурной столицы, конечно же, замечательно, только вот все-таки хочется свою, отдельную. Да и соседи достают: один – алкаш, к тому же скандальный. «Порежу и порешу», – обычная песня.

Петрович, – писала Лена, – как ты понимаешь, в этом деле не помощник: когда сосед начинает бузить, у него становится плохо с сердцем. Усмиряет нашего алкаша милиция и иногда я, если бываю дома. Вторая соседка тоже не подарок – дама она взглядов вольных, таскает в

дом кого ни попадя, любит горячих восточных мужчин и всяких сомнительных личностей. Теперь их называют бандитами. А девочки часто дома одни, я на сутках, Петрович в вечернюю смену. Есть еще бабушка Колесова, женщина набожная, добрая и безобидная. Но до поры – может и газ не закрыть, и воду пустить. В общем, Ванечка, надо что-то срочно решать. Думала, думала, всю голову сломала, а тут – боженька решеньице и подкинул! Словом, предложили мне командировку длительную, двухгодичную. Главным хирургом госпиталя. Деньги огромные – ух! И квартиру кооперативную потянем, и на машину останется. Правда, страна беспокойная, за курорт у нас денег не платят. Я долго думала и решила – поеду! Другого-то выхода нет. Два года пролетят как мгновение. А жизнь изменится к лучшему. Ты знаешь, я за деньгами никогда не гналась. Но выхода нет, иначе из коммуналки не вылезти.

Петрович, конечно, рад не был. Куда там! Скандал устроил дикий, я его таким впервые видела. Но убедила, уговорила, ты меня знаешь. Кое-как согласился. И у него теперь, как понимаешь, жизнь осложнится, один на хозяйстве да плюс девчонки. Но ничего, как-нибудь справимся, нам не впервой. Если в Печенге выжили, уж тут-то тем более. Да, еще один аргумент – ты не представляешь, какой там бесценнейший опыт!

У меня аж руки дрожат, как представляю! Девчонкам пока не говорили, что огорчать раньше времени? Только, думаю, переживут они это спокойно – какая я мать, ты знаешь. Мать у нас Петрович, дай бог ему сил и здоровья! А я, выходит, отец... Ну уж как есть. Лично я своей судьбой довольна. А представляешь, если бы муж мой был другим? Если бы требовал от меня всю эту домашнюю чушь: борщи, утюг и веник. Тогда бы мы точно развелись. Шуткую, конечно. Нервничаю, не скрою. Дома держусь, веселюсь, а на деле страдаю. Права ли? Могу ли оставить на такой долгий срок девочек и мужа? Какая-никакая, а все же я мать.

С тобой поделилась, Ванечка, и стало полегче. Братик, родной! Как ты там, на своем море? Не надоело? Не хочешь вернуться в родные столицы? Я не уговариваю, ни-ни. Просто интересуюсь. Неужели прижился и совсем не скучаешь по большому городу – по театрам, по выставкам, по всему остальному? По работе? Ну и слава богу, если нет! Ваня, хватает ли тебе денег? Как ты питаешься? Как нога? Реагирует на погоду? Делаешь ли ты рентген? Я тебе говорила, что раз в год нужно точно! Но, зная тебя, что-то я сомневаюсь.

У Нонны и Марины все хорошо, внучка подрастает, живут мирно и складно. Нонна прибаливает, но это нормально, возраст, куда денешься. Марина дочь трепетная, следит за ней хорошо. Я как-то к ним заезжала,

передавала, уж извини за самодеятельность, от тебя привет. Ванечка! Если все получится, я уеду месяца через три. Пока сдам дела, оформлюсь и т. д.

Может, все-таки вырвешься к нам в это время? Мы будем счастливы! Да и надо нам повидаться перед моим отъездом.

Очень скучаю по тебе, и Петрович скучает, и девочки. У Томки большие успехи на танцевальном поприще, ну просто звезда наша Томка! Берет призы, занимает первые места в конкурсах и по-прежнему очень увлечена. И в школе, умница, успевает. У Светланки тоже все хорошо. Но эта та еще штучка! Уже ухажеры, как тебе, а? В ее-то возрасте уже кавалеры! А что будет дальше? Хочет в медицинский. Я, если честно, против. Знаю, какой это тяжелый и не всегда чистый труд. Но отговаривать не буду, не имею на это права. У всех должен быть выбор. В конце концов, надеюсь, что не пойдет в хирургию.

Ванечка, про переписку оттуда узнавала – можно. Буду писать тебе, не возражаешь?

Да. Звонила Алене, хотела повидать Илью. Но все никак не срастается – то Илья, по ее словам, «невозможно занят», то, прости, занята я. Надеюсь, перед отъездом все-таки с ним повидаемся. Алена разговаривает со мной нехотя, через губу, словно делает одолжение. Да так оно, собственно, и есть – одолжение. Спасибо, что хоть как-то общается. Но информация об Илюше очень скудная – в школе все прилично, занимается какой-то борьбой и плаванием, учится играть на гитаре. Словом, обычный, нормальный парень. И слава богу.

Она на мои звонки раздражается, но мне наплевать – звонила и буду звонить, он мой племянник.

Ванечка! Кажется, все, отчиталась. С нетерпением буду ждать твоего ответа! Если получится – дозвонись! Хотя помню, со связью у вас неважно, и все-таки. Очень хочу услышать твой голос. Но и письма жду подробного! Слышишь? Очень за тебя болит сердце. Очень.

Обнимаю тебя, твоя Ленка.

В какую страну Ленка едет, она не написала. Иван стал разглядывать карту, пытаясь дотумкать. Было понятно одно – страна, куда направляли его сестру начальником госпиталя, вряд ли была спокойной и мирной.

Спустя много лет от узнал: почти перед самым концом командировки Ленка получила тяжелое ранение. Слава богу, обошлось. Но много лет оно давало о себе знать: сестра мучилась от страшных болей в спине.

Перед Ленкиным отъездом Иван думал сорваться в Питер, обнять

сестру, возможно – отговорить, но не сложилось, заболела Аська, следом свалилась Изергиль, и снова совсем сорвалась с катушек Любка. По ночам она пропадала из дому. Он обнаружил это не сразу, через пару дней, когда заболела Ася.

Девочка горела, задыхалась и страшно, надрывно кашляла.

– Где мать? – закричал он, увидев все это.

– Да гуляет, – с трудом ответила Ася. – Гулянка у нее, так бабушка говорит.

– И это с ней часто бывает? – осторожно спросил Иван.

Девочка зашлась в кашле.

– Бывает, – равнодушно ответила она. – Но не часто.

Он побежал в поликлинику. Пришел врач, тут же диагностировал воспаление легких и стал настаивать на больнице, но Ася горько плакала и умоляла ее оставить дома. Скрепя сердце согласился, побежал в аптеку, к вечеру пришла медсестра и сделала девочке первый укол. После второго, утреннего, шестичасового, температура стала спадать.

А Любки все не было. Иван рванул на вокзал, но там ему сказали, что не объявляется она уже несколько дней, прогуливает и с ней такое бывало.

Буфетчица смотрела на него с ехидной ухмылкой:

– Что, потерял свое счастье?

Он разозлился:

– Да девочка заболела! Дочка!

– Твоя, что ль, дочка? – с недоумением отозвалась та. – Ты тут при чем? Бабка у нее есть. Правда, стерва хорошая. Что поделаешь – Любка у нас непутевая. Где искать ее, не знаю. Может, с кем-то уехала – и такое бывало. Погуляла в городе с недельку и вернулась, блудливая кошка. Родня у нее есть какая-то дальняя – в Светлом, что ли? Да черт ее знает! А девчонку ее отдай в больницу, не рискуй. Кто она тебе? Не родная ведь, чужая.

– Родная, – бросил он и быстро пошел прочь. Но обернулся. Буфетчица смотрела ему вслед, и на ее лице было написано не только удивление, но и брезгливость.

* * *

Ася постепенно выкарабкивалась, но почти ничего не ела, только пила. Он постелил старый матрас возле ее кровати и спал у нее. Ася держала его за руку. Рука затекала, немела, но выпростать ее Иван не решался –

слышал, как выравнивается ее дыхание, и терпел.

Ухаживал и за бабкой – куда деваться? Ухаживал как мог. Выносил «поганое», по ее же словам, ведро, приносил чай и хлеб. Вызвать врача она ему не давала:

– Еще чего! Отродясь не звала их, чертей! И дальше не буду.

Но вызвать пришлось – ночью старухе стало совсем плохо. Увезли в больницу – гипертонический криз.

Теперь он мотался между больничкой и Асей. Кое-как сварил бульон, отнес в больницу, а оставшимся поил Асю. А Любки все не было.

Старуха умерла через неделю.

Хоронил он ее на свои, на отложенные. Никто из соседей проститься с ней не пришел.

Ася была еще очень слаба, на известие о смерти бабки среагировала спокойно. Иван и не удивился – что хорошего она видела от Изергиль? Ни ласки, ни любви.

А вот мать вспоминала, волновалась.

Ася уже выходила на улицу, во двор, но пока ненадолго, на полчаса. Во-первых, была еще очень слаба, а во-вторых, за окном был декабрь, погода была обычной для этих мест – сыро, промозгло и ветрено. Пару раз покрапал, как дождь, жидкий прозрачный снежок. Он гас на подходе и до земли не долетал.

Ася лежала в своей кровати и терпеливо ждала, когда он вернется с работы, кое-как справится с их нехитрым хозяйством и наконец сядет возле нее и они примутся за книгу.

– Волнуешься за мать? – как-то спросил он, поймав ее тревожный взгляд.

Девочка смутилась и покраснела.

– Нет. Мне с тобой, дядь Вань, хорошо. Тихо с тобой.

Он погладил ее по голове.

– Не волнуйся, Асенька! Все будет хорошо. И мама твоя вернется. Обязательно – как она без тебя?

Ася отвернулась и ничего не ответила.

Любка явилась через две недели. Вошла в дом бочком, словно хотела проскользнуть незамеченной. Глаз не поднимала и здороваться не стала. Иван увидел, что она похудела, сошла с лица и вид у нее был не только виноватый, но и потрепанный, тот еще вид, как говорила его бабка.

Увидев бледную и перепуганную дочку, хмуро бросила:

– Что у вас тут еще?

Девочка молчала.

– А старая где? Дрыхнет небось?

Иван взял Любку за локоть и вывел во двор. Коротко и скупно отчитался:

– Ася болела и сейчас не до конца здорова, кровь после пневмонии еще не ахти. А мать твоя, Люба, умерла, я ее похоронил. Точнее, мы с Асей. – И с горьким сарказмом добавил: – Уж извини, что тебя не дождались!

Любка охнула, побледнела и осела на мокрую от сырости лавку. Что-то забормотала, запричитала и наконец расплакалась.

Никак не реагируя, Иван пошел к себе. Вечером он слышал ее причитания над дочкой, ахи и вздохи – говорила она с ней заискивающе, хлопотала на зимней кухне, он слышал звон посуды. К Асе в тот вечер не пошел, пусть разбираются сами.

Ночью он страшно замерз, буржуйка остывала в момент, а вылезать из-под одеяла, чтобы ее подтопить, было неохота. Так и дрожал до утра.

Утром, выйдя во двор, увидел хмурую и смущенную Любку. Не поднимая глаз, Любка буркнула:

– Спасибо тебе. И за девку мою, и за мать. Сволочь я, конечно, конченная. Ну уж какая есть. Мне на том свете расплата не грозит, я на этом все получила.

Он равнодушно отозвался:

– Да какое мне дело, Люба! Получила, не получила. Мне бы со своим разобраться. А вот девочку бросать надолго не надо, ребенок ведь! – И пошел прочь со двора. «Обойдусь без завтрака, – решил он, – куплю булку и пакет молока». Садиться с Любкой за стол не мог, глаза на нее не смотрели.

Зима стояла теплая, сырая и дождливая. На улице было серо и пасмурно, да и народу почти не было, случайные прохожие торопились на работу, поспешно забегали в магазины и тут же спешили домой – южный народ, привыкший к теплу, зиму, пусть и мягкую, переносил плохо. Все ждали лета, сезона, когда закипит, забурлит жизнь.

С Любкой они почти не разговаривали: «привет – привет, пока – пока». Ужинать с ними он не садился, хоть и видел Асин расстроенный взгляд. Ел у себя, покупал колбасу, хлеб, бутылку кефира и банку сметаны, это и был его ужин.

По вечерам притихшая Любка сидела дома. Наверное, смотрела телевизор.

Несмотря на теплую и бесснежную зиму, в его хижине было холодно и не спасали ни два одеяла, ни старый шерстяной спортивный костюм, в

котором он укладывался спать, ни насмерть законопаченное окно, ни быстро остывающая буржуйка, которую приходилось топить по два раза на дню – утром и вечером, перед сном.

Но за ночь печурка остывала, и утром, дрожа от холода, он никак не решался вылезти из-под одеял. Тут же цеплялись насморк и кашель, болела и ныла нога.

В первых числах февраля, вернувшись с работы, Иван увидел, что на кровати нет ни подушки, ни одеяла, ни белья.

Пошел к Любке:

– В чем дело, хозяйка? Кажется, я ни о чем не просил! А может, нас обокрали? – спросил он с иронией.

Любка смутилась и буркнула:

– Вещи я перенесла. Сюда, в бабкину комнату. Хватит тебе там... Или ждешь, пока околеешь? Не надо, – недобро усмехнулась она, – Аська расстроится.

Он удивился:

– Не ожидал такой заботы. Тем более от вас, уважаемая Любовь Петровна! Ну спасибо. Ася, говоришь, расстроится? А ты, Люба? Нет? Если мой хладный труп обнаружат?

Она подняла на него глаза, посмотрела внимательно. Выдохнула и ответила:

– И я расстроюсь. Утешился?

С минуту они смотрели друг на друга. Он первый отвел взгляд, потому что стало неловко – в Любкиных глазах застыла такая боль и печаль... Однако она быстро взяла себя в руки и усмехнулась:

– Живи! Сегодня я добрая.

Переехав в дом, наконец отогрелся. Комната покойной старухи была маленькой, метров семь, но ему хватало. А главное, в ней было тепло. Переноса из хижины свои нехитрые пожитки, усмехнулся про себя: «Опять переезд! Что ж, нам не привыкать».

Три маленькие комнатки, Асина, Любкина и бабкина, соединялись хлипкими картонными, шатающимися перегородками. Он слышал, как по ночам подкашливает Ася и как ворочается, вздыхает, не спит Любка.

И в эти минуты его обдавало таким огнем и таким жаром, что ему казалось, что поднялась температура. Любка, горячая и нетерпеливая Любка, которую он выгнал, была теперь рядом, за хлипкой стеночкой из фанеры, на расстоянии вытянутой руки. Но он не мог ее позвать. Не мог к ней прийти. Потому что однажды выгнал ее, а женщины такого не прощают.

Зато возобновились «семейные» ужины – куда деваться, когда живешь в одном доме. Радовало одно – он видел, как счастлива Ася.

Пришла короткая и бурная южная весна, зацвели каштаны и липы, щедро делясь своими немыслимо свежими, сладкими запахами. В одно утро разом, как по взмаху волшебной палочки, распустились сады, и поселок накрыло белоснежным свадебным тюлем. Нежно-сиреневым зацвел персик, густо-розовым цвел миндаль.

Сбрасывая с себя зимнюю усталость, поселок оживал, просыпался и свежел на глазах.

В одну ночь и море поменяло свой цвет, подпитываясь и загораясь от почти летнего солнца, оно с каждым днем светлело и голубело.

И люди словно очнулись, расшевелились, переоделись в легкое и летнее и радовались друг другу. Коротко обмениваясь новостями, спешили домой – там ждали дела. Подготовка к сезону. На грядках уже всю зеленела помидорная и огуречная рассада, пышно кустилась невозможно ароматная южная зелень – базилик, розмарин, душица, мята и фенхель. Зацветала клубника. Поспешно вытаскивали зимний хлам из комнатух и сараюшек – будущего жилья незадачливых курортников и единственный доход хлопотливых хозяев.

Во дворах на веревках колыхались и парусили свежевystиранные занавески и постельное белье. До блеска скоблили шаткие полы, в садах проветривали разложенные на скамейках и стульях подушки и одеяла, затхлые после зимы.

Поселок жил в предвкушении, в тревоге и ожидании. Хозяйки нервничали – как в этом году будет с погодой и как с отдыхающими? Погода была верным другом и, как правило, в этих широтах не подводила. Но всякое бывало – все вспоминали черт-те какой год, когда был дождливый июль и невыносимо холодный август.

От отдыхающих зависела жизнь местного люда. Сдашь комнаты, будет что есть зимой. Не сдашь – дело швах. Придется отправлять на заработки мужей и сыновей. А уж что там с ними в этих столицах случится – лучше и не думать.

* * *

Вечерние вылазки на море Иван не отменял ни дождливой осенью, ни хмурой и ветреной зимой, ну а весной тем более. Ася, подпрыгивая от нетерпения, семенила за ним.

По дороге он, как всегда, покупал ей мороженое или сладости, леденцы на палочке, мятные пряники или шоколадный батончик. Ася всему была рада.

Садились на берегу и смотрели на море. Молчали. Она не задавала вопросов, молчал и он. Как-то, когда переходили дорогу, Иван взял ее за руку. Дорогу перешли, и он хотел отпустить свою руку, но почувствовал, как крепко, почти насмерть, Ася вцепилась в его ладонь. Руку убрать он не посмел.

Любка по-прежнему в его сторону не смотрела, молча шмякала на стол миску с супом и молча садилась напротив. Часто цеплялась к Асе.

Причина всегда находилась, заводилась она с пол-оборота, грубо, громко, несправедливо. Девочка вздрагивала, бледнела, вжимала голову в плечи. Видя Любкино настроение, Иван тут же вступался:

– Люба! Охлони! Не начинай, умоляю!

Любка сверкала глазами:

– Подумайте! Надо же, заступничек нашелся! У нас, оказывается, проживает адвокат, важная персона! А я и не знала! Адвокат, а не нищий и никому не нужный мазила! Ну надо же, а? – непонятно к кому взывала она. И, перегнувшись к нему, приблизив свое побледневшее от ярости лицо, шипела: – Без тебя обойдемся! Ты кто тут, а? Не забыл? Вот выгоню – будешь знать, как совать нос не в свое дело! Усек, адвокат? Ты ей кто, а? Папаша родной? Знай свое место!

Девочка застывала. Застывал и он:

– Усек, Люба, усек. Только ты все равно не права.

Любка громко шваркнула кастрюлей и ушла в дом.

– Дядь Вань! – шептала Ася. – Не связывайся ты с ней. А то прогонит. А я ничего, привыкла. Поорет и перестанет – ты ж ее знаешь.

Он кивнул, а что оставалось... Он боялся, что Любка его прогонит. Он прекрасно понимал, что жилье найдет в два счета, репутация у него была прекрасная. Но Ася? С кем останется девочка? Конечно, не его дело, Любка права. Кто он ей, этой девочке? Чужой дядя. Но он прикипел к ней всем сердцем. И жизни без нее уже не представлял. Вот как бывает.

А через пару дней Любка снова пропала.

Он беспокоился, прислушивался по ночам, не скрипнет ли калитка, не послышатся ли шаги. На третий день решил пойти к участковому Удальцу. Тот рассмеялся:

– Искать? Ты что, опух, Ваня? Кто будет эту... – Удалец зло сплюнул на пол. – Кто будет эту шалаву искать? Понятное же дело – махнула в город и застряла! Загуляла хозяйка твоя! Такое же с ней не впервой, сам знаешь.

Нашляется и вернется, куда денется? Кому она нужна, прости господи, твоя Любка? Нет, заявление я у тебя не приму и не проси.

Иван ушел. А беспокойство не проходило.

За ужином тем же днем Ася сказала:

– Да не волнуйся ты, дядь Вань. Вернется мамка. А лучше бы...

Он перебил ее:

– Ася! Ну разве так можно! Она твоя мать.

Ася по-взрослому усмехнулась.

Любка вернулась спустя десять дней – похудевшая, хмурая, с синячищами под глазами. Яростно принялась за уборку – с остервенением драила полы, сдирала шторы, замачивая их в корыте во дворе. Терла песком посуду, приговаривая, как все засрали.

В его сторону не смотрела – понятно, неловко.

На ужин подала блины, редкая для Любки история. На девочку ворчала, но незлобно, так, для порядка.

– Люба, – сказал он, – ты вернулась, и я хочу переехать к себе. Не возражаешь?

Не повернувшись от плиты, бросила:

– Возражаю! Сарай я сдаю. Что мне деньги терять? А если комната не устраивает – дорога свободна!

Он здорово разозлился:

– Ну дело твое! Ты хозяйка, и тебе решать. Значит, буду что-то искать, – твердо добавил он. – Сумасбродство твое до чертей надоело!

– Скатертью дорога, – буркнула она. – Никто тебя тут не держит!

Принялся искать жилье, но отдельные домики, пристройки, гаражи или сараи все были сданы. А те, что оставались свободными, ему сдавать не спешили – с приезжих можно содрать и побольше. Он был своим, со своего вроде неловко.

Любка узнала о его поисках, но ничего не комментировала. В ее презрительном и насмешливом взгляде читалось: «Ну-ну! Как же! Мы еще посмотрим, кто кого!»

Ася, слава богу, ни о чем не догадывалась. Нечего заранее ее волновать.

Через пару дней Любка привела жильцов. Ими оказались две перезрелые девицы из-под Ростова – одна жгучая шатенка, другая соломенная блондинка. Если бы не цвет волос, их легко можно было бы перепутать.

Девицы и не скрывали, что приехали «погулять», что предполагало выпивку, поиск кавалеров и гулянье по ночам – весь список курортных

удовольствий.

Жиличками они оказались нахальными, домой возвращались поздно, громко и беззастенчиво гомонили, садились за стол в саду, распивали бутылочку и громко, в голос, не стесняясь, по-лошадиному ржали.

Иван порывался выйти и призвать к совести, уговорить. Но останавливался: «Кто я здесь? Такой же курортник, как и они, такой же транзитный пассажир. Какое я имею право делать им замечания? Беспокоят девочку? На это у нее есть мать».

Девушки утихали под утро, когда начинало светать. Боялся он одного: что однажды Любка присядет за стол, присоединится, так сказать, к процессу и снова запьет.

Но этого, слава богу, не происходило. Любка возвращалась с работы и, поужинав, тут же уходила к себе. Проснулся однажды от шума – открыл глаза и услышал чертыхания:

– Понаставили тут! – И углядел темный, неразборчивый силуэт. Нежданный гость споткнулся о табуретку.

– Что случилось? – привстав на кровати и опознав одну из курортниц, выкрикнул он.

Так и есть, блондинка! Та присела на край кровати и, обдав его стойким, сладковатым духом портвейна, прошептала:

– Это я, Зинаида, соседка твоя! – И захихикала: – Что, не признал?

– Да уж признал. Что, Зинаида? Не спится?

– Ага! – обрадованно хохотнула та. – Давай вместе, а? Может, будет повеселее?

– Не будет, – вздохнул он. – Иди, Зина, иди! Чтобы без скандала.

– Не уйду, не проси! Ну что тебе? Жалко?

В эту секунду широко распахнулась дверь, и на пороге возникла разъяренная и растрепанная Любка. Не говоря ни слова, она схватила упирающуюся жиличку за руку и потащила за собой.

Та пыталась вырваться, отчаянно сопротивлялась. Но вырваться не получилось – Любка выволокла ее во двор, и он услышал характерные гулкие шлепки – Любка лупила Зинаиду по морде. Дальнейшее произошло молниеносно – Любка вышвыривала из сараюшки их вещи, вытаскивала из кровати ничего не понимающую Зинаидину мирно храпящую товарку Зойку. А минут через десять все стихло. В окно он видел, как в изнеможении Любка опустилась на лавку и закрыла лицо руками.

«Плачет? – удивился он. – Кажется, да. Странно, ей-богу...»

Утром съехидничал:

– Зря ты так, Люба. Вот, денег лишилась. Я бы сам справился, честное

слово. Прогнал бы ее, эту чертову Зинаиду. Думаешь, не сладил бы?

Та со злостью ответила:

– Мое дело. Мои жилищки. Захотела – погнала. Новых найду! Тут такого добра – как говна за баней! – И усмехнулась: – А то что справился бы – не сомневаюсь. Помню. Память у меня хорошая. – И, круто развернувшись, Любка ушла в дом.

«Смешная, – усмехнулся он. – Неужели заревновала? Нет, правда, смешно!»

Спохватился он в конце июня:

– Аська! Тебе же осенью в школу! А ты у меня – ни читать, ни писать!

Увидел, как та залилась счастливым румянцем. Потом дошло – обрадовалась словам «ты у меня».

Горько вздохнул. Однажды Ася тихо спросила:

– Дядь Вань... а ты не уедешь?

Он удивился:

– Куда, Асенька?

– Да кто тебя знает. Надоест тебе тут. Ты же свободный, один, без семьи.

– Вряд ли, – покачав головой, ответил он. – Я здесь, Ася, привык, да и ехать мне некуда. И ты... Куда я от тебя? Ты теперь моя семья, Аська.

Побледнев, девочка вскочила со стула и бросилась в дом. Он улыбнулся, покачал головой и принялся собирать со стола посуду.

Подумал: «Такая вот получилась история. И все это чистая правда».

Все лето усиленно готовились к школе – букварь, пропись, счетные палочки. Ася оказалась талантливой ученицей, все схватывала на лету, от занятий не отлынивала и, выглядывая на улицу, с еще бóльшим нетерпением ждала его с работы. Сама варила вермишель или картошку, быстро освоив эту нехитрую науку. Словом, хозяйствовала.

Конечно, ходили купаться. Море Аська обожала, а плавать, как ни странно, не умела, чудеса – девочка, выросшая на море.

С Аськой занимались каждый день, и к августу она уже бойко читала по складам. Бойко считала до ста и, высунув от усердия язык, старательно, по прописи, выписывала печатные буквы.

В конце августа Любка записала дочку в первый класс, и Иван с Асей отправились в город покупать ей форму. Там же купили и розовый, с картинками, ранец. Аська светилась от счастья.

Груженные пакетами, пошли в ресторан – ему захотелось устроить ей праздник. Ресторан был из пятидесятих годов – красные дорожки в полосу, тяжелые плюшевые малиновые шторы, белые скатерти, изрядно

поношенные, но крепко накрахмаленные. И, конечно, хрустальный кувшин и тяжелые приборы – все как тогда, в советские времена.

Да и меню было из прошлого века – салат оливье, селедка под шубой, лангет и рубленый бифштекс, борщ и бульон с пампушками.

Взяли борщ и лангет, кувшин малинового морса и, конечно, на десерт мороженое.

Аська была перепугана до смерти и от восторга почти не дышала.

– Такая красота! – прошептала она. – Как во дворце. Да, дядь Вань?

Он рассмеялся:

– Нет, Асенька! Во дворцах все по-другому! Вот подрастешь и поедешь в Ленинград. Там и увидишь, какие они, настоящие дворцы!

Ася посмотрела на него с недоверием.

Потом гуляли по городу и даже сходили в кино.

По дороге домой, в автобусе, положив голову ему на плечо, Ася уснула. А он замер, боясь шелохнуться. «Господи, не разреветься бы, – подумал он, сглатывая застрявший в горле комок. – Девочка моя. Такая родная».

Первого сентября наряженную, важную и перепуганную до смерти Аську провожали в школу – принаряженная Любка и Иван в старом, тесноватом костюме и нелепых древних, давно вышедших из моды туфлях.

Аська держала их за руки: справа Иван, слева мать.

Кажется, все ощущали торжественность момента, даже Любка, равнодушная, почти ко всему безучастная.

Новая жизнь текла своим чередом, по вечерам они с Асей делали уроки, а после шли на море. Аська делилась школьными новостями, но замолкала, поймав его рассеянный взгляд – на берегу, и так не слишком разговорчивый, он предпочитал молчать.

Любка исправно ходила на работу и, кажется, успокоилась, как говорится, в бой не рвалась.

Стоял октябрь, теплый и невозможно красивый, расцвеченный красными и желтыми листьями каштанов и кленов, и воздух пах прелыми листьями и последними, отцветающими розами. Поселок опустел и, казалось, выдохнул, кончилась сезонная суeta. Суматоха, хлопоты и нервозность отходили прочь, до следующего сезона. А сейчас надо было приходить в себя, закатывать последние банки с помидорами и перцами, крутить компоты из поздних груш, сажать под зиму чеснок – начиналась привычная, размеренная и понятная жизнь.

Ночью мягко шелестел еще теплый ветерок и неспешно колыхалась легкая занавеска.

В ту ночь Иван долго не мог уснуть и, закинув руки за голову, впервые подумал, что хочет *попробовать*. Съездить в город, купить пластилин, мешок гипса, мастихины, стеки, троянки. Получится ли? Так хотелось взять мольберт, натянуть холст, растереть краски, открыть бутылку с олифой и втянуть ее забытый запах.

Удивительно – сколько лет не тянуло! Каляки-маляки, дурацкие афишки, транспаранты к праздникам, объявления и плакаты, вся эта чушь и нелепость были тут ни при чем.

«Завтра, подумал он, завтра». Он повернулся к стене, закрыл глаза и попытался уснуть. Почти уснул, как вдруг услышал скрип двери. Все сразу понял и замер, боясь задышать.

Чуть скрипнул пол, потянуло сладким запахом духов, и Любка вошла, присела на край кровати.

Он повернулся к ней и посмотрел ей в глаза.

– Не прогонишь, как в прошлый раз? – хрипло спросила она.

– Нет, Люба, не прогоню. Слишком долго я этого ждал.

Она скинула халат и осторожно прилегла с краю.

Он почувствовал тепло ее тела, запах ее кожи и волос и прижался к ее плечу.

Резко развернувшись к нему всем телом, она склонилась над его лицом и жарко зашептала:

– А что же не пришел, дурачок? Я же тоже... ждала! Как же я тебя ждала! – простонала она. – Ждала и боялась, вдруг опять прогонишь? Второго раза я бы точно не пережила.

На его лицо падали тяжелые теплые слезы.

Он крепко, до боли, обнял ее и, зарывшись в ее густые волосы, простонал:

– Сколько же времени мы потеряли! Господи, сколько же времени! Какой же я идиот! Прости меня, Люба. Прости.

* * *

И все-таки их отношения были странными. Во-первых, Любка упорно скрывала их от дочки. Иван вопросов не задавал, ей виднее, она мать. Но девочка, кажется, обо всем догадывалась. В глазах ее застыла надежда и тревога, но Ася молчала. А во-вторых... Во-вторых, ничего, ровным счетом ничего не изменилось, все было как прежде.

Любка приходила каждую ночь. Он ждал, прислушиваясь к ее

осторожным шагам. Чувствовал, что это была не только страсть, но и отчаяние, и благодарность. Любка шептала ему такие слова, что ему становилось неловко.

– Спасибо? Господи, да за что? Люба, что ты! О чем?

«Недолюбленная, – думал он. – Какая же она недолюбленная! Разве может женщина благодарить за это?» Уходила Любка под утро, когда за окном занимался рассвет. А Иван долго не мог уснуть, ворочался, курил у окна и думал. О чем? Обо всем. Он вспоминал свою прежнюю жизнь, бабушку и деда, отца и мать, Ленку и ее семью. Машу, Алену и, конечно, Илью.

Он думал о том, что Любка, странная, чужая, малопонятная, – совсем не его женщина. Да в прежние бы времена! Да что там. Еще совсем недавно он относился к ней с брезгливостью и даже с презрением. А сейчас... Сейчас ему с ней хорошо. Он думал о них, своих женщинах, о Любке и Асе, и его сердце затапливали нежность и почему-то печаль. Еще он размышлял о странных коллизиях, которые случились в его жизни, о маленьком, невзрачном поселке у теплого и мелкого Азовского моря, где, кажется, он, сам не ожидая, все же нашел свой дом.

Он перебирал в памяти их с Любкой жаркие, невозможные ночи, которых оба ждали с нетерпением. Он очень хотел ее. Но когда отступали первый голод и звериное вожделение, он думал о ней с нежностью, с грустью и болью – как думают о сестре или подруге, о близком и родном человеке.

Но самое невероятное, самое главное, что впервые, впервые за много лет в его душе наступил покой.

* * *

Прошло три года. Ася ходила в четвертый класс, школу по-прежнему не любила, но училась хорошо. Способной была эта девочка. Способной во всем. А Ивану впервые захотелось писать. Не малевать афиши и транспаранты, а именно писать. И лепить.

На следующий день он поехал в город и купил инструменты – пять килограммов серого рабочего пластилина, стеки, мастихины, мешок гипса, небольшой мольберт, рулон холста, беличьи кисти, уголь и сангину, несколько тюбиков с маслом и большую палитру темперы. Вечером, прихватив мольберт, кисти и краски, он пошел на берег. Ася, как всегда, увязалась за ним.

Он раскладывал все это, а она, замерев и боясь пошевелиться, смотрела на него во все глаза. Во все свои невероятные, черные, испуганные глаза.

Наконец все было готово, укреплен мольберт, натянут холст и приготовлены краски. Дрожали руки, и по спине бежал холодок – как он боялся начать! Смотрел на потемневшее, почти антрацитовое море, на медленно гаснущее апельсиновое солнце, на затухающее небо и молчал, позабыв даже об Асе. Потом, смахнув оцепенение, осторожно коснулся кистью холста.

Иван очнулся спустя три часа, почувствовав, как сильно замерз, и с удивлением увидел, что берег, и поселок уже накрыла внезапная южная темень. Он оглянулся на Асю – поджав колени, бедная девочка дрожала как осиновый лист.

– Господи! Какой же я идиот! – застонал он.

Надел на нее свою рубашку, и быстрым шагом они пошли к дому. Он налил ей чаю с большой ложкой меда и, укутав теплым одеялом, уложил в кровать.

С того дня, почти каждый день, он отправлялся на берег с мольбертом и красками. И холст, и краски быстро закончились, и снова пришлось ехать в город. Ася напросилась с ним.

В магазине, где продавались товары для живописи, девочка застыла от восторга.

– Отомри! – рассмеялся он и купил ей альбом, краски и кисти.

С того дня Ася отправлялась с ним, захватив и свои принадлежности.

На берегу все было так же, только теперь и она важно раскладывала краски и кисточки, открывала альбом и застывала, глядя на море.

Иван наблюдал за ней осторожно – не дай бог вспугнуть, что это, знал по себе.

Начать рисовать она не спешила: долго о чем-то думала, хмурила брови и, с глубоким вздохом, словно собирая силы, начинала делать наброски. Он ее не трогал, не давал советов, не начинал разговор. Но, к своему огромному удивлению и почти сумасшедшей радости, понимал, что у нее получается.

Начались уроки. Он ставил простейшие натюрморты – кувшин, стакан, яблоко. Рассказывал про композицию и перспективу, про тени и рельефность, про расположение предметов на листе, про поиски пропорций и распределение светотеней. Словом, объяснял азы профессии.

Она внимала каждому слову, боясь пропустить любую, самую незначительную деталь.

Занятия их стали ежедневными и необходимыми – и Асе, и, как ни странно, ему самому.

Теперь она часто приходила к нему на работу, в его каморку, и, затаив дыхание, сидела тихо, как самая робкая мышь.

Любка смотрела на это с иронией:

– Чем бы дитя ни тешилось!

И непонятно, кого именно она имела в виду. Но в ее взгляде была благодарность.

Вечерние чтения не пропали. Ася уже вполне прилично читала, но по-прежнему требовала, чтобы и Иван читал вслух. «Как раньше», – умоляющим голосом говорила она.

В хорошую погоду они брали книгу и шли на берег.

Пляж после отъезда отдыхающих стал пустынным, словно там никогда и не было многоголосого, шумного народа, карточных игр, стука костяшек домино и хлопков отрываемых пивных бутылок. Арбузные корки, отброшенные нерадивыми курортниками в кусты колючника, подсохли и съезжились, ими не интересовались даже назойливые мухи и осы. Пропали и запахи резкого одеколона, подгорелого мяса, угля и пива. Воздух был чист и свеж. С моря дул теплый ветерок, пахло йодом и рыбой, как должно пахнуть на море.

В один из этих теплых октябрьских вечеров он начал читать ей любимого Грина, «Алые паруса». Рассказал и про тяжелую судьбу самого сказочника.

Ася, сдержанная и привыкшая ко всему Ася, неутешно и горько плакала, слушая про мытарства Александра Гриневского. И его судьба, и эта красивая сказка так ее потрясли, что просила она об одном:

– Дядь Вань, ну еще, пожалуйста! Ты ничего не забыл?

Она подолгу смотрела на море, вглядываясь в его бесконечную даль, словно выискивая на горизонте корабль.

– Так бывает? – шепотом спросила она.

– А как же! – улыбнулся он. – Как можно не верить книгам?

Ася неуверенно ответила:

– Все-таки не верится, дядь Вань! – И, помолчав, серьезно добавила: – Хотя тебе я верю. Всегда. – И встrepенулась: – А эта девушка, ну, Ассоль, она была какая?

– Красавица, тут же написано! Необыкновенная красавица, первая в городе. Такая, какой будешь ты! Не сейчас, но очень и очень скоро.

Ася недоверчиво хмыкнула:

– Дядь Вань, а короткое имя у нее какое?

– В каком смысле – короткое? – не понял он.

– Ну, – нетерпеливо объяснила девочка, – вот мамка моя Любка, да? Это короткое. А длинное – Любовь. Бабка была тетя Дашей, а в паспорте – Дарья Михайловна. А у меня только короткое – обрезанное какое-то: Ася и Ася! А длинного нет.

– Неполное, Асенька! Короткое – это неполное. А длинное, как ты изволила выразиться, – это полное имя. Ваня – Иван. Люба – Любовь. Все правильно. А бывают короткие, ты права. Они же и полные, неизменяемые, они не меняются и не удлиняются, – улыбнулся он. – А чем тебя не устраивает твое прекрасное имя? По-моему, очень красиво!

– Ничего красивого в нем не вижу. Аська и Аська. Как кличка собачья.

– Ася! – вдруг осенило его. – А как ты думаешь, если бы у Ассоль было короткое имя, как бы ее звали, а?

С минуту подумав, Ася пожала плечом:

– Ну ты же сказал, что короткого у нее не было, почему я знаю?

– Нет, Асенька! Было! Наверняка было! И знаешь какое?

Девочка испуганно посмотрела на него:

– Откуда мне знать?

– Ася ее звали, понимаешь? Ася! Длинное, как ты говоришь, – Ассоль. А короткое Ася!

Ася, кажется, сомневалась. А потом примирительно кивнула:

– Ладно, дядь Вань! Хотя, – с сомнением добавила она, – мне кажется, ты все придумал. Да и потом, кто будет звать меня Ассоль? Все станут только смеяться.

– Поглядим – посмотрим, – засмеялся он. – Ну а пока так буду звать тебя я! Ты не против, надеюсь?

И он увидел, как радостно вспыхнули ее глаза.

Асины успехи его удивляли – через полгода, к зиме, она сама ставила натюрморты, усложняя их с каждым разом. Иван удивлялся, как она играет со светом и как четко соблюдает пропорции. Придя из школы, она тут же бросалась к бумаге и краскам. Вечером, если была собой довольна, со смущением показывала ему работу. Но если ей не нравилась, несмотря на его просьбы, ни за что не показывала.

– Я ведь могу подсказать, Ася! Что-то поправить!

Она упрямилась:

– Нет, дядь Вань. Плохо, значит, плохо. И нечего там исправлять.

– Коза упрямая! – сердилась Любка. – Ничем ее не перегнуть.

– Характер, – возражал Иван. – Это характер, Люба, а не упрямство.

К Новому году он поехал в город и купил ей масляные краски и

картон.

– Зря это все, – недовольно бросила Любка, – зря. Рисуночки эти. Для тебя, Ваня, это забава. А девка втянется, и что дальше? На художника пойдет? Не смейся! Видели мы художников, уж извини! С хлеба на воду. После восьмого отправлю ее в ПТУ, на повара или портниху. С такими профессиями не пропадет. Не то что я, дура! Мать уговаривала меня учиться, а я, Ваня, любовь все искала! Думала, это и есть в жизни главное. А оказалось...

– Оказалось, что нет?

– А ты по-другому думаешь? Ну, значит, и ты дурак, дядь Вань! – недобро рассмеялась Любка. – Значит, ничему тебя жизнь не научила! А я, Вань, хорошая ученица, все давно поняла. И знаешь, когда поняла, мне стало легче.

«Жалко ее, – в который раз думал Иван. – Не просто раненая – подстреленная. И кто ее так?»

Странные у них были отношения. Ночью ему казалось, что ближе Любки у него никого нет. Он обрел свою женщину и был рядом с ней. Ее тело, уже знакомое ему до мелочей, было не просто желанным – родным. Родинка на шее, под густыми и душистыми волосами, похожая на смоляного жучка. Глубокая ложбинка между грудей, всегда влажная от пота. Шрам на бедре, глубокий, широкий, змеей струившийся к заветному месту.

– Откуда он у тебя? – спросил он однажды.

– Кот оцарапал.

Иван с сомнением покачал головой:

– Кот? Да это тигр, пожалуй! Такие-то когти!

– Не тигр, – ответила она, – точно не тигр. Какой там тигр, господи? Блудливый, драный кот.

Больше к вопросу не возвращались.

А утром все становилось по-прежнему – общались они коротко и только по делу, как старые, давно привыкшие друг к другу соседи: «Суп будешь?», «Кинь рубашку – постираю», «Сходи за хлебом. Захвати молока». Никаких разговоров! Никаких. Казалось, это не нужно ни ей, ни ему, их все устраивает.

А разве это нормально? Правильно? Раз они близкие люди? Иван снова вспоминал Катю, Майю, Алену и даже Нику – да, и ее. Вспоминал и Машку Велижанскую. Эти женщины были ему понятны: их вкусы и предпочтения, их порывы и действия. Пусть не все из них были честны, пусть совершали недопустимые ошибки, пусть делали вещи странные и не

всегда объяснимые: изменяли, лгали, брали чужое. Но они были женщинами его круга, и с ними он мог говорить обо всем.

Он их понимал. А Любка была из другой жизни. Сакральных вопросов, люблю ли я ее, он себе не задавал. Идет как идет, значит, так надо. Но на сердце опять появилась какая-то муть. Какие-то ночные случки, ей-богу. Что у него было к ней, кроме страсти и жалости? Кроме острой нужды быть с кем-то рядом? Или любовь – это хлеб и стол, а не размышления о смысле жизни и совпадение мнений? Может, вообще все гораздо проще – есть человек, которому доверяешь и который доверяет тебе? Может, главное – знать, что тебя не предадут?

И еще знал: их связывала девочка. Так крепко связывала, как не могут связать ни клятва верности, ни общее имущество. Ничего не могло привязать его крепче, чем эта нежность к чужому, странному, одинокому, тревожному и талантливому ребенку.

– Аська не отлипает от тебя, – однажды сказала Любка, – вот дурочка! Не понимает, как в жизни бывает. Ты ей кто? А никто, дядь Вань. Дядька, который спит с ее мамкой. Сегодня ты здесь, а завтра и след простыл! Тебе-то что, верно? А девка будет страдать и сопلي размазывать.

– Прогнать меня собралась? – усмехнулся он. – Я-то вроде не сильно мешаю. Или не так?

– Ну раз «вроде», – усмехнулась Любка, – значит, живи.

На кладбище к матери Любка не ходила: «Не люблю я все это».

Иван удивлялся: «При чем тут «люблю, не люблю»? Просто... так принято».

– Кем? – разозлилась она.

– Людьми, – смутился Иван. – Это традиции.

– А мне наплевать, – перебила она. – И на твоих людей, и на их традиции! Никто мне не указ! Как хочу, так и живу!

Ему стало смешно – горячится, бунтует. Против него? Да нет, понимал, что он ни при чем. Любка бодается с жизнью. Но как-то ночью, лежа на его плече, тихо спросила:

– Плохая я, да? – И, не дождавшись ответа, продолжила: – Сама знаю – плохая. Дочь плохая. Мать никудышная. Жена из меня... никакая. Вот, может, любовница? – хрипло засмеялась она, привстав на локте и посмотрев ему в глаза. – Что молчишь?

– Нет, Любка. Ты не плохая! Ты... – он задумался. – А любовница... Сама знаешь. На комплимент нарываешься?

Как-то позвал ее с ними на море. Любка отмахнулась:

– Да говорила тебе – ненавижу я его, твое море! Не-на-вижу! И тебя не

понимаю. Ходишь туда, как на работу. Что тебе там? Не насмотрелся еще?

– Нет, – рассмеялся он, – на море нельзя насмотреться.

Любка раздраженно отвернулась и ничего не ответила.

А однажды глубокой ночью у них произошел разговор, и начала его, как ни странно, Любка. Говорила она горячо, перескакивая с одного на другое. И было видно, что те далекие события ей по-прежнему не безразличны. Даже не так – ее все так же бьет током, корежит и крючит, как только она вспоминает об этом. Она не вспоминает, а проживает с этим каждый свой день, без передышки, и никогда об этом не забывает.

В ту ночь он все понял. Все понял и ужаснулся. Господи, какая судьба! Да куда там ему – выходило, что у него не беды – так, неприятности.

Любка рассказывала о себе. Не плакала – голос ее не дрожал и не срывался. Говорила она монотонно и очень спокойно. Но он понимал... Понимал, как ей это дается.

В пятнадцать лет Любка влюбилась. Да как! Совсем потеряла голову. Все объяснимо – первая любовь и первый мужчина. Сергей был хороший парень, надежный, серьезный. Не парень, а золото. Целыми днями, в любую погоду, они пропадали на берегу, он был отличным пловцом. Строили планы: Любка окончит девять классов, и они уедут в большой город – нет, не в Москву и не в Ленинград, там слишком суетно и им, провинциалам, будет сложно. Рассматривали более близкие и доступные варианты – Сочи, Ялта, Симферополь. Главное, чтобы было море. «Без него мне не жить», – говорил он.

Любка сидела на берегу и смотрела, как ее любимый, заплывая далеко-далеко, превращается в мелкую темную точку. Плавать он начинал рано, еще в начале мая, когда местные еще опасливо обходили пляж стороной. А заканчивал в начале ноября.

Была весна, конец мая, и они потихоньку собирались в дорогу. Мать Любку не отпускала, и они решили бежать.

Это случилось 26 мая, этот день ей никогда не забыть.

Было прохладно, поднялся ветер, и начался шторм. Любка страшно не хотела идти на берег, пытаясь отговорить любимого, удержать. Но Сергей только смеялся:

– Опасно? Да брось! Ты ж меня знаешь! Это моя стихия! Я же как рыба в воде.

Конечно, пошли вместе, одного бы она не отпустила. Они всегда были вместе, никогда не разлучались.

Укутавшись в старую кофту, Любка сидела на берегу, и ее бил странный колотун. В сердце, как змея, заползла тревога. «Холодно, –

дрожа, думала она. – Просто очень ветрено и холодно». Сергей скинул рубашку и брюки и, ежась от ветра, пошел к воде.

У самой кромки, у набегавшей белым барашком волны, он обернулся и улыбнулся: мол, Любка, не дрейфь! Скоро вернусь.

Но не вернулся.

Спустя полчаса обеспокоенная Любка бегала вдоль берега, пытаясь разглядеть его силуэт. Но волны, набравшие высоту и силу, застилали горизонт, ударяясь о растревоженный песок, и угрожающе, как змеи, шипели.

Волна обдавала ее соленой, злой волной, обжигающим страхом и ужасом, а она металась и выла, как волчица, у которой отобрали волчат. Она звала Сергея, понимая, что случилось самое страшное.

Хотела броситься вслед, но тут ее схватили за плечи и оттащили от воды. Это был почтальон, проезжавший мимо на велосипеде и услышавший ее страшный, нечеловеческий крик. Любка рухнула на песок и потеряла сознание.

Очнулась она в больнице два дня спустя. К ней подошла медсестра, тревожно оглядела ее и позвала врача. Первой и последней Любкиной фразой был вопрос, где он.

Врач опустил глаза. С того дня Любка замолчала.

Через неделю ее выписали. Она лежала на кровати и смотрела в потолок. Мать теребила ее, пыталась уговорить поесть и попить, но Любка не отвечала.

Голос – не ее, чужой, незнакомый, хриплый и низкий – прорезался через две недели.

Еле выдавила из себя:

– Сергея нашли?

Мать махнула рукой:

– Где там! Шторм-то был – ого-го. Наверняка отнесло.

И Любка опять замолчала.

Она не выходила из дома полгода. Полгода лежала с открытыми глазами и почти не спала. Полгода пила только воду и жевала пустой хлеб. Похудела и потемнела лицом. В черных смоляных волосах появились белые нити. А через полгода встала.

– Уеду я, – сказала матери, – не могу я здесь, понимаешь?

Та молча кивнула и ничего не ответила.

Любка уехала в город. Устроилась в столовую посудомойкой. Руки не отмывались от жира и отвратительно пахли. Ни пахучее «Земляничное», ни вонючее «Хозяйственное» – ничего эту вонь не брало и не перебивало.

От этого запаха Любку тошнило. Ей казалось, что воняли не только руки, а провоняла вся она, от головы до ног. Даже в волосы впитался едкий столовский жир, никаким шампунем не перебить.

«Да и черт с ним, – думала она, – мне уже все равно». Зато была сыта – поварихи девку жалели и пытались накормить до отвала. Но Любка ела мало, пожует – и хорош. Главное, чтобы ноги носили.

Жила она там же, в столовке, в крошечной подсобке, где хранились банки с томатной пастой, соками, майонезом и солеными огурцами. По ночам шуршали мыши, по стенам ползали тараканы. А ей было все равно – жива, ну и ладно. Только зачем?

В город она не выходила, с утра до вечера работала, а потом как подкошенная падала на кровать. Да и не тянуло ее в город. А вот на море тянуло. По ночам, ворочаясь без сна, мечтала, как придет на берег, конечно же поздним вечером, почти ночью, когда там никого не будет, ни одного человека, и зайдет в воду. А дальше – медленно-медленно пойдет вглубь. И будет идти, пока не накроет ее с головой, пока не захлебнется и не утянет ее за собой густая, черная вода. И станет ей так хорошо. И она наконец успокоится.

Только бы ее не нашли! Только бы не прибило на берег, чтобы остаться там, с ним. Навсегда.

В этой столовке ей впервые предложили выпить – поварихи часто выпивали после работы. Мокрые от пота, усталые, замученные, с распаренными «рачьими клешнями» вместо рук, в нечистых халатах, забрызганных за смену супом и жиром, они усаживались вокруг стола и разливали тягучий сладкий портвейн. Домой не торопились, чего там хорошего? Поддатый муж, сопливые и крикливые дети. Ничего, перебьются, они и так все тянут на себе, прут каждый день тяжеленные сумки. Распивали бутылочку, а то и две и понемногу приходили в себя. Скидывали рабочие халаты, брали туго набитые авоськи, в которых лежали ловко и тщательно завязанные кульки со сливочным маслом и мясом, укутанные в старые грязноватые вафельные полотенца поллитровки густой, неразбавленной сметаны, и, переваливаясь как утки, направлялись к выходу.

И Любка снова оставалась одна. Не зажигая света, она стояла у темного окна, внимательно вглядываясь в черную улицу. Народу почти не было, рабочий день давно закончился, все поужинали и мирно сидят у телевизора. На стене висит красный ковер, а кресла обиты бархатной тканью. В углу притулился уютный торшер. На кухне ворчит холодильник, а в соседней комнате, в спальне, ждет чистая, уютная постель. У людей – у

всех, без исключения! – есть дом. И почти у всех рядом, только протяни руку, есть близкий и родной человек.

Этот нехитрый советский мешанский уют – красный ковер на стене, монотонно урчащий телевизор, накрахмаленное белье, душистые от стирального порошка полотенца – был предел их с Сергеем мечтаний. Как часто они об этом говорили! А теперь ничего не случится. Никогда. Потому что его уже нет. Да и ее почти нет – так, остатки...

Любка отправлялась в свою каморку, на серые, застиранные, чужие простыни, отвратительно пропахшие столовской вонью. Так же пахли и полотенца, тонкие, вафельные, в старых, неотстирываемых пятнах. Все здесь было чужим, казенным. Да и вся ее жизнь стала теперь как будто не ее, а чужой, как эти полотенца и кастрюли. Разве могла подумать, что все сложится так? Разве не мечтала, чтобы и у нее было все как у нормальных людей? А ничего этого нет. И уже никогда не будет.

Они с Сергеем вместе мечтали об этом. Но теперь нет этого *вместе*. И тоже больше не будет.

Она стояла и не чувствовала слез, бегущих по холодным щекам. Она вообще ничего не чувствовала – давно, почти год, с тех пор как Сергей утонул.

Небо резко прорвала яркая, до боли в глазах, желтая молния. Невозможно белым, пугающим светом прорезались и вспыхнули островерхие зарницы. Она вздрогнула, очнулась. Вытерла ладонью слезы и отвернулась от окна.

На столе стояла недопитая бутылка портвейна. И одним махом, одним глотком, Любка опрокинула полстакана. Ей стало тепло и приятно. Секунду раздумывая, словно прикидывая и сомневаясь, она вылила остатки в стакан и выпила.

Той ночью она впервые спокойно и безмятежно спала. Ей впервые стало чуть легче.

С той черной, громыхающей разрядами ночи Любка начала пить.

– Ну и пошло-поехало, – усмехнулась она. – А чего мне было терять?

Если прежде, после того как Сергея не стало, ей просто не хотелось жить, то теперь хотелось расправиться с этой жизнью. Наплевать ей в лицо, густо харкнуть и выкрикнуть проклятия:

– Ты со мной так, так и я с тобой так же!

Поварихи жалели «бедную девку», прикрывали ее как могли, старались оттянуть от бутылки, прятали спиртное и даже свернули свои вечерние посиделки. Куда там! Любка пила.

Терпение заведующей кончилось, и Любку из столовки погнали.

Куда деваться? В тот же вечер, на вокзале, где она притулилась, к ней подкатил местный бомбила – высоченный, килограммов в сто двадцать, бритый как шар местный «хозяин», Вовчик-череп. Он поехал с ней в какой-то занюханный бар на окраине города, напоил до полусмерти, а после отвез в полупустой дом на краю города.

Встретила их пожилая, увешанная ярким дутым золотом, сильно накрашенная женщина.

«Мамка, – догадалась пьяная Любка, – значит, сдал меня эта мразь».

Ну что ж – она даже не испугалась. Выходит, такая судьба. Ни во что хорошее Любка давно не верила.

Мамка, тетя Валя, как звали ее девочки, оказалась незлобной и нежадной – месяц впихивала в Любку жирную желтую сметану и сладкие булки – откармливала. Конечно, старалась не ради нее, а для себя.

Когда тощая Любка слегка отъелась, тетя Валя швырнула ей на кровать несколько блестящих платьев, туфли на каблуках, красное, в жестких кружевах белье и мешок с дешевой косметикой. Велела к восьми вечера «быть красулей».

Любка хмыкнула, отпихнула «подарки» ногой и показала мамке жирную фигу.

В тот же вечер их навестил Вовчик-череп. Швырнул Любку на кровать и изнасиловал ее. Мучил ее долго, несколько часов, ждал, пока она попросит пощады. Но Любка молчала. Закусив губы и чувствуя соленый вкус собственной крови, молчала.

Вовчик-череп наконец насытился и, подтягивая брюки, процедил:

– Ну? Поняла, чума? Урок усвоила? Теперь будешь паинькой, да?

Любка ничего не ответила.

Сбежала Любка от мамки через полтора года – чудом, помог водопроводчик, чинивший в ванной кран. Сбежала в том самом жутком люрековом серебряном платье и в туфлях на шпильках. А больше ничего у нее и не было. Да и денег не было – только тоненькая золотая цепочка, подаренная добрым клиентом и, конечно, припрятанная от мамки.

Повезло – ее бегство обнаружили только к вечеру, когда она уже была далеко от города. Вообще ей тогда повезло – доковыляв кое-как до дороги, она сбросила неудобные туфли и быстро поймала попутку.

Шофером оказался пожилой добрый дядька, поверивший ей сразу и пожалевший несчастную девушку.

Остановились у придорожной харчевни, и дядя Юра, так звали шофера, накормил ее до отвала. А в поселковом магазине купил ей простое ситцевое платье и туфли на плоской подошве.

– Куда ты теперь? Может, домой?

Любка испугалась:

– Нет, домой не поеду, лучше сдохну, а не поеду. Не могу я там, понимаешь?

Дядя Юра вздохнул и завел мотор. Через полтора часа они съехали с шоссе и свернули на местную гравийную дорогу. Вдалеке показалась деревня.

Дядя Юра затормозил у маленького аккуратного домика под синей крышей.

– Выходи, – бросил он.

Растерянно оглядываясь, Любка выбралась из машины.

– Сестра здесь моя проживает, – объяснил дядя Юра, – Мария. Пока у нее перекантуешься. А там видно будет.

На крыльцо вышла немолодая высокая женщина с красивым, иконописным, строгим лицом, в темной косынке, завязанной по самые брови. Увидев брата, радостно улыбнулась. Потом глянула на Любку и нахмурила брови: «А это что за подарок?» – читалось в ее взгляде.

Любка опустила глаза.

Что там нашептал сестре дядя Юра, ей было неизвестно, но Мария ее приняла.

Выделила маленькую комнатку, дала постельное белье и ночную рубашку. Любка тут же легла на кровать и уснула – слишком много событий.

Когда уехал дядя Юра, она и не слышала – спала долго и крепко, как спят только в детстве. Проснулась, когда за окном было темно, и не сразу поняла, где она.

Потом осторожно вышла. Мария сидела у телевизора.

– Выспалась? – повернулась она к неожиданной гостье.

Смущенная Любка кивнула.

– Ну, давай вечерять. – Хозяйка медленно поднялась со стула.

Мария достала банку молока и миску с еще теплыми блинами.

Любка ела жадно, словно не видела еды несколько дней. Молоко текло по подбородку, и она смущенно, наспех отирала его ладонью. Мария смотрела на нее с жалостью и протянула ей чистую тряпицу, чтобы обтереть лицо и руки.

Так началась их совместная жизнь. Мария была женщиной строгой и неразговорчивой, вопросов Любке не задавала и дел ей не назначала. Любка сама подметала двор, мыла посуду, стирала в жестяном корыте белье. Помогала и в огороде. Она почти успокоилась, с благодарностью и

уважением смотрела на Марию и понемногу оттаивала душой.

Спустя полгода в село приехал Андрей, сын Марии. Приехал в отпуск, чтобы помочь матери по хозяйству – наступил октябрь, пора было копать картошку.

Андрей жил в городе, работал на заводе, был женат, у него росла дочь. Положительным, непьющим сыном Мария гордилась.

В том октябре у Андрея и Любки случился короткий, но бурный роман. Всего-то две недели, но как закружило! Встречались они ночью на сеновале, убедившись, что Мария уснула. Она, намаявшись за день, спала по-крестьянски крепко. Три часа на чердаке бушевали страсти. Андрей зажимал Любке рот – не дай бог, мать услышит!

Когда начинало светать, пошатываясь, Любка осторожно пробиралась к себе и падала замертво на кровать.

Перед отъездом Андрей снес в погреб последние мешки с картошкой, подправил забор и засобирился в город.

В их последнюю ночь Любка спросила:

– А что дальше, Андрюша?

Он удивился:

– А что дальше, Любка? Дальше – дом и работа. Семья. Короче, дальше – тишина, Любань! – Он засмеялся, довольный своей остротой. – А ты как хотела?

Но Любке смешно не было. Ее словно столкнули на обочину. Попользовались, и хорош, знай свое место. Там, в городе, жена и ребенок. А здесь... Здесь шальные ночи, закусанные до крови губы, приглушенные вскрики и, как оказалось, больше ничего. Ничего.

Андрей уехал, а через три недели Любка поняла, что залетела. Вскоре и Мария заподозрила что-то неладное. Разговаривать с жиличкой перестала, смотреть на нее не смотрела и за стол с ней не садилась.

А увидев, как Любку рвет в лопухах за забором, подошла к ней и сурово сказала:

– Ну и дрянь же ты, девка! Так, значит, отплатила? Под сына моего легла да еще и залетела? А как я в глаза снохе посмотрю? Не подумала? У него же такая семья, такая жена! Да она мне как дочь! А ты стерва неблагодарная. Такое, значит, твое спасибо!

Наутро, собрав свои нехитрые пожитки, Любка уехала из деревни.

Хотела попросить у Марии прощения, а потом подумала: «Да за что? Я ее сына на аркане не тянула и лечь со мной не уговаривала. Чем я виновата?»

Она тряслась в стареньком, подпрыгивающем на кочках автобусе, и

дорожная пыль, залетая в окна, оседала на лице и скрипела на зубах.

«В город, – думала Любка, – в больницу. Устроюсь на аборт, а там разберемся. Главное – избавиться! Зачем он мне, этот ребенок, когда родная бабка и отец от него отказались? Куда мне рожать – ни дома, ни денег».

Она даже не задумывалась, оставить его или нет. Какой там оставить, куда? Но тут осенило – в город нельзя! Вдруг встретит Черепа или мамку Валю? Вот тогда влипнет по-настоящему, бегства ей они не простят. Значит, надо ехать домой. В конце концов, и в поселке есть больница. Договорится как-нибудь. Там даже будет проще – наверняка. Отлежится дома, придет в себя и куда-нибудь подастся. Страна-то большая! Неужели ей нигде не найдется места?

Так Любка вернулась домой. Мать встретила недобро, презрительно хмыкнула:

– Нашлялась, шалава?

Любка ничего не ответила. Подмела в своей комнате, выпила чаю и пошла в больницу. Но и тут не повезло – единственный врач-акушер уволился, а нового еще не прислали. Рожениц и больных отсылали в город. Знакомая нянечка подсказала – иди к Матвеевне, к акушерке. Она и поможет.

Пошла. Матвеевна дала каких-то трав, наказала, как пить и что делать, если начнутся схватки. Любка поставила на подоконник банку с темной вонючей травой и, как было велено, по глотку отпивала.

Трава была невыносимо горькой. «Как моя жизнь, – подумала Любка. – Не привыкать». Но от горечи сводило зубы, и Любку начинало выворачивать наизнанку. Она с тоской смотрела на трехлитровую банку – полдня пила, а отвара меньше не становилось. К вечеру зашла мать. Увидев банку, смахнула ее с подоконника. Банка раскололась по шву, и настой моментально вытек, превратившись в вонючее, темное озерцо.

Любка вскочила с кровати.

Мать, не глядя на нее, твердо сказала:

– Будешь рожать. Не трави его, дочь. – И, подняв на Любку глаза, тихо добавила: – Рожай, Любка! Как-нибудь вырастим! А то ведь сгрызем друг друга, сама знаешь! А так ребеночек хоть!

Через восемь месяцев Любка родила дочь.

«Вылитая тетка Мария, – усмехнулась она, в первый раз увидев ребенка. – Такая же чернявая. Мария была из терских казачек. И такая же наглая».

– Как-то я поехала к ней, к этой Марии, Аськиной бабке, – помолчав,

сказала Любка. – Взяла фотографию – надеялась, дура, увидит она свою копию и растрогается: их кровь, их!

А она ни слова, понимаешь? Родила я или аборт сделала? Жив мой ребенок или помер? Ни слова! Вытащила альбом со своими внуками, детьми Андрея, и в морду мне тычет: «Смотри, какая Поляночка красавица! Уже в пятом классе! И на музыку ходит, и на гимнастику! А это Алешенька, младшенький! Полгодика ему! Хорошенький, да? Ангелочек наш миленький!»

Я думала, только бы не разреветься! Только бы не показать ей свою слабость. А как уж на улице ревела! Как никогда в жизни, веришь? От обиды своей. На всех этих гадов и на всю эту чертову жизнь.

А в автобусе подумала: «Дура! Надо было ей в морду сунуть Аськину фотографию! Ткнуть ей, заразе: смотри – тоже внучка твоя! На тебя, стерву, похожа! Ну просто вылитая, глянь! Только моя Аська никому не нужна – ни тебе, ни твоему сраному Андрею! Отольются вам наши слезки, не сомневайтесь, бог не Тимошка, видит немножко».

Выдала бы ей по полной и полегчало б. А не смогла. Говорю ж тебе – дура.

Иван молчал.

– Вот, Ваня. Вся моя жизнь, как на ладони. А ты думаешь, отчего я такая?

– Какая?

– Да злая и ледяная, вот какая.

Он притянул ее к себе.

– Ты не злая, Любка! И уж никак не ледяная. Ты, ох, горячая – обжечься можно. – И тихо добавил: – Вот я и обжегся.

С того дня все изменилось. Любка стала мягче и спокойнее – рассказала ему правду, и ее отпустило.

Утром уходила на работу, а вечером, не замечая усталости, хлопотала на кухне.

Что-то у них стало получаться. Только вот что: семья не семья, соседи не соседи, друзья не друзья. Любовники? Или и то и другое? «Сообщество несчастливых, – грустно решил Иван. – Прибились друг к другу и выживаем. Вдвоем все же полегче».

* * *

К шестому классу школу Ася совсем забросила – лишь бы доползти до

окончания восьмого.

Потом Иван узнал – дразнили. Дурочка эта поведала, что называли ее Ассоль, как героиню Грина. Ну и пошли насмешки: «Ассоль нассала на соль!» и тому подобное. Считали ее блаженной – молчит, учится плохо, только картинки свои малюет.

Ни разу она не пожаловалась. Когда рассказала, Иван, взбешенный, решил пойти в школу и разобраться. Ася ему запретила, а Любка бросила:

– Да хрен с ними! Любить не заставишь. А так – на них наплевать!

И вновь наступило лето. Ася сидела на берегу и рисовала отдыхающих. Получались отличные шаржи – добрые, остроумные, точные. Однажды один из курортников подошел к девочке и, удивившись точности ее рисунков, попросил нарисовать шарж и на него. Ася страшно смутилась, но, подумав, согласилась – было интересно. Тот рисунком остался доволен, посмеялся и положил ей в карман деньги. Ася вздрогнула, подхватила свои вещи и бросилась прочь. Но на улице притормозила и заглянула в карман.

Там лежала трешка – неплохие, между прочим, деньги! Ася обрадовалась и тут же подумала: сказать матери или не стоит? Заругает или наоборот?

Решила купить самый большой и дорогой торт. И, кстати, деньги еще остались! На них накупила жвачки и пару бутылок сладкого сидра.

Вечером, когда все пришли с работы, на столе стояли торт и чашки с блюдами, а в заварном чайнике был заварен свежий и ароматный чай.

За пиршеством Ася рассказала о своей зарплате. Замерла, боясь реакции матери.

Но та, как ни странно, рассмеялась и дочь похвалила:

– Ну хоть какая-то польза от твоих, Аська, каляк! Давай, зарабатывай! Подмогни семье!

При слове «семья» и Иван, и Ася вздрогнули и переглянулись. А довольная Любка положила себе в тарелку второй кусок торта.

– Любовь Петровна, – удивился Иван, – вы ж у нас сладкое не уважаете!

– Да жизнь хочу подсластить, – смутилась Любка.

С того дня каждое утро Ася ходила на пляж как на работу. Впрочем, это и была работа – почти каждый день ей удавалось кое-что заработать.

Не везло, если моросил дождь – тогда пляж пустовал.

Ася чувствовала себя совершенно счастливой: она приносит в дом деньги, пусть небольшие, но настоящие! Себе ничего не покупала, жалела. А вот матери купила шелковую косынку в алых маках и розовую помаду у цыганок на пляже. А Ивану – голубую рубашку в полоску, как раз к его

синим глазам.

Кое-что Ася утаивала и понемногу копила. На что – пока не понимала. Но знала, что пригодятся.

Однажды тихо спросила Ивана:

– А ты... женишься на мамке, дядь Вань?

Он удивился, смутился:

– А зачем, Аська? Нам же и так... неплохо.

Ася разочарованно вздохнула:

– Тогда бы... ты был моим батей.

– А сейчас? – дрогнувшим голосом спросил он.

– А сейчас ты дядя Ваня, – обиженно отрезала девочка.

В одну из их ночей он коротко и скупно рассказал Любке про сына. О том, как тоскует о нем, как мечтает его увидеть.

Любка жестко отрезала:

– Забудь! Права твоя бывшая. Хоть и стерва, а права. Парень тебя не знает, отцом называет другого, причем с самого детства. И вот ты являешься – здрасте вам! Я ваш, так сказать, родной папаша! А не боишься, что парень спросит: «А где ты был, дорогой папаша, все эти годы? Что делал? Алименты чего не платил? И зачем явился? А ты спросил – я в этом нуждаюсь?» Знаем мы таких папаш – встречали.

Иван страшно обиделся на нее:

– Да что ты понимаешь? Мы были в законном браке, не то что ты со своим Андреем. Родили по обоюдному согласию, и я никогда – никогда, слышишь – не отказывался от сына. И Ленка, моя сестра, все время давала им деньги. А в том, что меня отлучили, я ни капли не виноват, сам тогда еле выжил, без работы и без жилья – его я, кстати, оставил как раз сыну.

Любка презрительно хмыкнула – у нее была своя женская обида на мужской пол. И свой личный взгляд. В ту ночь они здорово повздорили, и Любка к нему неделю не приходила.

«Ну и ладно. Перерыв тоже неплохо», – обиженно думал Иван и не смотрел в ее сторону.

* * *

Нинке в Москву он позванивал, конечно. Но именно позванивал – примерно раз в полгода. Голос у Нинки был грустный, потухший.

– Все надоело, Ванечка. Зачем живу, зачем небо копчу?

Он уговаривал ее приехать. Нинка отказывалась:

– Сил нет, желания нет и вообще ничего, Ваня, нет.

Любка сообразила собирать Нинке посылку – персики, груши, виноград, копченая тюлька. А однажды посылка вернулась – адресат выбыл. Коробку вскрывать не стали, сразу выбросили – и так все понятно: гнилье.

Выпил в тот вечер он крепко. Всех было жалко – несчастную Нинку, себя, Любку и Асю.

Паршивое настроение, оттого и тоска.

С сестрой переписывались часто. Ленка подробно рассказывала о девочках, о Петровиче, о новой квартире и, конечно же, о работе. В каждом письме требовала подробностей: как здоровье? Как нога? Иван отписывался сухо. Хвалиться было нечем.

Пейзажи свои любимые Иван по-прежнему писал: шел вечером к морю, раскладывал мольберт – и все забывалось, все отпускало.

Однажды посадил Асю на стул и попробовал лепить. Замочил пластилин в горячей воде, разложил стеки и... испугался. Но пальцы, как ни странно, все помнили – сам удивился.

Асин бюст, точнее – портрет, вышел на удивление точным – чуть склоненная голова, задумчивый и рассеянный взгляд, непослушная прядь волос, падающая на плечо. Ася смотрела на портрет и на могла отвести глаз.

Подошла и Любка. Сначала ошарашенно молчала, а потом усмехнулась и выдала:

– Ну, Иван, ты даешь!

– Нравится? – смутился он.

Любка задумалась:

– Нравится, не нравится... Не знаю. Да, похоже. Аська здесь как живая, даже страшно становится. Но как-то чудно.

И тогда он спросил:

– Попозируешь? Слеплю и тебя, Люба!

С минуту подумав, Любка отказалась:

– Нет, Ваня. Меня не надо. Сейчас не надо. А вот помру – там и слепишь. И на могилке поставишь. Только из мрамора, Вань! И самого белого! – рассмеялась она.

– Дура ты, Любка, – поморщился он. – Ну что ты такое говоришь!

Но сердце отчего-то заныло.

В сентябре начинался бархатный сезон. Разъезжались суетливые, крикливые мамы с вечно орущими детьми, и на их место прибывали люди спокойные, немолодые.

Были среди них и семейные пары, прожитые годы которых сделали их почти братом и сестрой, так они были похожи. Были и молодящиеся мужички, стыдливо прикрывающие плечи на затылке полотняными кепочками и втягивающие появившиеся животики. Их было два подвида, как шутил Иван, – одинокие и с барышнями.

Разумеется, барышни были моложе своих потрепанных кавалеров. Скромный курортный поселок для любовников был просто раем – здесь можно было не опасаться случайных встреч со знакомыми.

А вторые, те, кого называли одиночками, жадно шарили глазами по сторонам, выискивая подружку на время отпуска.

Эти были неприхотливы, им подошла бы почти любая, лишь бы не самая страшная и не самая старая – всего-то делов на пару недель. Как старые гусаки, те прохаживались по пляжу, выискивая подходящие кандидатуры и пытаясь поймать свое зыбкое, недолгое счастье, или, принаряженные и прифранченные, фланировали по вечернему поселку.

Именно в том сентябре, теплом и нежном, к Ивану подошел один человек.

Иван увидел его боковым зрением, но не обернулся, продолжая работать, – повернешь голову, и тут же начнется дурацкий дежурный разговор: «Ах, какой пейзаж, какая натуральность, какой колорит! Ну вы мастер, батенька! Просто истинный спец – Айвазовский, не побоюсь этого слова! Наверняка самородок! Ах, какие таланты загнивают в наших провинциях!»

Вступать в разговор не хотелось и выслушивать банальности тоже. Иван предпочитал не замечать подобных людей – понимал, что тем скучно, и это один из способов поразвлечься и, конечно же, продемонстрировать познания в живописи.

Но мужчина, подошедший к нему, был несуетлив и немногословен:

– Вижу, вы профессионал. Вижу – учились. Где, не спрашиваю, не интересно. У вас есть еще что-нибудь?

Иван оторвался от мольберта:

– А простите, с какой целью интересуетесь? Простое любопытство?

– И да, и нет. В смысле, и любопытство в том числе. А второе следует из первого – посмотреть и купить. Если понравится. И, конечно, если ваши работы продаются.

Иван оторопел, не зная, как не выдать волнение.

– Купить? – пробормотал он.

Незнакомец удивленно приподнял брови:

– А что вас так удивило? Да, купить, я собираю живопись. Пейзажи,

батальные сцены и больше всего – маринистику. Айвазовского в моей коллекции нет – пока нет! – Он поднял указательный палец. – Но есть кое-что интересное. Есть Лагорио, Гриценко. Боголюбов имеется. Крепен небольшой. Коллекция у меня большая, круг наш обширен, и я в нем, поверьте, человек не последний.

Забавным оказался этот пузатый дядечка! Кстати, звали его затейливо – Альберт Арнольдович. Был он туляк, и там, в Туле, человеком был точно «не последним». Кем он был – уголовным авторитетом, чиновником или бизнесменом, понять было сложно. Да и надо ли?

Вечерком пригласил посидеть.

Встретились у лучшего кафе в городе, почти ресторана: белые скатерти, бокалы из штампованного хрусталя, официантки в наколках и передничках.

Официантку Альберт Арнольдович подозвал кивком. Та, чудеса, не подошла – подскочила, сразу признав в нем важного гостя и хозяина жизни.

Меню, кстати, коллекционер посмотреть не удосужился. Бросил коротко:

– Хорошего мяса с кровью, никаких там рубленых бифштексов. – Он строго глянул на оробевшую официантку. – Жареной картошечки по-домашнему, детка, на сливочном масле. Салат из помидоров с красным луком и бутылку «беленькой», самой лучшей.

Завороженно, словно ее заколдовали, та мелко кивала.

– А столичного салатика не желаете? Или селедочки под шубой?

Он перебил ее:

– Деточка, милая! Я что, похож на лоха? Не обижай! На черта нам твои салаты-шмалаты из вчерашнего дерьма? – И не дождавшись ответа, повернулся к Ивану.

За сочным куском роскошного свежайшего мяса – Иван и не помнил, когда ел такое, – да под «беленькую» пошел разговор.

– Работаешь в мастерской? Давно здесь, в этой, прости господи, дыре? Из столицы? Строгановку окончил? Не хочешь отвечать – не принуждаю.

Иван ответил:

– Давно. Из Москвы, окончил Строгановку, отделение скульптуры. Но со скульптурой не срослось. Так, балуюсь живописью. Да и вообще ни с чем не срослось, если честно. Поломался, – кивнул на палку, – в Питере, где временно проживал. Из родных – сестра по матери и отец. Но все далеко. Сын. С ним... не общаюсь. Так вышло.

Арнольдыч слушал внимательно, не перебивая, продолжая с аппетитом жевать и время от времени доливать водку себе и Ивану.

– Мастерской нет – живу у... – Иван запнулся. – У хозяйки. Там скромно. Служу в кинотеатре, тут, в местном. Подрабатываю в клубе. Ну и еще, если есть, любая халтура. Плакаты, там, к празднику. В общем, всякая дрянь.

Арнольдич кивнул:

– Бывает. Работы покажешь?

Иван улыбнулся и развел руками:

– А то!

Вести его в хижину не хотелось, стеснялся.

Но что делать – пришлось! Любка была на работе, Ася спала.

Удивления Арнольдич не выказал – вроде все обычно, всякое видел. Иван расставил холсты вдоль стены. Арнольдич смотрел внимательно, наконец хлопнул себя по коленям и указательным пальцем ткнул в пять работ:

– Эта, эта, эта и эти! Цену сам назовешь или мне?

Иван совсем растерялся и забормотал что-то невнятное:

– Да я не знаю, не продавал никогда.

С кислым выражением лица Арнольдич его перебил:

– Да я так и думал, с тобой все понятно. – И вытащил внушительную пачку денег из блестящего коричневого шершавого портмоне.

Иван отвернулся к окну.

– Глянь – хватит? – Арнольдич протянул ему толстую пачку. – Если мало – скажи, не стесняйся. Добавлю. Я на талантах не экономлю. Пересчитай!

Иван взял деньги и пробормотал:

– Да бросьте! Не буду я ничего пересчитывать! Вижу – достаточно. Ну и спасибо!

– Ну раз так, уговаривать не буду. Надеюсь, что не обидел. Уезжаю я послезавтра, я здесь, в вашей дыре, тетку свою навещал. Адресок свой черкнешь? Так, на всякий пожарный? А вот мой телефон – мало ли, а? Все в жизни бывает, сам знаешь, не маленький.

Дрожащими руками Иван записывал свой адрес. Арнольдич бросил на стол визитку и, подхватив картины, распрощался:

– Бывай, маэстро! Удачи тебе!

Когда за Арнольдичем захлопнулась калитка, Иван в изнеможении опустился на кровать. Пружины жалобно скрипнули. Взял пачку – руки по-прежнему ходили ходуном. Пересчитал и охнул. Сто лет он не держал в руках столько денег! Да какие там сто лет – никогда не держал! Он лег на кровать и закрыл глаза. Но тут же встал, прошелся по комнате, вышел во

двор, осторожно зашел к Асе, поправил одеяло, снова вышел во двор, сел за стол, закурил, глянул на часы и стал ждать Любу.

Что-то вспомнив, поднялся, нашел в буфете полбутылки вина, выпил залпом и прислушался к себе – вроде стало полегче.

Любка не вошла, ввалилась, замученная, усталая, раздраженная.

– Господи! – Она плюхнулась на стул. – Как же мне осточертело плевки и сопли отмывать! Как же все надоело! Пассажиры эти – свиньи законченные! Где жрут, там и срут. – Она расплакалась.

– Любка, – сказал он. – Все, увольняйся. Хорош тебе там. И вправду – ну сколько же можно?

Любка уставилась на него:

– Ага, как же! Хорош, говоришь? А жить как будем, Ваня? На что? На твой?

Он перебил ее:

– На мои. – И протянул пачку денег.

Любка мгновенно перестала реветь и, ничего не понимая, уставилась на деньги:

– Откуда это, Ваня? Ограбил кого? Такие деньжищи, господи! Я сроду столько не видела!

Иван усмехнулся:

– Я тоже, если по правде.

Оба долго не могли прийти в себя.

– Ну, хозяйка! – начал Иван. – Давай распоряжайся! Ты ж у нас главная!

Раскрасневшаяся Любка ошарашенно молчала. А потом деловито, со знанием дела, начала раскладывать деньги по стопочкам:

– Это, Ваня, крышу перестелить, если ты, конечно, не против. – Она с испугом посмотрела на него.

Довольный, Иван важно кивнул.

– Это, – Любка аккуратно поправила кучку, – это, Ваня, на новый холодильник и плиту. Здесь на все хватит, не сомневайся! – И снова испуганно захлопала глазами. – А это, – она задумалась, – тебе. Куртку там зимнюю, ботинки нормальные. Рубашки и свитера!

– Нет, Люба, – остановил он ее. – Мне ничего не нужно, у меня все есть. А вот тебе обновим: и плащ купим – ты же хотела! – и туфли новые, и босоножки. И платье, Любка! Да не одно. Тут, кажется, на три хватит, правда, я в этом ни черта не смыслю. И Асе, – добавил он, – она у нас тоже кормилец.

Спать ушли поздно, никак не могли наговориться, намечтаться,

нафантазировать. Да и уснуть никак не могли – Любка лежала у него на плече и гладила его по голове и груди:

– Вань! Волшебство какое-то, а? Нет, правда, скажи? Не думали не гадали ведь! И как вышло? Прямо как в сказке, да, Вань?

Он улыбался, целовал ее лицо и шею, гладил гладкую, смуглую грудь и, вздыхая, соглашался:

– Да, Любка, волшебство. Но должно было и нам повезти, как думаешь? Ну хотя бы раз в жизни?

– Тебе – раз. А мне... – Любка нахмурилась и отодвинулась от него. – А мне, знаешь, уже повезло.

Покрасили домик, он приосанился и помолодел. Купили и плиту, и холодильник. Хватило и на новый диван, и на телевизор для Аси. Асе обновления, Любке обновления. Ну и поехали в город – гулять. Ресторан – лучший в городе, кино, Любке золотые сережки, Асе серебряное колечко с крошечной бирюзинкой. На обратной дороге, в автобусе, глядя на своих уснувших девочек, он был счастлив. Счастлив как никогда. Часть денег отправил Ленке в благодарность за Илюшу.

Ася пошла в восьмой класс. Любка по-прежнему настаивала, что после экзаменов Асе нужно идти в училище – «на парикмахера или массажиста, это всегда деньги». Аська начинала яростно спорить, обе входили в раж, и, как всегда, получался скандал. Иван разнимал их, тогда доставалось ему.

Зима выпала на редкость холодной, сырой и промозглой. На берег он не ходил, вечерами занимался с Асей рисунком. Всем своим видом Любка выказывала недовольство и повторяла, что он сбивает девку с правильного пути.

Она ушла с работы – Иван настоял. Денег оставалось совсем немного, было решено экономить, чтобы как-то дожить до весны.

В душе Иван ждал, что объявится Арнольдич. Понимал, что вряд ли, в сказки он давно не верил, один раз волшебным повезло, имей совесть. Но в глубине души надеялся. Но Арнольдич не появлялся.

К весне, к Асиным экзаменам, скандалы в семье участились – скандалили снова по поводу Асиного поступления. Иван пробовал уговорить девочку идти в девятый класс, но Ася решительно отказалась – школа осточертела, ни за что не пойду и видеть их всех не могу. «Отстань, дядь Вань!»

Отстал, куда денешься?

Ася сдала экзамены в школе, получила аттестат и через неделю уехала.

Точнее, сбежала. Вернувшись с работы, Иван обнаружил два письма под сахарницей – «маме» и «дяде Ване».

Сразу все понял и испугался – что еще выкинула шальная Аська? Куда, засранка, рванула? Кажется, он догадывался.

Так и было.

Дядя Ваня! Я уехала в Питер, поступать в училище Иогансона. Думаю, что вы меня поймете и не обидитесь, что не сказала – боялась, что будете отговаривать. Жить в поселке не хочу и не буду. Учиться на парикмахера тоже. Моя жизнь, и мне решать. Вы так меня и учили. Как устроюсь, напишу. И вообще за меня не волнуйтесь – все у меня будет хорошо, не сомневайтесь! Главное – идти к своей цели и не сворачивать, помните? Я это запомнила крепко. А там поглядим – посмотрим, да, дядь Вань?

Целую вас, ваша Ася.

Не обижайтесь и не сердитесь, ладно?

Иван думал о Любке. Переживал за девочку: совсем ребенок. Нет, она, конечно, взрослая не по годам и многое понимает, досталось ей – будьте любезны. И все-таки... В городе никого у нее нет, да и огромный город ее испугает. Дай бог, чтобы не съел, не сломал. И слава богу, что это Питер, не Москва – в Москве было бы еще труднее, еще жестче. Да и времена сейчас людоедские, Любка права, только здесь, в провинции, и можно отсидеться. Но и Асю он понимает – должна быть у человека мечта? Да и их Аська не из тех, кто идет легким путем. Мятущаяся она душа, и так, увы, будет всегда.

Любка запричитала, заохала, заревела и, разумеется, обвинила во всем его. Да Иван другого и не ожидал. Пытался успокоить ее, уговорить, но Любка хлопнула дверью, и он услышал, как накинула изнутри крючок.

Подумал: ладно, успокоится и разберемся. В конце концов, с бедой надо ночь переспать. Впрочем, какие глупости, разве это беда?

Любка дулась, не разговаривала, еду не готовила и запиралась у себя. Он и не рвался мириться, знал Любкин характер. Пока в себя не придет – не суйся, нарвешься.

Спустя неделю увидел – отходит. Словом, потихоньку помирились. Ну и, как всегда бывает, жизнь потекла дальше, своим чередом.

Письмо от Аси пришло через две недели:

Привет, это я. Добралась нормально, сняла угол у бабушки на

Детской, прямо возле училища. Дядь Вань, представляешь, как мне повезло? За угол плачу совсем немного, не переживайте, деньги у меня есть, накопила по-тихому, я ж тот еще жук! На ужин варю пельмени. Хожу в пышечную – это такая вкуснота, язык проглотишь! Мам, я поправилась на три кг! Представляешь? Ты бы меня не узнала – мимо прошла. Сама стала как пышка!

В Русском и Эрмитаже болтаюсь целыми днями, и это такое вот счастье!

Стою перед картинами и думаю, какая я дура, куда я лезу, куда я поперлась и что о себе возомнила? И все-таки я попробую, негоже сейчас сбежать! Питер мне нравится очень. Нет, дядь Вань, ты, конечно, рассказывал! Но разве можно все это передать словами? По ночам стою на набережной и жду, пока поднимут мосты. Аж дыхание перехватывает! А дома, а дворцы? Помнишь наш разговор в ресторане? Да уж! Теперь-то я поняла, что такое дворцы! Ой, мам! Если бы ты это видела! Остолбенела бы, честно! Да и еще – каталась на кораблике по малой Невке, вообще сойти с ума! Всего не запомнить, завела тетрадь и все записываю.

Короче, за меня не волнуйтесь. Буду писать. И вы отвечайте! Как там вообще? В смысле, у вас? Дядь Вань! На берег ходишь? Рисуешь?

Главное, чтобы меня приняли. Там всего-то два года! А как закончу, сразу в Муху! Вот там уже все по-серьезному.

Кстати, по поселку не скучаю ни минуты! А по вам – да.

Все, пока, ваша Аська.

После этого письма даже Любка успокоилась и повеселела. Ну и у Ивана на душе стало полегче.

Писем от Аси ждали как манну небесную: у калитки караулили почтальоншу Надьку, имеющую привычку напиваться по выходным. Когда, часам к девяти вечера, все становилось окончательно ясно – Надюха в очередной раз напилась, Любка бежала на почту.

Но письма приходили крайне редко, увы. В конце августа пришло совсем короткое:

Мам, дядь Вань! Я студентка! Сдала и рисунок – деталь головы Давида, как ты, дядь Вань, и говорил. Живопись вообще фигня – натюрмортики для меня как орехи! А вот с композицией повозилась – взяла бытовой сюжет «Друзья». Конечно, акварель. Короче, пронесло!

Ну вот и все, ваша Ася.

– Ну вот и все! – повторяла Любка. – Как это, Вань, вот и все? Не вернется домой наша Аська?

Понял – Любка надеялась, что дочь завалит экзамены и вернется домой. Любка ревела, а он пытался ее развеселить:

– Ну все же хорошо, Любка, даже отлично! Наша Аська студентка! Девочка наша в Питере. Койку в общежитии дадут, не сомневайся. Ну а мы, как родители, будем ей помогать, чем сможем, конечно.

Любка всхлипнула, отерла слезы и уставилась на него:

– В родители себя записал? Умник какой!

– Вредная ты, Любка, баба-язва, как ни крути, – беззлобно отозвался он.

* * *

Жизнь без Аски стала другой, тихой, тоскливой и тусклой.

Не было слышно ее звонкого, резкого голоса, быстрых и громких шагов, ленивых перебранок с матерью и протяжного: «Дядь Вааань! Ну где ты там, а?» Они скучали по ней, и Любка, и он.

Осень выдалась холодной, хмурой и серой. Море замерло, застыло и пугало своей свинцовой неподвижностью. Без Аски ни сидеть на берегу, ни писать Ивану не хотелось.

Вечерами молчали – Любка смотрела телевизор, а он читал.

В то время они почти перестали разговаривать. Любка вообще изменилась – стала и тише, и мягче. Ходила грустная, громко вздыхала и, присаживаясь на стул, подолгу смотрела перед собой.

И ночами теперь она приходила редко. Нет, он все понимал и ни о чем не спрашивал – раз ей так легче...

Холодный декабрьский ветер нагло ломился в щелястые рамы, пугал и завывал в печной трубе. Быстро свернулись и осыпались листья на персике и инжире, скукожились и потемнели сморщенные виноградные кисти, но собирать их никто и не думала. Зачем? Рано ударил первый ночной морозец, и груши и персики, сморщенные, потемневшие и мертвые, с гулом шлепались в бурую подмороженную траву.

На работу идти не хотелось, но и без Аси была тоска. Гулкая тишина и тоска.

Письма от нее, короткие, торопливые и без подробностей, перечитывали вслух раз по десять, потом Любка уносила письмо с собой. Иван удивлялся – никогда, как казалось ему, она не была беспокойной и

трепетной матерью.

К Новому году, конечно, Асю ждали домой. Боясь сглазить, – а Любка была суеверной, – ничего не обсуждали, но оба нервничали: придет, не придет? Ася написала коротко и сухо: «Новый год встречаем компанией на даче в Комарово у одноклассника. Ну а потом сессия, как ты, дядь Вань, понимаешь. Про каникулы пока ничего неясно, в конце января напишу».

Но в конце января не написала, а написала только в середине февраля: «Каникулы пролетели весело и незаметно. Не вылезали из музеев и театров, ходили в кафе. В общем, культурно развиваюсь, ха-ха! Да, спасибо за деньги!»

Любка обиделась насмерть. Иван пытался ей объяснить, что надо радоваться за дочь, просто научиться быть счастливыми. Как славно у нее все складывается, какое у нее чудесное настроение, какой интересной жизнью она живет!

– Любка! Это же Питер! Студенчество! Молодость, наконец. Такие возможности, Люба! Пусть только будет здорова! Все у нее хорошо, понимаешь? Было бы плохо – вернулась домой. Пишет – и слава богу! Другие, знаешь ли, и писем не пишут.

Но по ночам слышал, как Любка плачет.

К весне стали понемногу приходить в себя. Иван уговорил Любку посадить огород: «А как же – помидоры, огурцы, перцы и баклажаны. Накрутим икры, закатаем помидоры, Аська придет на каникулы и соберем ей баул! Знаешь, какое подспорье? Сам помню, как приезжие радовались посылкам из дома!» Любка оживилась и рьяно принялась за дело. Даже заставила его сколотить парник.

Начались посадки, уборка дома, хозяйственные дела, которые закрутили и отвлекли от грустных мыслей. Любка нервничала и ворчала, что банки с собой Аська точно не потащит:

– Ты же знаешь эту заразу упрямую!

– Уговорим, – обещал он. – А что не возьмет, будем отправлять с проводниками зимой.

Любка трудилась целыми днями, возилась в огороде и в парнике, побелила потолок в Асиной комнате, Иван купил новые обои, и она сама переклеила Аськину комнату, повесила новый светильник и, радуясь переменам, подолгу сидела в дочкиной комнате.

А Иван радовался за очнувшуюся, повеселевшую Любку. И страшно, до сердечной боли, скучал по девочке.

Аська коротко отчиталась о летней сессии и сообщила, что в августе всей группой они едут в Узбекистан – Самарканд, Бухара, Хива.

Конечно, писать, дядь Вань! Ты меня, надеюсь, понимаешь, такая возможность выпадает не часто. Дорогу оплачивает училище, жить будем в местных школах, а уж пропитаемся как-нибудь сами. Там, говорят, все сущие копейки и дико вкусно: плов, манты, самса. Прямо на базаре и даром! В общем, отъежусь и раздуюсь как бочка. Говорят, что приезжают оттуда все жирные и лоснящиеся, ну, значит, и меня не минует!

Было понятно, что настроение у Аськи чудесное – впереди каникулы, интереснейшая поездка, ровесники и впечатления. Да и что она видела в своей жизни?

Но ни слова – ни слова! – про приезд домой.

Люба закаменела, впала в ступор и разговаривать с Иваном перестала. Он, разумеется, тоже расстроился и обиделся на Асю, хотя в душе ее оправдывал.

Однажды вечером он услышал странный звон.

Звуки доносились из хижины, которая теперь была окончательно превращена в сарай, в подсобку. Он бросился туда и увидел, как Любка с остервенением железной кочергой лупит по банкам с компотами и вареньем.

Спасать уже было нечего.

По секрету от Любки черкнул короткое письмо Асе:

Я все понимаю и за тебя страшно рад, но и нас ты пойми. Мы очень соскучились. И нам без тебя тяжело, особенно матери. Подумай, может, выкроишь пару деньков и заедешь? Конечно же, не вместо Бухары, а после? На пару дней, Асенька. Мы будем счастливы!

Ответ не заставил себя ждать:

Не, дядь Вань. Ничего не получится, извини! Возвращаемся мы тридцать первого, а первого сам понимаешь! Приеду на зимние каникулы, зуб даю! Не обижайтесь!

И снова лето подходило к концу, и понемногу жухли и желтели листья на островерхих пирамидальных тополях и кипарисах. И снова невыносимо сладко пахло упавшими фруктами, и горьковатыми пышными астрами, и отцветающими, поблекшими южными розами. И предстоящей тишиной. И тоской.

Иван снова начал ходить на берег, пытаясь писать. Но получалось все нехотя, вяло, и мысли его были далеки. Печь почти не топили, осень была затяжной, дождливой и теплой. Наступила зима, бесснежная и, как обычно, сырая. Его попытки уговорить Любку поехать навестить Асю в Питер – конечно, сюрпризом, а как еще? – провалились. Гордая Любка отказывалась:

– Без приглашения не поеду. Еще чего! Не нужна ей мать, и не надо.

– Сюрпризом, Любка! – повторял Иван. – Увидишь, она обрадуется! Что нам стоит? Возьмем билеты, сутки – и мы на месте. Снимем комнату, там такого добра завались, прямо на вокзале кучей стоят ушлые бабки и хватают за локти. Разместимся, и сразу к Аське! Нет, ты представь, как она обалдеет!

– Ага, просто с ума сойдет от счастья, – грустно кивнула Любка.

Но втайне друг от друга надеялись, к Новому году Ася приедет – обещала же, а?

К празднику Ася не прислала даже короткого поздравления. Только третьего числа пьяненькая Надька принесла телеграмму:

С Новым годом, простите, что припозднилась, совсем закрутилась, встречали, как всегда, группой на даче. На каникулы едем в Вильнюс. Вы не обижаетесь? Люблю, скучаю. Ваша Ася.

Любка перечитала телеграмму, медленно порвала бланк и выбросила в ведро. Поставила чайник и, ничего не комментируя, села у телевизора.

– Все правильно, – бесцветным голосом сказала она. – Все так, как и должно быть. И Аська права – кто я ей? Мать? Да одно название, а не мать. Я с ней так, ну и она со мной. И получаю я по заслугам. Всему есть цена. Ты, кажется, так говорил?

Как Иван ни старался ее успокоить или разговорить, ничего не получалось.

С того дня она вообще замолчала.

На Новый год он, как смог, накрыл по-мужски скромный стол – шампанское, банка шпрот и отварная картошка.

Любка выпила два стакана шипучки, закусил шпротиной и ушла к себе, даже телевизор смотреть не стала. Иван вымыл посуду, убрал остатки «пиршества» в холодильник и тоже пошел к себе.

Проснулся он поздно, что бывало с ним крайне редко. Любки дома не было. «Куда она могла уйти?» – удивился он. На душе было тревожно.

Любка вернулась поздно вечером, еле держась на ногах. В тот день она

запила.

Он пытался ее остановить, привести в чувство, орал как резанный.

– Что за горе у тебя, а? Кто-то умер или смертельно болен?

Любка смотрела на него пустыми, белыми глазами и ничего не отвечала. Разозлившись, ушел, хлопнув дверью.

Пила она неделю, водку и вино таскала ей почтальонша Надька. Иван ни во что не вмешивался – так, значит, так. В конце концов, выбор это только ее. Мысли были разные – бросить все к чертовой матери и уехать! Куда? Да в Питер! Устроится же он как-нибудь! Например, в школу преподавателем, да к той же Аське в училище! В кинотеатр, в детский кружок! Сантехником в жэк – за последние годы он многому научился. А там, в Питере, будет Аська, и еще там не будет Любки. Измучила она его до предела, просто больше нет сил. В конце концов, это ее выбор и ее жизнь. И у него жизнь одна. Гробиться тут, рядом с ней? Нет, он не согласен.

Не смог. Конечно, не смог. Она сама позвала его спустя неделю:

– Вань, помоги!

Помог. Конечно, помог. И еще понял, что никуда он от нее не денется. Никуда. И никогда он ее не оставит.

* * *

Зима прошла в каком-то угаре. Любка совсем ушла в себя, и они снова общались как соседи: «Да», «нет», «не знаю». Иван часто видел ее заплаканной и удивлялся: откуда вдруг неожиданно взялась эта странная, невозможная материнская любовь? Значит, все осознала и кается, мучается от чувства вины? Нет, Асю он вовсе не оправдывал, она не права. Но при этом девочка, забитая, одинокая и несчастливая, закомплексованная и недолюбленная, впервые вырвалась на свободу, впервые в жизни задышав легко и свободно.

Да к тому же – наверняка начались романы! В свои шестнадцать Ася окончательно расцвела, превратилась в невероятную, необычайную, редкую красавицу. Неудивительно, если мужчины ходят за ней толпами – может, Любка поэтому и психует? А ведь и вправду тревожно: кто попадется их наивной, неизбалованной и неопытной Аське?

Но приехать, конечно, могла! На пару дней, им бы с Любкой хватило.

Злился на Любку, а все-таки ждал, что она сама его позовет. Но она не звала.

После долгих раздумий все же решил – в Питер он махнет весной, как

только потеплеет. Два самых родных человека живут в этом городе, его сын и его дочь. И он обязательно с ними должен увидаться. Илья уже взрослый, самостоятельный человек, и Алена никак не сможет на него повлиять. Он все объяснит ему, покается, попросит прощения. Главное, объяснит, почему все так нелепо сложилось. В конце концов, кровь не вода – Илюша его поймет.

С мыслями о скорой поездке жить стало повеселее.

В августе Ася написала, что поступила в Муху, и он заплакал от радости.

А вот Любка его радости не разделила. Да и бог с ней! У нее обида на дочку, и у них свои отношения.

А Аська – дрянь, конечно, порядочная! Но ведь талант! А? Гордись, Громов! И ты приложил руку!

* * *

Ася то писала, то пропадала. А в первых числах апреля пропала Любка.

На столе лежала записка: «Иван, не ищи меня и не волнуйся, у меня дела, когда вернусь, не знаю. Так надо, и все».

Сухо, коротко, по-деловому. Так она еще раз дала ему понять, что они теперь – люди чужие. Он не знал, что и подумать. Куда могла уехать Любка? Да еще и так надолго? К дальней родне, к той самой пресловутой тетке по матери? Однажды обмолвилась о них – родня вроде и близкая, а вот отношений никаких. Ты же знал мою мать, со всеми рассорилась. Да и мне они ни к чему.

Тогда зачем Любке эта тетка и эта родня? Родственной она никогда не была, друг у нее не было. Что тогда? Очередной загул? Да вряд ли – и возраст не тот, и силы не те. Да и Любка давно другая.

Опять ее вечные фокусы! Характер показывает, дура. «Ну и черт с тобой, – со злостью подумал он. – Без тебя только спокойнее. Отдохну». Вдруг в голову стукнуло: уехала к Асе? Одна, без него? Стало обидно до слез. Да как же так? Получается, очертила круг: моя дочь и только моя, а ты здесь – сбоку припека. И знай, дядь Вань, свое место.

Ну и ладно. В конце концов, Любка права – кто он им? Чужой человек, случайно прибившийся к их дому. Кажется, пора собираться в дорогу.

Любка вернулась в самом конце апреля, когда уже вовсю цвели сады и поселок накрыл ошеломляющий запах цветущей акации. Всё просыпалось

от зимней спячки.

Она почти ввалилась во двор, и Иван замер от ужаса – его красавицу Любку было совсем не узнать. Вместо пухлой, бокастой и грудастой Любки во двор вошла седая, ссохшаяся и сгорбленная старуха. Встретил бы на улице – прошел мимо.

Еле волоча ноги, она села на скамейку во дворе и подняла на него глаза:

– Что, Ваня? Здорово изменилась? Так, что и не признать?

Он громко сглотнул слюну.

– Любка, – голос хрипел и срывался. – Любка, господи! Что с тобой, Любка?

– Заболела я, Ваня. Чаю сделай, если можешь.

Он бросился в кухню, нелепо гремел чашками, поставил на плиту пустой чайник, схватился, когда тот уже подгорал, разбил блюдце и просыпал сахар и, наконец кое-как справившись с несложными действиями, дрожащими руками вынес чашку во двор.

Любка сидела за столом, уронив лицо в руки, и, кажется, дремала. Он еще раз взгляделся в ее лицо, и сердце рухнуло вниз – на когда-то прекрасном, ярком и живом, смуглом ее лице явственно проступала печать скорой смерти.

Любка очнулась, глотнула остывшего чая, чуть поморщилась и медленно, с усилием, опираясь на руки, поднялась со скамьи.

– Проводи меня, Ваня, – не глядя на него, попросила она. – Лечь хочу. Очень устала.

Он мелко закивал, подхватил ее под руки и повел в дом. Любка, когда-то пышная, круто взбитая, даже тяжеловатая, была теперь почти невесомой – легкой, как дитя.

Он раздел ее, еще больше удивляясь ее худобе, остро выпирающим локтям и ключицам, опустившимся, сморщенным грудям, надел на нее ночнушку, узковатую прежде, в которой теперь она утонула, и бережно уложил на кровать.

Перед тем как выйти из ее комнаты, обернулся и увидел, что Любка плачет – тихо, неслышно, и по худым, ввалившимся щекам медленно катятся прозрачные слезы.

Узнал он все на следующий день. Оказалось, что про свою болезнь Любка догадалась еще осенью – во-первых, стала понемногу худеть, терять аппетит, просто воротило от еды. К зиме появились боли. Любка бросилась в поликлинику, и там, взяв анализы, дали направление в город, в больницу. Строго наказав не тянуть. Тогда она еще верила, что все, может, и

обойдется.

В марте ехать не хотела, ждала на праздники Аську. А когда та не приехала, все-таки собралась в больницу.

Операцию сделали через три дня, но, придя в себя, она поняла, что дело швах, разрезали и зашили, как говорили опытные больные. Однажды прочла свою карту – рак желудка четвертой степени. Все стало ясно, ей даже не предлагали химию – бесполезно.

В коридоре поймала лечащего врача, молодого совсем, почти мальчишку. Прижала к стенке.

– Давай, милый Пал Сергеевич! По-честному и без утайки. Сколько мне осталось?

Бедолага Павел Сергеевич вжался в голубую крашенную маслом стену и, понимая, что не отбиться, начал лепетать про «возможный благоприятный исход», про то, что «бывают разные чудеса», и про то, что «врачи не боги, и они ошибаются».

– Сколько? – хрипло повторила Любка. – Не морочь мне голову, парень! Мне нужны сроки.

Он замялся.

– Месяц, два? Три? – настаивала она.

Ничего уточнять доктор не стал, снял очки, протер их краем халата и опустил глаза.

– Понятно, – усмехнулась Любка.

На следующий день она выписалась.

– Почему ты ничего не сказала? Почему? Как ты могла скрыть такое? – кричал он. – Мы бы поехали в Москву! В Питер, в конце концов! Нашли бы лучших хирургов. Я бы перевернул весь город! Люба! – стонал он. – Как ты могла!

– Ваня, – тихо ответила Любка. – Зачем? Чтобы продлить эту боль? Залезть в долги, измучить тебя? Зачем? Глупо, по-моему. Значит, такая судьба. И ничего не попишешь. Сама виновата. К жизни я, Ваня, с пренебрежением относилась. Не уважала ее, не ценила. Не дорожила ею совсем – да ты сам знаешь. Даже когда... Когда ты появился и я стала почти нормальной. Благодаря, конечно, тебе. И когда про Аську все поняла и про себя. И про тебя, Ваня. Только все поздно! Не успела я. Казалось бы, извиниться мне перед ней, перед жизнью. Люди и пострашнее вещи переживают. Мне бы перестать злиться и проклипать ее. А не смогла – так привыкла, так ее, жизнь, прожила. Ах, ты со мной так, ты меня ненавидишь? Ну так и я тебя! А она этого не простила. Что теперь говорить? Не на Аську я обижалась, на себя. Хотела исправить все,

изменить. Поговорить с ней. По-раз-го-ва-ри-вать. Как ты с ней говорил! Объяснить ей все, повиниться. А она не ехала, Ваня. Так и не получилось у нас. А с этим тяжело уходить, ты мне поверь. А тебе ничего не сказала, потому что жалела тебя. И так тебе досталось – не приведи господи, а тут еще я... Нет, не хотела, чтобы ты в больницу мотался, переживал. Прости, что сейчас явилась – просто стало не вмоготу там оставаться.

Он плакал, уронив голову в руки, и Любка утешала его.

Через пару дней, немного придя в себя и отдохнув от больницы, Любка сказала, что он должен выполнить ее последнюю волю – расписаться с ней.

– Господи, ты о чем? – закричал он. – Какой загс, Люба? Какой расписаться? Нет, если тебе это надо... – вдруг спохватился он.

– Мне нет, Ваня. Вернее, да. И мне надо. Уйти туда приличной замужней женщиной. – Любка улыбнулась и подняла глаза к небу. – Да и ты? Кто ты здесь? А никто! Помру я, и тебя попрут. А так – будем муж и жена. А это значит, что после моей смерти... Ты на законных правах, Ваня. Ну дом этот... и все остальное. Понимаю, что не большое богатство, – усмехнулась Любка. – Но ведь лучше, чем ничего.

Он перебил ее:

– О чем ты, Любка? Какой дом, какие права? Разве мне это надо без тебя?

– А куда тебе, Ваня? Ну, после меня? Нет у тебя ничего. А Аська... Она же не вернется сюда, ты это знаешь. И не спорь со мной, умоляю, сил совсем нет.

Скрепя сердце пошел в загс, договорился, что распишут дома через неделю.

Поехал в город и купил два тоненьких обручальных кольца.

Утром, перед приходом сотрудницы загса, вымыл Любку, расчесал ее поредевшие и поседевшие волосы, неловко уложил их в баранку, надел на нее светлое платье.

– Как покойницу наряжаешь! – усмехнулась она.

Он отвернулся, чтобы она не увидела его слез.

Утром в десять пришла высоченная, толстущая тетка в блестящем зеленом платье с красной гвоздикой в петлице и огромным начесом на голове. Пока она, с опаской и жалостью поглядывая на них, раскладывала свои бумаги, Иван поднял Любку с кровати и поставил за ее спиной стул, чтобы та присела, когда устанет. Из кармана «парадных» черных брюк, словно бесценную драгоценность, достал обручальные кольца.

Увидев кольца, Любка заплакала.

Он осторожно и бережно надел тоненькое колечко на ее прозрачный палец и увидел счастливые Любкины глаза.

Смущаясь, сунул даме в зеленом смятую купюру, и та, пригнувшись, чтоб не задеть притолоку, поспешно вышла за дверь.

Любка лежала умиротворенная.

– Вот теперь я спокойна. – На ее лице появилась слабая улыбка. – Вот теперь я все сделала.

Он сидел у ее кровати. Усталая Любка спала. Вскоре она проснулась, и он взял ее за руку.

– Лично я, Любка, женился по любви! – улыбнулся он. – А вот ты – не знаю!

Она попыталась улыбнуться.

– А я нет. Я по корысти! – И тихо, еле слышно, добавила: – Видишь, шуткую. Значит, еще жива.

Гордая Любка категорически запретила сообщать о своей болезни Асе – зачем? Зачем ей срываться с учебы? Чтобы увидеть умирающую мать? Зачем ее волновать? Нет и еще раз нет: «Это тебе мой наказ!»

Спорить Иван не стал. Ну не произнесешь же: «А попрощаться?» И не выговоришь.

Но понял, что дочь Любка простила. И еще попросила все объяснить Асе.

– Ты сможешь, – уверенно говорила она. – Ты сделаешь все как надо, даже лучше меня! Все объясни и попроси за меня прощения!

Обещал. И знал, что выполнит.

Только где эта чертова Аська?

Спустя три дня после их так называемой свадьбы пришло письмо от Тонечки – скончался его отец.

Иван сидел во дворе и думал, как несправедлив и жесток этот мир – нет, все понятно, все мы смертны! К тому же отец прожил долгую жизнь. Трудную, но в конце концов, благодаря Тонечке, вполне счастливую.

Иван выслал денег и отправил Тонечке телеграмму с соболезнованиями, где объяснил, что на похороны не приедет – тяжело болеет жена.

Любка прожила еще четыре месяца. Последние три недели она уже не вставала. Приподняв ей голову, Иван кормил ее жидкой кашей и поил теплым чаем. Но и от этого ее выворачивало.

Понял, что только мучает ее этим, и стал ждать конца. Решил ее отпустить.

Накануне ее ухода, поздним вечером, Любка попросила горохового

супу:

– Ты свари, Ваня, а с утра я поем.

Он уже ринулся в кухню, но Любка остановила его:

– Ваня! Подожди. Сядь на минуту.

Он осторожно присел на табурет возле кровати.

Любка взяла его за руку. Рука ее была совсем невесомой.

«Прощается, – мелькнуло у него. – Все понимает».

– Спасибо тебе, Ванечка, – с трудом проговорила она. – За все спасибо. За меня – и говорить нечего. И за Аську тебе спасибо. Хоть дрянь она порядочная. – Любка попыталась улыбнуться. – Иди, Ваня. Иди. Ты ж суп обещал. Гороховый.

Не решаясь поднять на нее глаза, Иван встал с табуретки и поспешил на кухню.

Бросился искать горох, нашел полстакана, поставил варить, покрошил в кастрюлю остатки сала и колбасы, потолок туда картошки и бросил жарку. Возился до двух ночи и, счастливый – Любка попросила поесть! – уснул.

Но супа Любка не попробовала. В ту ночь ее не стало.

В морг ее он не отдал, сам обмыл, сам одел, сам причесал. Поправил обручальное колечко, чтобы, не дай бог, не слетело – Любкины пальцы превратились в тоненькие сухие веточки.

И отбил телеграмму Аське.

Любку хоронили на третий день. Аська так и не приехала – не успела, не получила телеграмму? А может быть, ее не было в Питере?

Кто знает. Но с матерью она не попрощалась, увы...

А через пару дней после похорон он получил письмо от Петровича.

Ленка с семьей давно собирались приехать, но, как всегда, то дела, то делишки. Вот уже было собрались, как Светка, старшая дочка, надумала замуж, причем спешно – была беременна.

«Не получится теперь, сам понимаешь, – оправдывался Петрович. – Хлопоты, ресторан, платье и все остальное. Ленка, как всегда, с утра до ночи в больнице. Ну и до кучи у Томочки сердечная драма: связалась с женатым, морочит девчонке голову и треплет нервы. В общем, не приедем мы, Ваня. Прости».

Он ждал их приезда. Понимал, что при большом и шумном семействе ему будет легче. А вышло, что он снова остался один.

Это были самые страшные, самые черные дни в его жизни. Он сам не понимал, как он их пережил. Но пережил. «Живучий, гад, – думал он. – И это, как оказалось, можно пережить. Вот ведь человеческая натура...»

В мае он занялся огородом, чтобы хоть чем-то себя отвлечь и занять себя, чтобы просто не сдохнуть от тоски и отчаяния. Спал он теперь в Любкиной комнате, так ему было легче.

На кладбище ходил через день, и там разговаривал с Любкой. Болтал какую-то чушь, пересказывал новости, рассказанные по радио, и сплетни соседок, услышанные в магазине. Сообщал, что завязались помидоры, а вот перцы почему-то никак. Врал, что Аська пишет и что у нее все хорошо, в августе обещалась приехать.

Врал и пугался: а вдруг Любка оттуда все видит, все знает и понимает? В том числе и то, что он врет?

Посадил на могиле цветы. Любка любила анютины глазки. Фиолетовые, розовые, белые и желтые, они разрослись очень быстро, укрыв холмик пестрым и ярким веселым ковром.

Да и дома дела всегда находились – то чинил крышу, то подбивал покосившийся штакетник.

Любкины платья и кофточки из шкафа не вынимал. Не трогал и женские мелочи, разложенные на комоде: гребешки, пару тюбиков помады, подсохшую тушь для глаз, полфлакона французских духов, подаренных им когда-то. В маленьком блюдечке лежали ее золотые, с прозрачным голубоватым камушком, сережки – тоже его подарок. Сетовал, что в суете забыл про них и не надел Любке *туда*. А Любка их очень любила. Ну ничего, утешал себя, теперь достанутся Аське.

Разбирая подпол, обнаружил коробку со старыми фотографиями, совсем мало, штук десять, не больше, – он вспомнил, что Любка фотографироваться не любила. Были они небрежно сложены в старую коробку из-под обуви. Там же обнаружились две фотографии молодой Любки – счастливой, смеющейся, загорелой до черноты, с распущенными волосами, в легком, открытом пестром сарафане. Счастливая, она смотрела в объектив задорно и смело, доверчиво, и не было в *той* Любке надменности, холодности, недоверчивости, высокомерия и презрения.

Нашлись и фотографии маленькой Аськи. Иван хорошо помнил тот день и их совместную поездку в город за красками. Цирк-шапито, луна-парк, кинотеатрик со смешной комедией с Луи де Фюнесом. Вспомнил, как несмеяна-Ася громко, на весь зал, хохотала.

Фотографии были сделаны в том самом луна-парке, где их подловил плутоватый фотограф, пытающийся рассмешить неприступную Асю.

Фотографии Аси и Любки Иван бережно вставил в деревянные, крашенные олифой самодельные рамки. Теперь они всегда были с ним рядом.

А как-то вечером взялся за Любкин портрет. Он сразу понял, что все получается, хотя обычно был недоволен своими портретами. Точно знал, что лучше всего удаются ему пейзажи, в портретной живописи он был не мастак.

Но Любка вышла живой, настоящей. Он сбил деревянную раму, покрасил ее в бело-голубой, так идущий когда-то Любке нежный и приглушенный цвет.

Теперь Любка была совсем рядом – на стене над его кроватью. И каждое утро он здоровался с ней.

А потом взялся за бюст – достал в городе кусок белого мрамора и начал работать. Вспоминал Любкины слова: «Поставишь мне на могилу! Но только из белого мрамора, Ваня!»

Между тем писем от Аси не было почти год, и он решился поехать в Питер. Сообразил, что перед поездкой хорошо бы ей позвонить.

Ожидание звонка в общежитие было долгим, и он почти отчаялся. Но наконец трубку сняли, и суровая вахтерша учинила ему строгий допрос:

– А кто звонит? По какому делу? А зачем вам она? – Услышав, что он муж матери и Асин отчим, удивилась: – А что вы, папаша, не знаете? Съехала от нас ваша Аська! Три месяца как съехала. Куда? Да на квартиру вроде. С женихом – так сказала. А там – кто ее знает! Жених или просто сожитель? Поймешь их, молодых, – осуждающе хмыкнула тетка. – Нет, адреса не оставляла. А зачем он мне, ее адрес? Передать записку ее подружкам? Нет, не сложно. Сейчас напишу и передам. Что писать-то? Звонил папаша и что просил? Что просил-то? А, хотя бы просто написать! Сделаю, сделаю. Что я, не мать, не понимаю? У самой сын такая же сволочь. Как пропадет на полгода, ищи-свищи!

Рассыпавшись в благодарностях, он положил трубку и немного успокоился. Слава богу, что не поехал. Явился бы как снег на голову, а Аски в общежитии нет. Нет, нашел бы, конечно. Только ко времени ли он там? Нужен ли ей? Но все равно мерзавка порядочная. «Ох, объявится, устрою. Мало не покажется».

Но письма так и не было. Прошел месяц, и Иван снова заказал звонок в общежитие. Ответил другой голос, моложе и строже, без лишних разговоров и сантиментов:

– Ася Меркулова? Как же, знаю! Да она же ушла из училища! Как? Да так, ушла, и все. Вот с четвертого курса взяла и ушла! А я почему знаю зачем? Вы ей кто, родственник? А, отец! Ну что ж вы, папаша, разве так можно? Не знаете, что с вашей дочкой. Нет, адреса ее никто не знает, я спрашивала. Документы мне нужно было ей передать. Из деканата даже не

забрала, так торопилась. Говорят, замуж вышла. А может, и врут. Поймешь их, этих девок безмозглых!

Он медленно положил трубку и сел на стул.

Нет, найти ее, конечно, можно. В конце концов, опросить ее подруг и одноклассников, что-нибудь да всплывет. Но надо ли? Если она в них, в нем, не нуждается, если они ей не нужны?

Он хотел поехать в Питер, к сестре, но караулил Асю – вдруг приедет, вдруг явится?

Прошел год, и снова наступила весна.

Иван подолгу сидел в саду, слушал пение птиц, смотрел на небо, на распускающиеся деревья, на очередное просыпание природы, все это чередовалось с завидным постоянством и ничего не менялось. Менялся только он, с каждым днем чувствуя, что стареет, что теряет силы.

И годы пока еще вроде не те. Жить бы и радоваться.

Только нечему было радоваться, ничего у него в жизни не было. Ничего и никого. Вот как сложилось...

Вспомнил Нинкины слова, что, когда не для кого жить, тогда и не надо. А жить ему было не для кого, так получилось. Одиночество. Снова одиночество. И ничего нет страшнее, как оказалось.

По Любке тосковал он страшно, невыносимо, поняв наконец, кем она стала в последние годы – единственной родной душой, единственной, которой он не был безразличен. Понял, как сильно она любила его. Любила и жалела. Как и он ее. Тогда и понял – где любовь, там и жалость. И одно без другого никак.

* * *

Через два месяца Иван закончил и отформовал Любкин портрет. А после этого приступил к камню. Постепенно, день за днем, из белой сахарной глыбы проступали ее черты – высокие скулы, широко расставленные глаза, упрямо, надменно сжатый рот, длинные, с крутым изгибом брови. Любка оживала на портрете и смотрела на него с укоризной: «Что же ты так печалишься, Ванечка? Что так тоскуешь? Живи, милый, живи! Живи за меня».

Осторожно, словно боясь причинить Любке боль, он отсекал ненужные пласты мягкого камня, нежными и плавными движениями подправлял троянкой скулы и подбородок, проводил ладонью по Любкиному лбу и тяжелым векам, приговаривая:

– Потерпи, милая! Потерпи. Осталось совсем немного, и я закончу. Тебе не больно, родная?

Песок и цемент купил у кладбищенских работяг и сам установил Любкин бюст. Закончив работу, на пару шагов отошел.

– Ну, Любка, вот, сделал как обещал. Как ты просила. Надеюсь, понравится. – И грустно добавил: – С почином вас, скульптор Громов! С почином и с окончанием трудовой деятельности. Вот такая, батенька, у вас получилась карьера...

Вернувшись с кладбища, собрал инструменты, отмыл их, тщательно обтер мягкой фланелью, завернул в крафтовую бумагу и отнес в сарай. Был уверен, что больше они ему не понадобятся.

Днем он искал себе дело и находил его. Днем было легче. А самыми страшными были вечера – одинокие вечера в пустом и тихом, словно умершем, доме.

И еще здорово подводила нога. Как он устал от постоянной, зудящей, изматывающей боли! По ночам она грызла его как голодный волк. Когда боль становилась невыносимой, пачками пил анальгин. Под утро становилось легче, и он, измученный и обессиленный, проваливался в тяжелый и мутный сон. К врачам не ходил – зачем? Чем помогут? Пропишут все те же таблетки.

И еще понимал, что устал. Устал жить. Жизнь его совсем упала в цене – он оказался банкротом.

Почему все так вышло? Где и что он упустил? Где наделал ошибок? Аська... Он считал ее дочерью, хотя вслух об этом не говорил – ни ей, ни Любке. Объяснял ей, что хорошо, а что плохо. Но, видно, педагог из него получился хреновый – что-то Аська точно не поняла. А значит, он не сумел объяснить.

В мае он стал ходить на море, но ни мольберта, ни красок не брал – хорош, наигрался. Да и кому все это нужно? В хижине в три ряда стоят его работы, бесполезные и никому не нужные. И здесь не сложилось и не получилось. Ни художника из него не получилось, ни мужа, ни отца.

Вечером было совсем тяжело. Газет он не читал. Книги? Да, разумеется. Но быстро уставали глаза: пять-шесть страниц – и он сдавался. Долго лежал без сна, проворачивая в сто тысячный раз, как фарш в мясорубке, вспоминая всю свою жизнь.

Дед, бабка. Комната в Староконюшенном. Отец и мать. Соседка Нинка, сосед Митрофаньч. Их двор, его приятели. Бабкины кулебяки с капустой – запах от них достигал и двора, а уж как пахло в подъезде!

Сама бабка пахла корицей, выпечкой и почему-то яблоками.

Дед – крепкими папиросами и одеколоном «Шипр», этот запах самый любимый, самый родной.

Смерть бабки и деда. Отчаяние и одиночество.

Катя, их любовь и ее отъезд. Страшное, глубокое, невозможное горе и одиночество.

Ленька, работа на комбинате, молодое, веселое и счастливое время.

Майя, их нелегкий роман и нелегкое расставание.

Встреча с Аленой. И семейная шутка – Аленушка и Иванушка. Не получилось. Не получилось Аленушки и Иванушки...

Отъезд в Ленинград и их странная семейная жизнь. Кажется, ненужная им обоим.

Самый счастливый день – рождение сына. Илюша... Запах глаженных пеленок, теплого молока и младенческих волос.

Авария. Больница. Дикие, страшные боли. Желтый свет ночника. Предательство Алены, ее уход. Последняя встреча с Ильей. Его отъезд, как побег.

Отец и Тонечка. Мишка.

Нонна и Марина, их странная жизнь вчетвером. И снова бегство из Ленинграда. И снова одиночество.

Ленка, Петрович и девочки. Мать. Мама...

И он снова один.

Поезд.

Поселок на море. Любка. Сад и запах черного винограда. Маленькая, чудная, хмурая и чужая девочка. Их дружба с Асей, их походы на море.

Любка. Сперва равнодушие, даже презрение. А потом... Что было потом? Он так и не понял. Точнее, тогда он не понял. А когда понял, Любка уже была далеко.

Да, странная штука – жизнь. Странная и непонятная. Вот он почти ее прожил, а ведь ни черта не понял! А ведь и самому себе неловко признаться.

День за днем, ночь за ночью Иван пролистывал свою жизнь – вспоминал редкие моменты счастья или радости и удивлялся, как ничтожно мало их набиралось. Поездки с дедом и бабушкой в лес за грибами, рыбалка на узком берегу Нары. Горячая уха в котелке. Бабушкино вечное ворчание, дедово хитрое подмигивание и хриплый смешок:

– Не обращай внимания, Ванька! Бабушка есть бабушка, куда от нее денешься?

Или дача, лето, только-только прошел короткий грибной дождик – бабушка называла его слепым. Но свежести он не принес:

– Парит, – сетует бабка, – парит еще хуже, чем до дождя.

Дед снова вздыхает:

– Опять она недовольна. Вот ведь характер, а, Вань?

– Голова как котелок, – продолжает бубнить бабка, – а к вечеру будет совсем плохо.

Иван бабке не отвечает, он вообще терпеть не может, когда она жалуется. А пожаловаться бабка любит – то на голову, то на ноги. Но чаще всего на деда. А если уж когда примется за его мать! Но в конце концов, побурчав, замолкает.

Они перебирают чернику, которую принесла соседская дурочка – так бабка называет больную соседкину дочку. Дурочка смотрит безразличными, пустыми глазами, хлопает огромными, мохнатыми ресницами и поджигает маленький, очень красивый, ярко-красный и мокрый рот. Она вообще очень красива, эта дурочка. Какая насмешка бога – идиотка с необыкновенным лицом и прекрасной фигурой! Дурочка ходит в лес за ягодами и грибами, а потом продает их соседям. Ее мать, пожилая, болезненно-тучная Рита, говорит, что дурочка знает лес лучше всех. Так, наверное, оно и есть – та леса совсем не боится и возвращается затемно, поздно. Идет и что-то бормочет – дурочка же. В развевающемся белом платье и босиком – она вообще в любую погоду ходит босиком и пятки у нее угольно-черные, в глубоких, как растрескавшаяся пустыня, трещинах, – дурочка идет по полю и напевает. Бредет она медленно, и ее густая, распушившаяся коса бьет по спине. А глупая девчонка злится на косу. Вот она отмахивается от мух и слепней и глухим, низким голосом напевает какую-то странную, незнакомую, известную только ей мелодию.

Лес-то дурочка знала, но он ее не уберег: через пару лет убитую и растерзанную дурочку нашли на поляне в лесу. Убийц не нашли, а Рита, мать дурочки, повесилась от горя. «Господи, что лезет в голову, – удивился он. – Дурочка, Рита...»

Да, они перебирают чернику, из нее бабка будет варить варенье, «очень полезное для глаз». Руки у них фиолетовые, но черника несладкая – то ли дело клубника или малина!

А перед сном бабка ему читает. Читает и сама начинает широко, со звуком, зевать:

– Все, Ваня. Все! Спокойной ночи.

Он начинает канючить, выторговывает еще пару страниц и наконец засыпает.

Море, Севастополь. Дед держит его за руку, и рука его дрожит. Море. Море! Сердце замирает от восторга и зависти – есть же люди, которые

живут прямо здесь, в этом прекрасном городе, и каждый день видят море!

Обед в столовой санатория – тугие крахмальные скатерти, ванильный запах запеканки с изюмом, прозрачный бульон, в котором плавают половинка яйца. Булочка к чаю. И дед – красавец, его гордость, его вечный восторг. Дед, в белых брюках и светлых полотняных тапочках, на широкой и мощной груди распахнулась голубая тенниска в дырочку. Густые пшеничные волосы зачесаны назад. Глаза цвета июльского синего неба и белоснежные, словно сахарные, зубы. Его дед – красавец! И кажется, это понимают все: женщины, молодые и не очень, увидев его, улыбаются и поправляют прически.

Дед, как всегда, балагурит. «Привлекает внимание», – злилась бабка.

Ночь, темно, от балкона идет холодок. Он просыпается и шепчет деду: – Писать хочу.

Тишина. Дед не отвечает. Так крепко спит? С закрытыми глазами, покачиваясь, он встает и подходит к кровати деда. Она пуста.

Ему становится страшно, и теплая струйка течет по ногам.

Военный городок. Лиза. Скрипучий, рассыпчатый снег и ее узкое и горячее тело. И его невыносимый, неутоляемый голод.

Ася. Они на берегу. Ее узкое, дочерна загорелое личико сосредоточено, брови сведены к переносью и почти слились. Край нижней губы прикушен. И маленькая, сильная, в шершавых цыпках рука старательно выводит прямую линию горизонта.

Вечер и тот же берег. Очень теплый августовский вечер. На берегу никого. Он рассказывает ей про капитана Грея и Ассоль. Ася всматривается в даль, в темнеющий горизонт, в небо, слитое с водой, словно пытается увидеть корабль с алыми парусами.

Их последние дни с Любкой. Да, да, самые страшные, самые тяжелые. Самые нежные и самые светлые. Прощание и прощание.

Что ж, теперь такова его жизнь. В ней нет будущего, почти нет настоящего – точнее, оно так незначительно и однообразно, так мелко и монотонно, что говорить о нем нечего.

Получается, что у него есть только прошлое. И им он живет.

Был поздний вечер, и Иван, как всегда, прилег с книжкой. Услышал, как скрипнула калитка. Не испугался – насторожился. Кого бояться, кому он нужен? Собака? Вряд ли. Все собаки давно спят. Соседи тоже, поселок засыпал рано.

Потом услышал стук в дверь:

– Эй, есть кто живой?

Он замер. Голос был знакомым, но верилось в это с трудом.

– Аська, – прошептал он и вскочил с постели.

Он долго возился с задвижкой – всегда эта старая зараза заедала в нужное время! Наконец задвижка поддалась, и дверь распахнулась.

На крыльце, прижимая к груди что-то большое, завернутое в темное одеяло, стояла Ася. Его девочка. Это «что-то» закричало и захныкало.

«Ребенок!» – дошло до него.

– Ну, дядь Вань! Отомри!

А он никак не мог отмереть.

– Эй! – повторила она. – В дом-топустишь? А мать где? Спит?

Вздвигнув, он шагнул назад, и Ася, ворча и кряхтя, не спуская ребенка с рук, втащила за собой большой чемодан. Она прошла в комнату, положила ребенка на кровать и наконец обернулась к нему:

– Ну здравствуй, батя!

Только и смог, что кивнуть – слова застряли в горле, ни слова не выдать.

– Где мама-то? – скидывая туфли, повторила она.

– Мамы... – Он громко сглотнул. – Мамы нет. Уже два года как нет, Ася.

Та вскрикнула, зажала ладонью рот и испуганно глянула на ребенка.

– Как же так, а? – бормотала она. – Как же так, дядь Вань?

– Завтра, – ответил он. – Завтра я все тебе расскажу. А сейчас – спать. На тебе же лица нет!

Ася кивнула и разрыдалась:

– Господи, как же так? – повторяла она.

Но тут захныкал ребенок, и она бросилась к нему:

– Динка, спи! Спи, моя милая! Все хорошо! Вот мы и дома. – Ася взяла девочку на руки и, отнеся в свою комнату, стала тихим шепотом петь колыбельную: – Баю-баюшки-баю, не ложися на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок!

Девочка громко расплакалась.

– Спи, спи! – приговаривала Ася. – Да никто не придет и никто не укусит! Он сам испугается тебя, этот волчок! Увидит, какая ты, Динка, неслух! Увидит и сбежит, не сомневайся!

Через полчаса в доме стало тихо. Иван слышал, как во сне сопела девочка Дина и как тревожно, еле слышно, постанывала во сне Ася. Его Ася. Она вернулась.

Утром он поспешил готовить завтрак – стал взбивать яйца с сахаром добела, Ася любила его гоголь-моголь.

Девочка проснулась, захныкала, и Ася залопотала над ней,

засюсюкала, как это делает каждая мать. Из комнаты доносилось ее нежное лепетание и довольное побрякивание девочки.

Наконец обе вышли из комнаты – Ася, его девочка. Совсем взрослая женщина, мама. Все такая же красивая. Нет, еще красивей – лицо ее освещали счастье и любовь. Материнство.

Наконец он разглядел и девочку, Асину дочь Динку.

Она была блондинкой. У смуглой, черноглазой цыганки Аси родилась совсем белокожая, синеглазая девочка с волнистыми льняными волосами. Чудо как хороша была эта Динка!

Ася, стараясь не встречаться с ним взглядом, усадила девочку за стол и села сама.

Он поставил перед ней стакан с гоголь-моголем.

– Помнишь, Аська?

Она кивнула:

– Помню, батя. Я все помню – веришь? Как... с мамой все было? – тихо спросила она.

Иван коротко, без страшных подробностей, рассказал.

– Я отправил тебе телеграмму, не думал, что ты в общежитии уже не живешь. Адреса твоего никто не знал, ты не оставила. Ну и нам не писала. Почему, Ася?

Ася опустила голову, ответила, не поднимая глаз:

– Прости. Поверь, у меня были на это причины.

– Верю. Во всяком случае, очень хочу в это поверить.

– Прости, – повторила Ася.

– Уже простил. – Он кивнул на Динку: – А что девочке? Может, кашу? Манки у меня нет, а вот овсянка имеется!

– Давай овсянку, – согласилась Ася. – Справишься, дед?

Он стоял к ней спиной, пытаясь найти подходящую кастрюльку. Дед. Дед. Дед. А, ну да! Она назвала его батей. Все правильно, ей он батя, а девочке, выходит, дед.

– Спасибо за деда, – не поворачиваясь, отозвался он.

– Да это тебе спасибо! – рассмеялась Ася. – Твоя кровь и твоя внучка, я-то при чем?

Он резко обернулся:

– Ася! Что ты несешь? Какая кровь, какая внучка? Нет, я, конечно, счастлив! Но ты...

– Послушай, – оборвала она его. – Это, – она кивнула на дочку, – и есть та причина, по которой я не смогла ни написать, ни приехать. Не смогла, понимаешь? Такая вот чушь получилась, такой вышел бред. Врать

тебе я не могла, а правду сказать – тем более.

– Бред? – переспросил он, усаживаясь напротив.

Ася кивнула.

– Я... просто... захотела посмотреть на него. Познакомиться просто. Он твой сын. Я твоя дочь. Или почти дочь... Мы же родня, правда? Хотела посмотреть, подружиться. Рассказать ему про тебя. Объяснить, как все было, что ты ни в чем не виноват, а виновата только его мать. Он должен был знать, понимаешь?

Я нашла его и познакомилась с ним. Как – не важно, не важно совсем. Ну а потом... – Ася усмехнулась и посмотрела в окно. – А потом у нас приключилась любовь. Как тебе, а? Я ведь считала его почти братом! А влюбилась так, что голову снесло, понимаешь? Встречались мы почти год. Потом сняли квартиру. Потом я забеременела. А потом он ушел. Ну а следующее «потом» – родилась Динка. Он ничего не знал, я не сказала. Зачем? Ведь он ушел, бросил меня. Да и про Динку я узнала спустя пару недель. Честно? Хотела прийти и все ему выложить: «На, принимай!» Думала долго, мучилась: надо, не надо? Если надо, то зачем? Срубить с него денег? Подать на алименты? Глупость какая. Нет, не за этим. Воображала, придумывала: рожу ребенка и... одену его в красивые вещи, кружавчики там всякие, распашонки. И вот тогда и приду. Вместе с ней. «На, посмотри!» Мечтала, чтобы ребенок был на него похож, чтобы он его сразу признал. Так все и вышло. Распашонки, кружавчики. Белые кудри и синие глаза, эти невозможные громовские глаза. У Ильи они точно такие, как у тебя, – море бездонное, а не глаза. Ну и у Динки, как видишь. – Ася замолчала, встала со стула, достала из сумки пачку сигарет, закурила.

Он увидел, как дрожат ее руки.

– И что было дальше? – осторожно спросил он. – Пришла, показала?

– Не пришлось. Опоздала я, батя! Илья уехал, еще до рождения Динки. За месяц всего, представляешь? Пока я, кретинка, раздумывала, пока сомневалась, пока выстраивала свои дурацкие сцены – как и в чем я к нему заявлюсь. Режиссерша хренова. Ну да бог с ним! А знаешь, что хорошо? – Она посмотрела на него и улыбнулась.

Он покачал головой:

– Нет, не знаю.

И подумал: «Да что уж тут может быть хорошего, господи?»

– А то, батя, что он так и не узнал! Уехал и не узнал. Выходит, что не подлец, а это главное. Да и ушел он, если честно, из-за меня. Ты же знаешь мой характер. Ох! Любовь Петровна частенько стала проявляться. Кровь, батя, кровь! Так что его можно было понять. Дурой я была,

максималисткой – все и сразу, понимаешь? Если любовь – то до гроба. Если вместе – так вместе. Во всем. А он хотел свободы, молодой ведь мужик. Душила я его своей любовью, понимаешь? Надела цепь на шею и стала затягивать. Ну он и не выдержал. Вот, собственно, и все. Короткая история про неземную любовь. Как тебе, а? Так что, дед, примешь внучку? И, кстати, приглядишься. Копия ты! У нас в роду блондинов отродясь не было. Да и синеглазых тоже, если ты помнишь.

– Ася, – прошептал Иван. – Значит, он тебя не бросил? Не бросил беременную?

– Да не бросил, батя! Я же тебе объяснила – сама виновата. Не знал он про это. Не знал, не успел.

– Аська, а куда он уехал?

– Говорили, в Америку. Точно не знаю, вроде бы так. Он оказался талантливым программистом, вот и переманили! И хорошо! Я верю, что у него там все сложится. Умный он очень. Талантливый. Ну и красивый еще. – Ася улыбнулась: – Короче, вылитый ты!

– Ася, – тихо сказал Иван. – А может... ну, сообщить? Найти его как-нибудь? Через друзей или мать? Должен же быть адрес!

– Не может! – отрезала Ася. – Я так решила. Все, точка. Я вернулась домой. Понимаешь? Домой! Так что принимай нас. И вообще, ты нам рад?

– Я, – Иван закашлялся от волнения, – я не просто вам рад, Ася! Я... очень счастлив. Так счастлив... – Он махнул рукой и заплакал, не стесняясь ни ее, ни себя.

Повезло: в эту минуту заплакала девочка.

– О господи, Динка! – вскрикнула Ася. – А мы о тебе и забыли!

И та, уловив материнский испуг, заревела уже в полный голос.

Иван шагнул к ней, с опаской, осторожно, протянул к ней руки. Девочка вздрогнула, испуганно глянула на мать и зашлась с новой силой. Из ярко-синих глаз фонтаном брызнули слезы.

– Подумайте, горе какое! – запричитала Ася, беря девочку на руки. – Горе какое, а? Собственный дед ее оскорбил! Подумайте только, принцесса какая! Да? Дина наша – принцесса?

Горько всхлипывая, девочка постепенно успокаивалась и вдруг заикала.

– Дай попить! – попросила Ася.

Он налил в стакан воды. Сообразил, что много, и половину вылил – так ей будет удобнее.

Протянул стакан Асе. Увидев Ивана так близко, Динка разревелась по новой.

– Ничего, привыкнет! – ответила Ася. – Куда денется? Будешь слушаться деда? А, Динка?

Девочка, все еще громко икая, жадно пила из стакана.

– Будешь, будешь! Попробуй мне только! Только вот когда тебе этот дед будет рассказывать про алые паруса, – Ася с укором посмотрела на Ивана, – ты, Динка, пошли его на хрен! Потому что нет этих дурацких парусов и в помине! Нет, и все! И пусть он, твой дед, не морочит тебе голову. А книжку эту дурацкую я все равно выкину! Найду и выкину, поняла, дочь? Вот-вот. Нет этих парусов и не будет – во всяком случае, у нас с тобой!

– Будут, – сказал Иван. – И у тебя, и у нее. Обязательно будут. Вся жизнь, Аська, – потери и приобретения! Вся наша жизнь.

Она обернулась и с усмешкой, словно видела впервые, внимательно посмотрела на него.

– А ты все такой же упрямец! Ну точно как я. И еще – философ! Это к старости, да?

– Даже еще больше, – ответил Иван, делая вид, что не заметил ее подначки. – С годами характер только портится, поверь! Проверено на себе.

– Посмотрим, – ответила Ася. – Эй, Динка! Ты совсем обнаглела! Обзавелась зубами и кусаешь родную мать? Кстати! А где овсянка? Та, что твой дед обещал? Голодом хочет сморить дочь и внучку. Вот ведь старый пень, а, Дин? Ну ничего, мы с ним справимся! И ты мне, дочка, поможешь.

Иван встал к плите и зажег огонь. Господи! А молоко у нас есть? В кашу ведь непременно нужно молоко.

Он бросился к холодильнику и выдохнул – полстакана есть точно! Хватит.

– Я во двор! – крикнула Ася. – Будет готово – зови!

Он помешал кашу, выключил огонь и подошел к окну. Ася поставила девочку на ноги. Та, покачнувшись, осторожно сделала шаг вперед. Ася отошла на шаг назад и поманила ее:

– Ну, вперед! Давай, не ленись и не бойся. Мама же рядом.

Девочка раздумывала. Но, видимо передумав, села на попу и засмеялась. Ася тоже рассмеялась:

– Хитрая ты и ленивая, Дина! Ну, иди ко мне, принцесса моя! Идем в дом, каша твоя точно готова. Ну, пошли?

А новоявленный дед со вздохом поднялся со стула, открыл шкаф с посудой и выудил оттуда маленькую тарелочку с красным клоуном и внимательно посмотрел на нее – Аська. Это была ее любимая тарелка. Он купил ее в городе, у цирка-шапито.

Ася. Динка. Дочь и внучка. Жизнь продолжается. И жизнь эта чертовски, как выясняется, хороша!

Эпилог

Суета началась двадцать пятого, под самый Новый год.

Не суета – суматоха, тревога, волнение. Письма пришли одним днем, сразу от Лены и брата Мишки. Все извинялись и собирались приехать! Да, да, все и сразу, как говорится скопом.

– О господи! – стонала Ася. – Как всех разместить, а?

Иван растерянно молчал. А что тут скажешь?

– Посмотрите на него! – возмущалась Ася. – Вся семья собирается, а он как застыл.

– Ася, что делать? Три комнатки ведь? Нет, невозможно!

– Господи, да что ты такое несешь? Как это так – невозможно? Ты что, им откажешь? Значит, так, – сурово сказала она. – Иди утеплять хижину! Да, да, хижину! Отправим туда Мишку, а мы уж как-нибудь тут – я, Динка и Тома. Тонечка с Леной – у меня, вы с Петровичем у тебя. Нормально?

– Нормально, – согласился было Иван, но через секунду закричал: – Да что тут нормального? Такая теснота, что не повернуться.

– Ничего, все разместимся. И все будут довольны. Купим надувные матрасы, подушки и одеяла. Постельного белья хватит. А все остальное... – Ася хитро улыбнулась. – Поглядим – посмотрим, а, дед?

– Угу, – со вздохом кивнул новоявленный дед синеглазой принцессы Дины.

Потери и приобретения. Вся, собственно, жизнь...

Об авторе



Мария Метлицкая – талантливый рассказчик и внимательный, тонко чувствующий человек. Женские судьбы, о которых она рассказывает, на первый взгляд самые обычные. К ее героиням не приезжает принц на белом коне, им не делает предложение красавец миллионер, и они не становятся победительницами конкурса красоты. Это такие же люди, как мы с вами, и они сталкиваются с теми же трудностями, проблемами, что и мы. И радуются тому же, что и мы. И в этом – один из секретов успеха Марии Метлицкой. Прочитать ее книгу – все равно что поговорить с лучшей подругой, которая может утешить, дать совет и поддержать, когда это необходимо.